

И О В Ъ І І І І
М І І І

И О В Ъ І І І І
М І І І

2



1963

1963

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 2

Февраль, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. АЛЕКСАНДРОВ — Фронтовые рукописи	3
КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ — Убиты под Москвой, повесть	46
В. ШУКШИН — Они с Катуни, рассказы	76
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга пятая. Продолжение	107
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Новые стихи. Перевел с аварского Н. Гребнев	144
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Ночью, стихотворение	149
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — Два рассказа	150
ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ — Перевел М. Кудянов	198
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ — Снова на Чукотке	202
ПУБЛИЦИСТИКА	
К. ЖУКОВ, кандидат архитектуры — Большое новоселье и большие задачи (Заметки о крупнопанельном домостроении)	230
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. ЧУДАКОВА, А. ЧУДАКОВ — Искусство целого (Заметки о современном рассказе)	239
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	253
Л. Арутюнов. Открытие правды.— В. Портнов. По былинам сего времени.— А. Кондратович. Две повести.— П. Краснов, В. Шевелев. Книги возвраща- ются в строй.— Е. Полякова. «Пером быстрым и пламенным...»	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	269
А. Кадисев. Люди легендарной эпохи — Ю. Шарапов. Жизнь, отданная революции.— А. Черняк. Путь к чудесам техники.— И. Иноземцев. Первооткрыватели.— Герой Социалистического Труда, профессор Ф. Петров. Образ великого революционера.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

В. АЛЕКСАНДРОВ

★

ФРОНТОВЫЕ РУКОПИСИ

Рассказ покойного критика Владимира Борисовича Александрова о рукописях солдат, строго говоря, не является по своему жанру ни обзором, ни литературно-критической статьей. Это широкое и свободное по форме размышление о «военной» литературе и литературе на войне. Это и первая по существу публикация в отрывках произведений донныне безвестных авторов, фронтовые записки которых имеют не только документальный, но и художественный интерес. В 1943—1944 годах В. Б. Александрову, работавшему в ту пору консультантом по художественной литературе в Военном издательстве, приходилось читать много фронтовых рукописей — произведений, создававшихся между боями солдатами и офицерами в блиндажах и землянках переднего края. Многие авторы их были талантливыми, хотя и не искушенными в литературе, профессионально далекими от нее людьми. Написанная двадцать лет тому назад и обнаруженная ныне в Центральном государственном архиве литературы и искусства, статья В. Б. Александрова не устарела и сейчас.

Статья печатается с небольшими сокращениями.

1

Есть такая точка зрения: те, кто будет писать об этой войне, сейчас не пишут, они воюют. Оказывается, бойцы и офицеры Красной Армии воюют и пишут, хоть это и очень трудно.

«Брошюра нами написана во время жестоких боев».

«Посылая вам свои фронтовые записки, я должен сказать, что писались они под огнем, в полутьме и т. д.».

«Пока я буду жив, я постараюсь многое описать. Мне, правда, времени мало этим заниматься, но ничего, не досплю два-три часа, а что-нибудь напишу. Я даже не в состоянии был найти чернил, переписать чернилом, и мало у меня бумаги. Если вы найдете, что я хоть чуть могу писать, то вы мне напишите, исправьте, помогите, может, что и вообще выйдет» (командир отделения бронетанковых ружей, участник боев под Харьковом и защиты Сталинграда).

«Поймите, тов. редактор, писать приходилось в непосредственной близости с противником, в окопе, на коленях и животе при лунном свете и на дожде. О чернилах не могло быть и мысли, а столик и стул был бы большой роскошью».

«Написал, а хранить негде. В кармане таскать — стираются слова и треплются сами тетради. Поэтому я решил послать вам как бы на сохранение». (Автор задумал четырехтомный роман.)

«Писал на передовой, не отрываясь от выполнения несения службы, писал во время дежурства на телефоне, трубка телефона висит на веревочке около уха, я несу дежурство и в то же время пишу».

«Работал я только так, как можно работать в окружающей обстановке».

В Красной Армии литература — предмет необходимости. Вот выдержки из читательского письма: после боя нашли плавающую в луже брошюрку; «вернувшись в блиндаж, мы высушили ее, разглядели каждый листок и ночью читали ее при свете копилки».

Это насущная потребность, и не только в том слове, которое скажет о них и для них профессиональный писатель, но и в своем собственном слове. После того, что войны Красной Армии сделали и пережили, они не могут не писать.

Был спор: когда будет литература — теперь или после. Спорившие говорили об известных советских писателях, вспоминали о тех условиях, в которых работают военные корреспонденты, доходили до работников фронтовой и армейской печати; дальше не пошли — об авторах-воинах не вспомнили, а нужно было бы вспомнить. Их героическое писательство — самое наглядное подтверждение того, что литература — жизненно важное и неотложное дело.

И как показательна именно для нашей армии, для ее духовной жизни эта творческая страсть.

2

Пишут пехотинцы и летчики, танкисты и артиллеристы, прожектористы и медицинские работники, пишут люди самых разнообразных воинских званий — от рядового бойца до генерала. Разнообразно и прошлое их — профессия в мирное время, жизненный опыт, образование; различны культурные интересы и литературные вкусы. Можно представить себе, как должны отличаться по своему уровню эти рукописи друг от друга.

В этом многообразии без труда разграничиваются литературные возрасты, стадии литературного роста.

Первую стадию можно назвать непосредственной, долитературной. Это не значит, что авторы, которых я сюда отношу, незнакомы с литературой. Нельзя научиться читать и писать, не приобретая такого знакомства. В этих рукописях упоминаются названия прочитанных литературных произведений, иногда приводятся даже цитаты, но авторы не соотносят свою работу с этими произведениями; они не пытаются написать нечто подобное тому, что они прочитали. Отсутствует подражание, отсутствует и сознательное преодоление литературных влияний или критическая их переработка. Это и есть «долитературная стадия». В конце статьи, когда читатель познакомится с материалом, я попробую показать, что эта стадия — не только ступень в развитии отдельной писательской личности, но и нечто другое, более важное.

На следующей стадии возникает интерес к тому, как «делаются» литературные произведения. «Долитературный» автор радовался им как читатель, они были предметами его культурного обихода. Теперь они становятся для него образцами.

Часто начинающий автор выбирает как образец не какую-нибудь определенную работу определенного мастера, а нечто лишнее индивидуальности, ходячее, среднее, то, с чем он встречался во многих похожих друг на друга, примелькавшихся произведениях, так что трудно сказать — кому он, собственно, подражает. Именно такие безличные произведения представляются наиболее надежными образцами, испытанными, проверенными. Все так пишут — значит, и я должен так писать.

Встреча с трафаретами — так можно было бы назвать эту стадию.

Вопрос о трафаретах не такой простой, как кажется. Мы считаем само собой разумеющимся, что трафаретное плохо, но нужно определить — чем оно плохо.

Плохое в трафарете — не его повторяемость. Мало ли можно найти в русской и мировой классике повторяющихся сюжетов, положений, характеров, но никто не назовет их трафаретными.

Трафарет плох потому, что живое содержание в него не укладывается.

И нашим авторам на этой стадии их развития угрожает такая опасность: то ценное, что они приносят с собой, их жизненный и воинский опыт может пропасть, потеряться для литературы. Нужно указывать им: то, что вы написали, можно было бы написать за письменным столом, в тысяче километров от фронта, это мог бы написать человек, который не видел того, что вы видели, не пережил того, что вы пережили. Пишите так, как могли бы написать только вы и никто другой.

Трафарет как бы стоит при дверях — у входа в сознательную литературную деятельность. Встреча с трафаретом — критический, решающий момент в литературном развитии. Вся дальнейшая участь писателя зависит от того, справится ли он с этим стражем порога. Если справится, если есть у писателя что сказать и есть упорство в передаче пережитого — то он пробьется сквозь трафарет и встретит настоящих учителей; он будет усваивать и перерабатывать классическое наследие и достижения своих современников, применяя все к своей задаче художника и человека; он выйдет на самостоятельный путь. Так для него начинается третья стадия. В сознательном профессиональном мастерстве вновь оживают ценности непосредственной первой ступени, осмысленные и обогащенные. Сказанное не означает, разумеется, что каждый автор в своем развитии обязательно проходит через все эти стадии. Не каждый подымается до самостоятельного мастерства; не у всех была «долитературная стадия» — многие начинают с подражания: при разумном педагогическом вмешательстве начинающий писатель не будет впадать в трафарет; как и большинство классификаций, приведенная классификация не покрывает всего грандиозного разнообразия явлений, но она выдвигается самим материалом и поможет нам в нем разобраться.

В руководстве для начинающих писателей должны быть главы не только о сюжете, композиции, стиле и прочем. Одна из глав должна называться «Биография». Нашим авторам эта глава не нужна. Многого им не хватает, но биография у них есть.

Обычно литературное развитие начинающего писателя происходит неравномерно, не охватывает сразу, одновременно, всех линий всех элементов литературного произведения. По одним линиям автор отстает, по другим опережает свой возраст. Например: сюжет — условный и книжный, характеры и обстановка — живые. Чаще всего приходится отмечать такую неравномерность в отношении языка ко всем другим элементам писательской работы. В повести или рассказе образы, психология действующих лиц, все построение такие, что от них не отказался бы и квалифицированный автор, а язык нелитературный.

Среди профессиональных, печатающихся писателей (в частности, у некоторых поэтов) можно порой наблюдать совсем другое несоответствие: между общим уровнем и литературным умением. Иной литератор посвящен во все тонкости своего ремесла. Он, может быть, даже талантлив — какой-то специфической, узкопрофессиональной талантливостью. Но он, кажется, думает, что эти ремесленные сведения и навыки могут заменить настоящую всестороннюю образованность и понимание человеческих отношений.

Таких несоответствий у фронтовых авторов нет. У них этот уровень или выше их литературного умения (это бывает чаще всего), или соответствует ему — и никогда не бывает ниже.

Тема всех рукописей — Великая Отечественная война. Действие часто восходит к мирному времени, иногда отдаленному, но всегда возвращается к великой войне.

Во многих произведениях все действие разворачивается на фронте, но обычно оно восполняется сценами в тылу — в городе, в колхозе, где живут родные и близкие действующих лиц, в госпитале; иногда (реже) целиком переносится в тыловую обстановку. Много внимания авторы уделяют тому, что происходит на временно занятой врагом территории; изображают плен, страдания населения, партизанскую борьбу против захватчиков. Иногда (чаще у поэтов, чем у прозаиков) местом действия оказывается Германия и оккупированные страны Западной Европы.

Я буду здесь заниматься преимущественно произведениями «долитературной стадии».

Речь будет идти о прозе; стихи для долитературной стадии менее характерны, чем проза, а драма еще менее характерна. Понятно почему: форма их более канонична, более связана с образцами, требует особых навыков, которыми «долитературный» автор не обладает. О стихах и драме нужно будет говорить особо.

Перед нами повести, рассказы, очерки, воспоминания. В основе своей все это — воспоминания и наблюдения участника. Эта основа дает себя знать и в «вымышленных» повестях и рассказах; даже если сам автор ее не оговаривает, она ясна и отчетлива: вот это я, это мои родные, это мои товарищи, это было в нашей деревне, это было в нашей части, это я видел, об этом рассказывали жители освобожденного района. С такой же отчетливостью выступают и привносимые сюда элементы художественного вымысла.

Шаг за шагом мы будем знакомиться с этими произведениями, все более убеждаясь в том, что это искусство, что перед нами нечто очень значительное. Лучше начать с некоторых внешних особенностей, которые могли бы помешать восприятию, если не будет установлено правильное к ним отношение. Нужно защитить наших авторов от возможного непонимания.

Скажут: «Тут ничего нет, это просто неграмотно и коряво». Кто-нибудь снисходительно возразит: «Нет, тут кое-что есть, такой примитив, занятно». Этот вид непонимания — вредней и обидней; какое-то литературное извращение, от снобизма, от несвежести вкуса. И неверно по существу: наоборот, эти произведения сложны, только сложность их — невыдуманная, подлинная сложность живого организма.

Что же касается обвинений в неграмотности, на них нужно ответить подробнее.

Я не собираюсь защищать плохую грамматику. Но нельзя смешивать грамматические особенности этих произведений с ошибками в ученической тетради. Такая тетрадь как раз у меня под руками — повесть в трех частях, называется «Приговор». Автор — 1928 года рождения, учится в шестом классе. У него отец на фронте, а он слово «артиллерийский» пишет с тремя ошибками: «артелирийский» — и воображает, будто есть такая команда: «огонь пли».

В наших рукописях другое. Например, сбивчивость в отношении среднего и женского рода: «моя орудия» (хотя тут же рядом: «мое орудие»); «трясеть» вместо «трясет»; «в Игната» вместо «у Игната»; «с Брянска» вместо «из Брянска» и так далее.

Это местные говоры.

Публикуя отрывки из этих рукописей, я, разумеется, исправлял грамматические ошибки, но сохранял особенности написания слова там,

где они отвечали всему строю языка автора. Оказалось, что орфографических ошибок здесь немного: меньше, чем в школьных тетрадях, и что дело не в правописании, а в языке. Люди пишут так, как они говорят.

Мы встречаемся с такими словами, как «страсть» (в смысле «страшного»), «ужасть», с такими формами, как «вынал» и «ложил»; один из наших авторов слово «шоссе» произносит «саше» и т. д.

Разумеется, это не язык литературы — это «долитературная» речь; в консультантских письмах мы без всяких поправок указываем таким авторам на те требования, которые предъявляются к литературному языку.

Но нельзя называть эту речь «дурной», «неправильной», «неграмотной». Все эти слова, формы, особенности, местные и не местные, мы найдем в народном языке, что особенно важно и интересно — мы найдем их в языке устного народного творчества. Без всякого осуждения бережно и внимательно их отмечали наши писатели-классики (одинаково хорошо владевшие литературным и народным языком), фольклористы, языковеды, историки.

Отмеченное выше значение слова «страсть» в далевском словаре приводится как одно из основных значений этого слова; форма «ужасть» приводится там же как нормальная форма (со ссылкой, в частности, на летописный текст).

Слово «шоссе» Даль комментирует так: «Переиначено в шашу, сашу, как слово для нас вовсе чуждое» (чуждое, конечно, не по значению, а по форме и по звучанию). В наши дни можно было бы в том же духе прокомментировать слово «стереотруба», которое переиначивается (у нескольких авторов) в «стерьевую трубу».

У одного из наших авторов (И. Н. Зуева) мы найдем слово «пелы». Не доумевать по этому поводу не следует: «пелы» — то, «что остается за ворохом, по отвейке зерна» (Даль), правильное, добротное слово, нужное именно в той связи, в которой применил его автор (речь идет об отвеянном горохе, и нельзя было бы заменить здесь «пелы» «мякиной»).

Другой автор, И. Ф. Колодников, пишет: «Одного ездового сшибло с вершни». Слово образовано от хорошего старого русского слова «вершень» (верх, верхушка).

У того же автора: «Вот-вот сам паду». По нормам литературной речи следовало бы написать «упаду». Но здесь не ошибка, не нарушение этих норм, не беззаконие; здесь действуют другие нормы — нормы народного местного говора. Характер этого словоупотребления становится особенно ясным, когда в той же рукописи встречаем обычный народно-песенный оборот: «Мысли пали в голову».

А вот когда начинающий поэт пишет: «Любовь — это красок гармонь» — это действительно неграмотность, народное творчество тут ни при чем.

А когда квалифицированный, признанный писатель заставляет своих персонажей «из народа» изъясняться безобразными «каво», «чаво», рассуждать о какой-нибудь «речуге» или «песняге» или когда его персонажи («из городской молодежи») собираются «сперва пошамать», а потом куда-нибудь «потопать» — это не только неграмотность (в данном случае — незнание народного языка), но и литературное хулиганство.

У наших авторов не найдем ни такого определения любви, ни «речуги», ни «шамовки».

Нам придется еще не раз возвращаться к вопросу о связи наших авторов с фольклором, о том, как сочетаются в их произведениях диалект и литературный язык, к вопросу о принципах этой публикации. Но уже здесь нужно сказать о том опасении, которое, вероятно, возник-

нет у некоторых читателей: не окажется ли публикация, воспроизводящая особенности этого языка, непедагогичной?

Опасения отпадут, если тут же (как мы это сделали) будет оговорено своеобразие этого языка, отличие его от языка литературы.

Знакомство с этим языком не только не противоречит грамотности, но является, наоборот, одним из обязательных его условий. Если наших авторов нужно просвещать (консультацией, чтением классической литературы) в отношении литературного языка, то многих литературных людей нужно знакомить с языком народа, ликвидировать их неграмотность в этом отношении.

От наших авторов вовсе не требуется, чтобы они знали тот язык, которым они пользуются теперь. От них требуется, чтобы они владели всем незаменимым богатством русской речи, местной и литературной, во всех ее оттенках и элементах и чтобы они сознательно относились ко всем оттенкам и элементам.

Такой педагогике, единственно правильной, наша публикация не помешает.

Мы говорим о словаре наших авторов, о морфологии, о произношении. Скажем еще о синтаксисе и пунктуации.

В некоторых рукописях встречаются придаточные предложения, повисающие в воздухе, незаконченные периоды, как встречаются они в разговорном языке и в речи оратора, даже неплохого.

«На знаки препинания прошу не обращать, если не поставлены, где надо».

Приведу отрывок из повести И. Ф. Шерстнева «Три войны», из той ее части, где автор описывает старую деревню.

«Ванька с нетерпением ждет, когда привезут отца, его привезли на третий день в обед. Ванька был в школе, и когда он пришел домой видит что на кровати лежит отец он с радостью подскочил к нему и стал рассказывать как он уже выучился писать до 100, отец лежал неподвижный посмотрел на сына и сказал молодец скоро будешь хорошо грамотный, а мать подошла к нему и говорит отойди сынок отец болен ему говорить нельзя а то хуже будет и сама снимая с больной головы намоченный в холодной воде платок и пошла его снова намочила потому, что он был уже горячим, помочив платок крепко выжав его от воды шла снова его приложить к голове, а Ванька опять рассказывает отцу как его за молитву учительница оставила без обеда он хотел рассказать ему еще позавчера но его увезли в больницу. Отец ничего не отвечал как будто не слышал что ему сын рассказывает. Мать снова Ваньку оттолкнула иди от него не мешай ему так тяжело не успеешь менять мокрый платок и стала класть на голову платок поправляя концы под затылок, ей показалось что он уже не жив не дает никакого движения, она испуганно прилегла ухом к сердцу. Но сердце уже не билось она стала его руки вытягивать они как тряпки послушно действовали куда бы она их не повернула, и когда уже мать стала открывать ему глаза и они ничего не дали похожего что он жив она в обморок упала на пол около кровати. Ванька понял что отец помер. Он с криком заплакал так что уснувшие уже на печке два его меньших братишки Антошка и Панька и сестренка Анка проснулись не понимая в чем дело тоже заплакали и своим плачем разбудили последнюю сестренку Маньку, которая спала в зыбке она была еще грудной».

Количество знаков препинания тут следовало бы увеличить. И все же трудно было бы отрицать серьезные достоинства этого отрывка.

Это хождение с платком, ребенок, который не понимает, что умирает отец, и другие дети (только после того, как умер отец, в самом конце отрывка, когда все они друг за другом начинают плакать, выясняется,

сколько их было и что эта смерть для этой матери значит); как теперь со всем этим быть — нечем помочь — беда, от которой хочется об стенку головой колотиться, человеческая беда во всей своей житейской наготе.

Но я хочу отметить не только глубокое понимание несчастья, не только то чувство, которое автор вложил в эту сцену. Здесь есть и формальные достоинства, не отделимые от человечности содержания, — в самих этих текучих, непрерывных, безостановочных фразах: естественное разговорное построение, свободная интонация устного повествования.

Многие квалифицированные писатели стремятся достигнуть такого свободного движения речи, но не всегда и не всем это удается. Применяются искусственные средства; иногда сознательно откладываются от пунктуации. Таковы в современной английской и американской литературе «внутренние монологи» — на нескольких страницах — без единого знака препинания. Нарочитый внешний прием: восстановите эти знаки — и сомнительный «новаторский» эффект пропадает. Напротив, если в наших рукописях правильно расставить запятые, живая интонация сохранится.

Нужда в такой интонации, разумеется, есть. Литературный язык должен всегда сохранять свою связь с разговорным. Разговорная речь должна проникать и в стихи, и в повесть, и в роман не только на правах диалога, но вмешиваться и в авторское изложение. Она должна войти и в литературно-критическую статью — ведь не все же время читать скучноватые лекции и вести профессиональные разговоры: ведь есть еще обычный человеческий разговор и нельзя обойтись без него, когда говоришь о литературе.

А вот пример того, что называют «профессиональным разговором»: «Переводчик должен влезть в шкуру переводимого автора». «Мы невольно оживляем портрет Уитмена движениями Чуковского, англичанин Блейк косится на нас взглядом Маршака» («Литература и искусство», 1943, № 38). По-моему, так говорить и так писать не надо!

Умение передавать живую речь требуется и в «вымышленном» произведении, и там, где литератор должен воспроизвести подлинный рассказ участника, очевидца и т. д.

Были напечатаны воспоминания родственников Гастелло; драгоценный документ; но они были бы еще лучше, если бы не «литературная обработка». «В записи мы старались как можно точнее и бережней донести до читателя простые, от сердца идущие слова». И далее следуют такие строки о заграничных радиопередачах: «Вопили немецкие дикторы, ворковали французы, и упрямо, грузно пробивались сквозь эту какофонию англичане». Вряд ли именно так говорила Анна Петровна Гастелло, потому что обычно люди так не разговаривают. В других местах запись похожа на стилизованный сказ, временами в ритмической прозе: «Хата по самую крышу в землю вросла, издаля и не скажешь, хата то или чокча болотная».

Между разговорной речью и литературным ее воспроизведением — немалое расстояние, и трудно его преодолеть. Сколько людей, необыкновенно талантливых в устном рассказе, теряют эту талантливость, когда пытаются изложить письменно, в «литературной форме» то самое, о чем только что так живо, интересно говорили; обращаясь к «литературной форме», они «встречаются с трафаретами», и много усилий требуется для того, чтобы эти трафареты разбить и найти настоящую литературную форму.

Наши авторы, повторяю, пишут, как говорят. Оказывается, писать, как говоришь, не так-то легко. И можно удивляться тому, как хорошо это у них получается, не только у Шерстнева, но и у многих других (не у всех, разумеется).

Кто-нибудь вспомнит о детских рисунках, которые все, как известно, талантливы, хотя не из каждого ребенка вырастает потом взрослый художник.

Аналогия будет неверной. Тут совсем другое явление. Тут нет ни смещения перспективы, ни фантастической раскраски, как в детском рисунке, хотя яркости — не меньше. Хорошо то и другое, но по-своему и по-разному. Это взрослое творчество, а не детское, взрослое по своей психологии, опыту, который в нем заключен, по своему общественному значению.

Разумеется, не все авторы одинаково талантливы. В отношении языка: Шерстнев, Колодников, Зуев и многие другие свободно владеют своей речью, у некоторых же авторов она движется затрудненно, не повинуется им, и читать их иногда нелегко. Но всегда у них есть что сказать и обязательно найдется черта, подробность, образ, эпизод, мысль, заслуживающие серьезного внимания.

Из рукописи старшего сержанта Н. И. Мишечкина: «Разведчики наблюдали в выставленные между окоп свои стерьевые трубы. Они торчали из окопа вроде рогов кавказского козла-тура в момент, когда тур наметит место, спокойно стоя, готовясь к гигантскому прыжку с одной скалы на другую».

Превосходное развернутое осмысленное сравнение, которое сделало бы честь и не «долитературному» автору.

Другая рукопись — «Партизаны — дети Кавказа». В ней такая картина: «Женщины использовали прозрачную воду из горных ручьев, кипятя в котелках; в скалистом камне, пригадав выемку, похожую на корыто, сливая туда горячую воду, занялись стиркой. Дети выпалили, закусили и как ни в чем не бывало заигрались, убежали куда-то в лес».

За неумелой фразой нетрудно увидеть то хорошее, что старается выразить автор. Тут действительно есть хорошее: не отвлеченные, условные горы и водопады, которые можно в рамку вставить и на стенку повесить, но к которым нельзя отнестись реально — например, представить себя взбирающимся на эти камни. Напротив, здесь выдвинуты как раз те стороны, к которым человек относится практически и житейски; деловой, обжитой пейзаж становится убедительным, физически ощутимым.

Хороши и первые страницы этой же рукописи: боец в прифронтовой полосе ищет своих односельчан. Почти все население эвакуировалось. Он встречается с женщиной, для которой когда-то отделявал дом. Автор описывает дом: «небесно-бирюзовой окраски»; яблони, ветки, висящие «над баясным барьером палисадника». В этом описании — артистизм того самого человека, который отделявал этот дом.

Здесь выступают черты, общие почти для всех этих произведений: поэтическое отношение к практическим, житейским предметам, понимание значительности обыкновенных вещей, сделанных человеческими руками.

Эти черты можно было заметить в рассказе Шерстнева о работе подростка; из этого отношения к вещам и к труду вырастает прекрасная тема повести Зуева; хорошо понимают эту сторону жизни Колодников и Куницын.

Писатель, который писал о подвиге бронейщиков, свой рассказ начал с того, как они, стоя в окопе, прижимались грудью к сухой земле и смотрели на стебельки полыни. А когда о себе и своих товарищах рассказывал бронейщик, он начал с той каши, которую они собирались есть, когда услышали о приближении танков, и с того, как был приспособлен окоп: слева вырыта земляная полка для разных вещей,

справа — для гранат. Писатель написал хорошо, но у бронебойщика получилось лучше и поэтичнее.

Теперь нужно показать, что эти авторы могут не только описывать стереотрубу, стирку белья у горных ручьев или дом голубого цвета, но проникают и во внутренний человеческий мир; нужно показать, что в неумелой, трудно построенной фразе может быть выражено глубокое и правдивое психологическое наблюдение.

Разумеется, нужно помнить при этом, что таких особых и специальных заданий: «нарисовать обстановку», «раскрыть психологию» — наши авторы перед собою не ставят. Без такой нарочитости возникает и то и другое из их интереса к жизни как к целому. И как отделить одно от другого? Разве нет человека в описании дома? В повести Зуева мы увидим, какие душевные ценности могут быть связаны с деревянной лопатой. Вещи вне их отношения к человеку, психология вне отношения к жизненной практике, к другим людям, к вещам и к природе — такое обособление мы наблюдаем только в упадочном, омертвевшем искусстве. У наших авторов нет ни бесчеловечных вещей, ни беспредметных, самодовлеющих психологических изысканий.

Как раскрывают они душевную жизнь бойца, нужно показывать не на отдельных примерах. Эту жизнь читатель найдет в тех произведениях, которые дальше я разбираю подробно — в повести Зуева, в воспоминаниях Колодникова и Куницына. Здесь приведу другие примеры — один женский образ и несколько детских; вернее, даже не образы (полностью их здесь представить не хватило бы места), а черты, по которым можно судить, как автор изобразил человека.

В рассказе Е. П. Герасимова «Петька» одна такая черта вырастает в целый образ. Немцы уводят арестованных мирных жителей, жену и мужа. Жена несет на руках ребенка.

Такие сцены можно найти во многих очерках и рассказах, написанных профессиональными писателями; иногда об этом пишут сильно, так, как нужно об этом писать; иногда — внешне и книжно, как если бы писатель не ставил себя на место действующих лиц и не отдавал себе отчета в той страшной реальности, которую он должен воспроизвести и забывать о которой ни на минуту нельзя.

Такие внешние, книжные очерки и рассказы встречаются и в наших рукописях, но не в «долитературных» произведениях, а у тех авторов, которые попали под власть трафарета. Вот, например, новелла «Русская женщина». Взятая в плен партизанка Пелагея обещает допрашивающему ее гитлеровскому офицеру дать сведения, которые он от нее требует. Одно из ее условий — «убрать» допрашиваемого вместе с нею партизана Павла (как выясняется в дальнейшем, ее мужа). Павел бросается на нее с криком: «Убью, гадина!» Фашисты расстреливают Павла. Тогда Пелагея «насмешливо восклицает» (почему-то стихами):

— Слушай же ты, одураченный фриц:
Кто мог под пыткой сказать,
Того пришлось убрать.
Жива лишь я.
Я знаю,
но молчу!

Для автора всего важнее была эффектная неожиданность. О всем остальном он просто не подумал.

Е. П. Герасимов рассказывает о русской женщине по-другому.

Он переживает то, что переживают его герои. Люди, о которых он

пишет, на допросе ни о чем не поведали бы врагу. Тов. Герасимов не сомневается в них. Но они не дошли до допроса.

Смысл отрывка, который я сейчас приведу, примерно такой (хотя сам автор, может быть, и не сформулировал бы так определенно свою задачу): как должны были относиться эти люди друг к другу, чтобы поддерживать свое мужество, сохранять свою стойкость.

«Нас ведут в город»,— сказал он вполголоса. «Куда ведут, мне все равно теперь,— сказала она.— Мне было всегда хорошо с тобой, и теперь мне хорошо с тобой вместе». Эти слова так чувствительно врезались в сердце Игнатову, как огнем обожгло ему в сердце, что-то стало таять, пробуждая какое-то чувство; такие чувства были у Игнатова, когда он был молодой и любил ее впервые, и тогда, когда они при встрече здоровались и давали друг другу руки, именно тогда были такие чувства. И теперь вспомнились ее ласки, когда она, играя с ним, всегда говорила такие же слова: «Мне с тобой так хорошо, так мило, правда ведь, Ефим».

Не буду говорить о недостатках. О них было сказано в консультантском ответе.

«Мне было всегда хорошо с тобой, и теперь мне хорошо с тобой вместе». Эта женщина знает, что муж думает не о себе, а о ней, что в этой мысли — его страдание и мука. Неистощима женская благородная сила — и вот в погибельный час слова жены окружают их каким-то глубоким покоем, которого у них, пока они живы, не отнимет никто.

А физических сил у нее уже нет, она не может идти. Офицер что-то приказывает солдату. «Солдат, неохотно взяв с руки Анастасии ребенка, как-то отвернув в сторону голову, бросил в снег. Анастасия хотела кинуться за ним, но солдат выстрелил ей в спину. Она выпрямилась, повернулась лицом к мужу и тихо свалилась рядом с ребенком».

Очень хороши в этих рукописях детские образы.

Анатолий Богодюк в своих фронтовых записках рассказывает о ребенке в лесу:

«Ему хотелось хоть что-нибудь найти сделанного человеком: зазубрину на дереве, брошенную бумажку или помятую траву. Ему казалось, что здесь никогда не ступала нога человеческая».

Его семья убита гитлеровцами. После того, что с ним произошло, он хочет убедиться, что еще существуют на свете люди.

А. Д. Корчагин, «Вчера и сегодня»: «Особенно требовал ухода семилетний Вася. Когда в прошлое лето на деревню посыпались немецкие бомбы, они, сидя под печкой, все тряслись, как в лихорадке. Вася лежал без чувств. А когда пришел в себя, то с тех пор совсем перестал говорить и все время плакал. Часто его безразличный, пустой взгляд оживал, сам он делался суетливым, что всегда кончалось приступом крика и слез. Это было: когда он слышал гул самолета, грохот орудий или же когда в хату входил мужчина, особенно военный в немецком мундире».

И. Петров, «Записки военного топографа». На горном перевале в метель бойцы встречают ребенка. Предлагают ему поесть. Он сперва отказывался, потом согласился. Как он был голоден, можно было узнать «по работе тонких пальчиков, сложенных в пригоршни, чтобы не проронить крошку хлеба».

Это написано о детях, но здесь и облик советских бойцов, которые о них написали с таким пониманием и чувством.

Примеры показывают, как много ценного в этих рукописях. В словах, то непринужденных и плавных, то с трудом поддающихся усилиям автора, здесь живут и люди и вещи.

Теперь от примеров можно перейти к разбору отдельных произведений.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ И. Н. ЗУЕВ. ДЕРЕВЯННАЯ ЛОПАТА

Автор так излагает содержание своей повести:

«История деревянной лопаты состоит в том, что она прожила 64 года при Никандре Ивановиче Петрове, а сколько она прожила при его отце — неизвестно. Эта лопата помогала Петрову вспоминать своего отца-покойника, а главное то, что Петров в возрасте 64 лет в 1942 году в войне с немцами убил этой лопатой в своей собственной избе немца. В рассказе указана работа Петрова этой лопатой в сельском хозяйстве и как она запечатлелась в памяти его сына Саши. Во время боя за дом Сашиного отца немец пустил из пистолета в грудь Никандры Ивановича пулю. И на глазах Саши отец умер. Мать его внезапно для Саши появилась из шкафа, а сестра Зина вылезла из подпола избы. Показана их встреча. Красная Армия, в том числе и Саша, после освобождения движется на Запад. Мать его долго стоит на дороге и не спускает с глаз своего сына и всех освободителей».

Повесть начинается так:

«После ручной молотбы гороха старик Никандра Иванович Петров, 64 лет, при помощи деревянной лопаты против дующего ветра из полуоткрытой двери собранный в кучу неотвеянный горох перебрасывал на другое место. Саша, 10 лет, сын Никандры Ивановича, сидел на деревянной кадлушке, обитой двумя железными обручами, обороченной кверху дном, и любовался ловкими движениями отца. Эта кадлушка, на которой сидел Саша, служит для измерения чистого зерна. Как только мерка гороха насыпается вровень с бортами, так отец, не взвешивая на весах, говорит, что здесь пуд десять фунтов.

Падающие, как дробь, круглые горошинки, чисто освободившиеся от половы, часто сбегают с кучи и катятся по чистому ровному полу, как бы догоняя друг друга. Далеко бы они убежали, если бы отец не преградил им путь разостланным на полу полотном. Кучка, куда отец перебрасывал отвеянный горох, все вырастала, а та, откуда он подцеплял лопатой, раз от разу уменьшалась.

Разноцветность горошин привлекла внимание мальчика. Он подошел к отвеянной кучке гороха, стал выбирать по одной горошине и раскладывать их по карманам заштопанной тоненькой черной куртки. Горошины белого цвета он ложил в один карман, черного цвета — в другой, а зеленые и серые, которых в куче очень много, он совсем не брал. Отобранные им горошины Саша считал вкуснее, чем те, которые остались, а поэтому он уговаривал отца покушать. Отец, желая утешить мальчика, иногда брал из его тоненьких ручек отобранный одного цвета горошек, а когда это повторялось часто, то он приказывал Саше сесть и не мешать ему работать».

Когда отец уходит, мальчик пытается подражать ему.

«Но ветер его не послушался, не унес на сторону пелы, и горох с пелами расплылся по чистой куче».

Вернувшийся отец объясняет: «У тебя горох с лопаты летел не в рассыпную, а кучкой. Ветер вот и не в силах был рассеять на лету твой горох».

«Я вот каждый раз, когда этой лопатой работаю, вспоминаю отца и произношу слова: «Царство небесное отцу». На вопрос мальчика, что это значит, старик отвечает: «Это так принято. В писании сказано, что нужно всегда вспоминать своих родителей. Мне вот лопата и помогает вспоминать своего отца. Не знаю, будете ли вы нас вспоминать».

«Лопата действительно красива. Цвет ее напоминает красное дерево. За свою долголетнюю жизнь она настолько отшлифовалась, что если смотреть на нее прямо глазами, то можно видеть изображение своего

лица, как в зеркале. Дерево, из которого изготовлена лопата, отец называл ясень. Цевье не отделено; то есть цевье и лопата сделаны из одной сплошной доски».

К воспоминаниям о детстве в крестьянской и рабочей семье возвращаются многие авторы. Это одна из любимых тем.

То, что мы прочитали в повести т. Зуева, не только чудесное описание. Автор чувствует, как это хорошо и красиво, а мы за теми образами, которые он рисует, чувствуем два самых важных начала человеческого существования — труд и семью — и преемственность этих начал.

Никакого литературного мудрствования. В лопате отражается человеческое лицо просто потому, что ею работали долго и бережно и она отшлифовалась, как зеркало. Никакого подмигивания: «Смотрите, что я хотел здесь выразить». Все то, что т. Зуев описал, живет своей собственной, серьезной и тихой внутренней жизнью.

Обыкновенная сцена, нехитрый процесс деревенского производства, разговоры отца и сына. В ответ оживают глубокие чувства. Каждый вспоминает свой дом: покосившийся сруб, серые бревна, надпись: «5 марта поймали с Платоном красного снегиря», зарубки — здесь дети мерялись ростом. У каждого есть такие воспоминания — люди, которых любил, города и деревни, куда хотел бы вернуться.

Что происходит в повести т. Зуева дальше, мы уже знаем. Начало ее, разумеется, автобиографично. Дальше появляется вымысел: он нужен для того, чтобы полнее раскрыть идею произведения. Вряд ли в семье т. Зуева имели место в точности те же события, с которыми встретился Саша. Но повесть и здесь сохраняет свой автобиографический смысл: в ней стремления и чувства советского бойца, который защищает то, что ему дорого.

Заветная вещь обращается против обидчика и врага — мотив, не редкий в литературе. Здесь этот мотив возникает вне каких-нибудь литературных заимствований, он напрашивается сам собой, его требует внутреннее развитие самой темы.

У советского народа и его армии — живая связь трудящихся поколений, душевная ясность и благородство, несовместимые даже с малейшим проявлением корысти и эгоизма. Гитлеровцы же — люди как будто с другой планеты, существа из какого-то дикого, мертвого мира, в которых все дико и мертво, которыми движет равнодушная жадность, для которых жизнь старика и ребенка — как пыль на дороге.

В этом столкновении должна появиться и заветная вещь. Опытный писатель, может быть, по-другому расположил бы подробности. Старик мог бы схватить другой, более подходящий для этой цели предмет — топор, например. Скажем, так: немец хочет лопату использовать на распорку, старик выхватывает топор из его рук и бьет врага топором. Автор предпочел более прямое решение: пусть заветная вещь сама превратится в оружие — пусть немец будет убит именно этой лопатой.

Тут в дом отца проникает Саша со своими бойцами. Разумеется, совпадение. Бывает же так: действующие лица сперва разговаривали друг с другом на московской квартире, а потом встретились в партизанском лесу и даже не очень этому удивились.

Для т. Зуева это не какая-то литературная механика. Наш автор понимает, как дорого такое совпадение, какой это подарок для человека. Тсв. Зуев прекрасно об этом говорит:

«Мысли его не покидают: попасть в свой родной район и самому освободить своих родителей. Но это может быть случайность и его мечта. Не может же командование расставить бойцов и командиров так, чтобы каждый освобождал свой район и свою деревню. Никто об этом не думает. Каждый знает, что, если он дерется под Москвой, это

равносильно, что за Ленинград или за Сталинград. Но если бы предстались бы такая случайность, то это большое счастье».

Подробно описано, как воинская часть, в рядах которой сражается Саша, все ближе и ближе подходит к деревне, где живут его родные. В соседних селениях он ищет знакомых, которые рассказали бы ему о его семье; никого не может найти, никто ничего не знает.

О возвращении домой пишут многие авторы. В рассказе А. Байдина «Четвертый» Степан Рубцов, совершив героический подвиг, едет в отпуск, в родную деревню (эта деревня в тылу). Железнодорожный вагон. «Рубцов соскочил с нар, затем стащил лежащий в головах вещевого мешок, вынул из него полотенце, пошел умываться; умывшись, съел не спеша несколько галет, покурил, подогнал вещевого мешок, и, не замечая времени, паровоз привез его в долгожданную Софроновку, куда два месяца назад он плохо верил, что когда-либо попадет».

«Как полагается, подтянул лямки, ну и направился по знакомой дороге. Заходит во двор, овчарка его не узнает, кидается на него, но из овина выбегает отец. Он моментально узнает сына, обнимает, целует верного защитника отечества и чуть ли не на руках несет в избу. Выбегает мать. Что дальше происходит, не понимает Степан: ласки, слезы от беспредельной радости».

Сашина деревня — в занятом врагами районе, и встреча с родными происходит в совершенно другой обстановке.

«Глазами отец смотрел Саше в лицо, но вряд ли он уже понимал, что смотрит на любимого сына. Отец уже не произносил ни одного слова. Каждый выдох его из груди создавал какой-то странный хрип. Саша смотрит в милое отцовское лицо. Такая же белая борода, такой же слегка расплывшийся по щекам нос, такие же полуседые волосы. Глаза перестали смотреть на Сашино лицо, а устремились как бы вдаль и смотрели неподвижно в одну точку».

Отец погиб, но мать и сестра спасены. Немцы выбиты из деревни. Наступление продолжается. Бойцы уходят на запад.

«За плохую обработку,— пишет т. Зуев,— прошу вашего извинения. Условия мои не давали возможности достаточно ее обработать. В данный момент я нахожусь в госпитале после ранения. В лучшей обработке мне сейчас изменяют силы».

Что касается обработки — недочеты ее сравнительно с достоинствами невелики, и читатель вправе сказать: автор не только прекрасный человек — он настоящий художник.

Приведу последние строки:

«Саша исчез в огромной массе войск. Мать с дочерью долго смотрели на мимоидущих бойцов. Форма одежды командиров привлекала их внимание. Им казалось, что все командиры похожи на Сашу и все такие милые, как он. Мать, двигая пальцами правой руки, махала в воздухе крест-накрест, произносила слова: «Благослови их, царица небесная».

Не так много можно назвать литературных произведений, в которых чувство родины было бы таким же глубоким и ясным, как в повести т. Зуева.

И. Т. ХАХАЛЕВ. ДОКТОР

Здесь другая тема и другая писательская индивидуальность. Нет той теплоты, того личного обаяния, которыми проникнута каждая строчка в повести о деревянной лопате. Главное действующее лицо совсем не похоже на Сашу и Сашиного отца. И у автора не такой счастливый характер.

Автор — критический наблюдатель человеческих отношений, с повышенным интересом к отрицательному. Конечно, отнюдь не из таких людей, которые в каждом ищут дурное и радуются, когда обнаруживают слабые стороны какого-либо хорошего человека; и не из тех ревнителей справедливости, которые поднимают великий шум, если их не включили в учрежденский список на какие-нибудь материальные блага, но тотчас же успокаиваются, когда их включают в этот список. Побуждения автора совершенно иного порядка. Он хочет понять те проявления эгоизма, с которыми сталкивается, разобраться, почему вот такой-то человек фальшивит и притворяется, почему друзья иногда заводят друг с другом бессмысленные, ненужные споры. То, что он ищет, можно было бы определить как философию социального поведения. Это не праздное умствование; автор хочет убрать эгоистический мусор ради тех задач, которые стоят перед страной.

Его стиль тяжелый. Длинные фразы Хахалева большей частью не так хороши, как у многих его товарищей. Он по несколько раз возвращается к одному и тому же: чувствуется, что долитературные средства недостаточны для его философии, а других средств у него нет. Но нельзя отказать автору ни в уме, ни в зоркости, от которой не так-то легко укрыться, ни в язвительности, ни в художественном такте.

Фабула в рассказе т. Хахалева почти отсутствует, это скорее портрет, чем рассказ.

Нашим писателям случалось изображать дезертира; ловкач, который от дезертира отличается только тем, что его трудней обнаружить, не привлекал к себе такого внимания.

Ночью в госпиталь, в отделение для нервных больных, на носилках приносят ветеринарного врача, который жалуется на боли в пояснице.

Тов. Хахалев крепко не любит этого врача (и есть за что, как мы дальше увидим).

Можно было опасаться, что автор изобразит в рассказе эту свою антипатию — и забудет изобразить предмет этой антипатии. Такие случаи не редкость в литературе: и у профессиональных писателей, и в особенности у начинающих. В одной рукописи подробно рассказывается о том, как батальонный комиссар глядит на отрицательное действующее лицо: «Черные брови начальника сдвинулись одна к другой, образуя над переносицей глубокую складку, в глазах сверкнули огоньки», — а само отрицательное лицо совсем не описано. Недостаточно изобразить чей-нибудь законный гнев, нужно вызвать этот гнев у читателя, нужно, чтобы и у читателя «сдвинулись брови». А чтобы этого добиться, нужно изобразить отрицательное лицо. Если оно не представлено так, как надо, рассказ не окажет педагогического воздействия, благородные чувства автора останутся втуне и никакие сверкающие огоньки не помогут.

И вот тут сказывается художественный такт Хахалева. Автор как будто стоит в стороне и спокойно, неторопливо зарисовывает своего «конского доктора». Но это хитрость художника. В действительности он вовсе не посторонний свидетель, а судья, обвинитель, страстно заинтересованный участник, — только вся эта страсть уходит не в жесты и восклицания, а в лепку образа, который оказывается настолько убедительным, что читатель без всякой подсказки восклицает: «Бывают же такие дрянные люди на свете!»

На всем протяжении рассказа автор ни одним словом не обмолвился, что его «герой» — симулянт.

Но вот как описана его походка.

«Он начал ходить собственным ходом в физиокабинет, в столовую и обратно, в кино и даже по естественным надобностям без всякой посторонней помощи сестер и нянь, с палочкой в руке, с откинутой на заты-

лок головой, с чрезмерно прогнутой поясницей в спине; поддерживаясь левой рукой у прогнутой поясницы, он мелкой, легкой, крадущейся походкой большого, плавно переступая с ноги на ногу, двигался, как павлин. Его походка была похожа на походку садовника, безмерно увлеченного плодами своего сада и теперь присматривающегося к каждому деревцу, не тронул ли кто из прохожих или из шалости — уличная надоедливая ребятежь».

Не знаю, согласится ли со мной читатель, мне кажется, что этими мелкими, цепляющимися друг за друга чертами замечательно воспроизводится искусственность, деланность этой походки, усилия, которые тратит этот субъект для того, чтобы изобразить большого; его актерская игра сама складывается из таких отдельных мелких черт, тщательно выполняемых приемов, ужимок. Он как будто чувствует на себе подозрительный взгляд и от этого еще пуще старается. И через походку, через эти мелкие, старательные, вкрадчивые движения изобличена его внутренняя природа, раскрыто все то, что он с таким усердием прячет.

У другого автора (профессионала) отрицательный персонаж дрожит и трясется, пальцы его дрожат и трясутся, он то и дело вздрагивает и пригибается, он ленив и неповоротлив, весь он кажется вялым и разболтанным: на нем грязная, измятая шинель, хлястик оборван, один конец воротника поднят, ушанка сидит небрежно: он как-то робко входит в землянку, глаза у него беспокойные, он ворует у товарища мелкие вещи, не бреется, не умывается, от его портянок дурно пахнет, и весь он издает нехороший запах.

Читателю тошно от всех этих свойств, но лицо, которому автор все это приписал, читатель не ощущает.

У Хахалева — не набор неприятных черт, а лицо, характер, законченный отрицательный тип, все проявления которого внутренне связаны друг с другом и с его эгоистической сущностью.

Доктор курит в постели папиросу за папиросой не с обычной страстью курильщика, а с какой-то отталкивающей жадностью, проявляя совершенное равнодушие к своим соседям по палате, которых, конечно, он ставит ниже себя.

Доктор притворяется, будто потерял аппетит, — надо же продемонстрировать свою болезнь, — а в то же время собирает куски хлеба и сушит их на батарее центрального отопления.

«Но сами знаете, что за животные эти маленькие мыши, еще завидно (засветло. — В. А.) они начинали энергичную разведку на сухари нашего доктора, а ночью, когда выключили электросвет, началась активная атака за атакой сразу в разных направлениях. И откуда их столько взялось? Видимо, со всего отделения были стянуты силы. Собравшись, они в одно и то же время загремели, зашурдели по батареям, по тумбочкам, по окнам и даже по койкам, до безумия гремя сваленными кусками сухарей и мелкими предметами. И учинили такую между собой невероятную драку за добычу, что одна жуть».

Соседи по палате «вынуждены были предложить нашему доктору одно из двух: или выбросить сухари, или стать часовым около своих сухарей. Конечно, наш доктор согласился на последнее, всю ночь отражая нападающих на него мышей».

Как он здесь на своем месте — в битве с мышами, сам подвижный такими же мышинными вождениями, и как естественно очутился он в таком выразительном положении! Образы сами раскрывают свою многозначность без нарочитой символизации: с доктором это случилось просто потому, что мыши, следуя своим инстинктам, напали на его сухари, а он, следуя своему характеру, должен был защищать свое добро — а не потому, что автор как-то нарочно и специально стравливал его с мы-

шами и показывал нам: поглядите, он жадный и вредный, как мышь. Такое ощущение возникает из развития самих образов, без авторского нажима, и это немалое искусство.

Следующие страницы дорисовывают взаимоотношения доктора с окружающим миром, и автор еще раз обнаруживает свою наблюдательность и свои социально-психологические интересы.

В вынужденном бездействии, находясь все время вместе друг с другом, больные (нервнобольные к тому же) не могут не раздражаться. Их напряженное состояние прорывается в неожиданно вспыхивающих спорах и ссорах. Доктор пытается использовать эти ссоры, вклиниться в них, чтобы утвердить свою независимость и превосходство. Как бы он ни пренебрегал этими людьми, ему хочется быть для них авторитетным. Это у него не выходит, так как разногласия между его соседями никакой реальной основы под собой не имеют.

Рассказ кончается просто. Прошло несколько месяцев. Часть, к которой прикомандирован доктор, отправляется на фронт. Доктор — он этого ждал — выходит из госпиталя и остается в тылу.

На этот раз ему удалось ускользнуть от уголовной ответственности — но не от морального осуждения. Вот он стоит как напоказ во всей своей неприглядности: нарисованный, несомненно, с натуры (встречавшиеся с ним, конечно, его узнают), а вместе с тем — тип, художественное обобщение. Писатель научил читателей, как смотреть на таких людей, как узнавать их в быту (разумеется, не в медицинской экспертизе — это дело науки, а не искусства) и как к ним относиться: с брезгливостью и презрением. Писатель исполнил свой гражданский и писательский долг.

И. Ф. КОЛОДНИКОВ. ОПИСАНИЕ ЗА ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МОЕЙ БОРЬБЫ С ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ С ИЮЛЯ 1941 ГОДА

Хотелось бы, чтобы без пояснений читатель признал и оценил дарование автора этой рукописи, живость тона, красочность сравнений, почувствовал за рассказом личность рассказчика, вдумался в тот характер, который так естественно и непринужденно раскрывается в эпизодах повествования.

Изложение ведется сперва в порядке последовательности событий (мобилизация, обучение, первые бои), потом — вразбивку: что лучше запомнилось.

«Если все описывать, то для этого требуется время не военных условий, затем потребуется немало бумаги, а я по одному листку собираю, где как придется: где найду, где попрошу листок, у комиссара выпрошу листок-два». Тетрадь шита из листов разного формата.

Когда автор говорит о своих успехах в воинской учебе или когда он общается нам: «Драться с танками — это лучшая моя забава, и люблю я ее», — может показаться, что он не прочь слегка прихвастнуть. Нет, он изображает себя и в таких положениях, о которых тщеславный и мелкий человек, наверное, умолчал бы. Вот первая встреча с немецкими самолетами. Со всей откровенностью и прямоотой т. Колодников рассказывает о своей неопытности и наивности, о своем испуге. Автору нечего скрывать: это преодолено, это осталось позади. Так взрослые люди вспоминают какое-нибудь недоразумение из своих далеких ребяческих лет.

«Возле нашей огневой было проложено саше... Самолет сделал залет и начал пикировать. Я по нему начал вести огонь из винтовки. И когда он пустил десятка полтора маленьких бомб, мне показалось, что я его

подбил и из него полетели щепки, а что он пикировал, то я думал, что он падает.

Я был удивлен и даже кричал «ура». Но когда бомбы начали рваться на земле, то на меня нашла страшная ужась. Последняя очередь бомб, мне казалось, летит прямо на меня. Я бросил винтовку и начал толкать в землю голову. Когда кончилась эта страсть, я долго не вынал головы, ибо боялся, как бы еще не начали рваться. Поднявшись, я увидел метрах в 15 от себя тучу черного дыма. После этого я долго боялся самолетов, пока не испытал всего на своей шкуре».

С тех пор т. Колодников воевал много и хорошо.

«Огонь мы вели почти беспрерывно. За сутки я из своего орудия выпустил 613 снарядов. Утром 9 числа военком К. нам докладывает: «Комбат с НП передал, что уничтожены несколько огневых точек противника, одна минбатарей и подбит один танк, который выпадает на долю 1-го орудия. Прямым попаданием снаряда разбили немецкую машину, которая везла пехоту человек до 30. Это работа также т. Колодникова». Мое орудие было основное — поэтому комбату была возможность различать мои попадания.

Меня это не успокаивало. Все эти попадания мне были невидны, а комиссар, думаю, для большего поднятия духа бойцов может и больше, чем было, сказать. Но все же думалось: ведь больше полтысячи выпустил, ведь не все в воздух».

Он хотел бы увидеть все это своими глазами. Он склонен скорее к недоверию, когда ему кажется, что его заслуги преувеличены. Но ложной скромности у него нет.

И с танками автор сражался храбро.

«Командир полка — майор С. дает приказ: «Орудие снять и выкатить в город для отражения танков». Но, думаю, теперь-то уж и сам увижу свою работу».

По улице мы неслись галопом. У моста я увидел, как один лейтенант выстрелил в одного высокого мужчину, который оказался предателем, хотел взорвать мост.

Выехали мы на улицу, нам скомандовали: «Орудие с передков снять и выкатить его в переулок, откуда нужно вести огонь по танкам». Следив это, комзвод А. дает мне цель: «Вон под кустиком стоит танк, видишь?» Нет, не вижу. Он становится за панораму сам и делает выстрел; снаряд летит очень далеко, но по выстрелу взял направление и увидел танк. А больше стрелять не стал, так как орудие стояло на граверно-цементной дороге, ровик для сошника не был выкопан, и поэтому орудие после каждого выстрела бегало назад и вперед, как собачка по цепи, а когда он выстрелил, оно и откатилось и стукнуло его по ногам, поэтому он стрелять больше не мог¹. Когда я увидел танк, то я бы его зубами загрыз. Думаю: как же я его сразу не мог видеть, а то вот младший лейтенант теперь его сшибет, а мне и не достанется опять стрелять. Даже обиделся на это, но когда младший лейтенант отошел от панорамы, то я был рад и прыгнул без ума скорей к панораме. Даю первый выстрел, снаряд у меня ложится ближе танка на несколько метров. Даю второй выстрел, вторым попадаю прямо в башню танка. Командир орудия дает другую цель».

¹ Потом самого т. Колодникова двинуло в глаз монокуляр панорамы. Разумеется, при любом откате орудия можно и должно обходиться без таких происшествий. В первой части «Описания» читатель неоднократно встречается с такими (и более серьезными) неполадками. В дальнейшем они сходят на нет. Автор вряд ли ставил перед собой задачу показать, как растет и обогащается опыт бойца и командира, но этот процесс хорошо прослеживается в его рукописи.

Но тут т. Колодников ранен осколком снаряда в ногу и временно выбывает из строя.

Автор «Описания» может удовлетворить любопытство тех критиков, которые требуют от писателя: расскажите, о чем думают действующие лица во время боя. Тов. Колодников критических статей не читал, но у него есть простой и убедительный ответ: «Когда я стрелял по танкам, я не думал ни о чем, а только и думал: «Ну, сейчас же я его стукну».

Автор, раненый, потерял свою часть. «Перебираясь, дошел до той улицы, в которой мы сняли оружие с передков. Увидел я тут страшную кровопролитную бойню: в улице сбились и конные и пешие, так что пройти нет возможности. Вижу, как снарядом оторвало голову одной лошади. Здесь же вижу: кто с окровавленной рукой, мордой, кто валяется, через него ездят, кони бегают...»

«Я когда уезжал из дому, то говорил жене, что «если попаду в плен, то живым меня не жди, не они меня, так я сам себя уничтожу». Поэтому я, не жалея сил и крови, которая текла непрерывно, стал выбираться из окружения. Поэтому я впрямь в себя такую силу, что даже переборол боль ноги.

Еще было мне трудно соображать, потому что боль в голове все больше и больше возрастала.

Беру в руку палку, опираясь на нее, я покандыхал из города, думаю: куда-нибудь выйду. К моему счастью, мне попала лошаденка, которая и спасла мою жизнь от плена — в жизнь мне не выйти было бы из города.

Лошаденка смиренная, спокойная, к тому же шустренькая. Я помянул ее к себе, она остановилась. Я подкандыхал к ней, уцепился за повод, подвел к загороди и вкарабкался на нее. Боль ноги я снова почувствовал. Как на грех, проклятая, сидит на таком месте, которым акурат приходится касаться о бок лошади. Но с радости, что я достал себе лошадь, я боль переморшил».

По дороге он снова попадает под обстрел. «Наконец доезжаю до одной деревушки, где вижу большую массу военных людей. Тут у меня немножко и сердечко облегчилось. Стонло только выбросить из головы те мысли, которыми я и подымал в себе дух и бодрость... с которыми пришлось выйти из окружения, как сразу почувствовал боль в голове, ноге и сильную усталость. Мне хотелось сильно есть, уже доходили сутки, а я еще не кушал. С собой у меня ни крошки, ни грамма, ничего не было».

Переходя к следующему эпизоду, отмечу любопытную подробность. У автора, как он говорит, «не было привычки стонать»; чтобы обратить на себя внимание, он стонет нарочно; об этой своей уловке он рассказывает с явным удовольствием. Две раны т. Колодникова давали ему беспорное право и на особую заботу гостеприимной хозяйки, и на перевязку. Но ему не хочется думать, что он получил все это по праву: ему приятнее чувствовать себя ловким человеком.

«Подъехал к одному сараю, вижу — в нем сено, я пластом сваливаюсь с верха лошади на это сено (иначе мне слезть не было возможно). Пускаю лошадь, а сам начинаю тренировку ноги, для того чтобы добраться до хаты. Сначала отодрал штаны, а потом постепенно стал раскачивать ногу. Раздобыл палочку и похромал в избу... Здесь чуть ли не битком было народу. Я с трудом вошел в двери и возле порога, на скамеечке, устроился... Вечером хозяйка наварила чишеной картошки. Принесла грибов и все это поставила на стол. Увидел я эту пищу, у меня язык заходил, думаю, покушал бы такую теперь пищу. Но к столу мне пробираться и думать не стоит. Мало двух — третью прилепят рану. Ну я и сижу да слюнки глотаю. Думаю, как же себе-то, хоть штучки две да грибок бы... Вот идет хозяйка к двери, собралась идти на улицу. Поравнялась со мной, я взял да разочка два или три охнул. Стон у меня по-

лучился удачный, как у малого дитя, хотя и стонать я при любой болезни не имел привычки и даже не умел, а тут вышло ловко. Услышав мой стон, хозяйка увидела меня. Подходит ко мне и спрашивает: «Ты болен, сыночек?» — «Ранен я, мамаша». — «Ох, горе какое! и сильно, наверно?» — «В двух местах». — «Я тогда вам сейчас сюда покушать принесу». У меня еще сильнее язык заходил. Гляжу, несет мне чугунок картофеля, блюдо грибов и кусочек хлеба. Вот, думаю, теперь-то я «вылечусь». С жадностью я чуть не все подчистил. Думаю, добрая хозяйка попалась, возвратилась с улицы да еще мне молочка кружечку принесла. После этого я еще одну «боль» достал: накушался так, что дышать тяжело стало, живот барабаном стал, но с этой болью бороться было легче.

После этого я выбрал под столом местечко и прилег туда отдыхать. Неподалеку от себя я увидел медработника с отличием — два прямоугольника. Как же, думаю, к нему подкатиться, чтобы он сделал перевязку? Большой-то уж больно чин-то он, думаю, будет еще он возиться со мной, перевязку делать. Это если бы какой санинструкторишка, того бы я сейчас растеребил. Но что-то все же надо сделать. Возможно, у него есть йод, а бинт — у меня есть индпакет, я сам перевязку сделаю. Но как его будить, неудобно. Тогда я делаю тот же прием, который мне достал ужин. Только это я застонал, а этот врач, наверно, уж не первый раз прислушивался к стонам, сразу вскочил и смотрит. Я тогда ему: «Простите, товарищ врач, наверно, я вас потревожил — терпения нет больше». Он ко мне: «Что вы, ранены?» — «Да». — «Где?» — «В ногу, вот сюда в мягкость». — «А ну?» Я с большой радостью стал ему показывать, чтобы он мне ее подлечил малость.

Разув сапог, я вместе с портянкой вынул блин запекшейся крови.

Брюки и кальсоны я снял со слезами, а не то, что со стоном. Тут бы и не нужно его, но он выскакивает механически. Вот, думаю, и теперь век стонать при малой болячке буду.

Врач меня ругал за то, что я об этом не сказал раньше: «Ты, говорит, мог бы погубить себя этим, заразил бы кровь, и ноги твоей не было бы, или даже могла бы через эту рану вся кровь заразиться, и тебе бы смерть».

«Где же, думаю, об этом думать? Все мысли были сосредоточены: как бы выбраться из плена».

Хозяйка и тут мне оказала большую услугу: она принесла теплой воды, обмыла мне всю кровь ниже раны, вымыла сапог, обмыла брюки и дала чистые кальсоны. Врач за это время мне промыл рану раствором, смазал ее и забинтовал. Тут я получил полную «больницу» и, не сходя с места, привалившись к ножке стола, заснул. Проснулся уже тогда, когда рядом лежавший задел мне ногу пинком. Уже светало. Боли я ни в голове, ни в ноге не чувствовал, как будто излечился после вчерашней перевязки. Вот, думаю, никогда бы санинструктору не сделать бы. Не чувствовал я тогда, когда был недвижим. но как только зашевелился, сразу почувал боль: и в голове и в ноге. Но все же не ту, которая была вчера. Я встал и после двух-трех шагов стал наступать на ногу гораздо легче. Вышел во двор, отправился в сарай, где находилась моя спасительница. Захожу — она спит еще. Я ее разбудил и повел поить. Колодец был прямо у сарая. В одной кадочке ведер на 12 было полно воды. Увидев это, она у меня вырвала из рук повод и быстро подскочила к этой кадке, и пока я подкандыхал к ней, уже осталось ведра 3, не больше. Я ей больше не дал. И так сама как бочка стала, едва дышит, как я со вчерашнего ужина, она тоже другие сутки была не поена. Напоил ее и отправился в поход...

Проехал я километров 18. На дороге, смотрю, стоит пушка, расчет. я спрашиваю: «Какого полка?» Оказывается, наехал на своих, они того

же полка, какого и я. «А что вы стоите?» — «А вот видел это?» В орудие у них запряжено три лошади. Это только половина того, что нужно. «А далеко вы отстали от своих?» — «Сегодня ночь вместе были». Что ж, думаю, отдать им свою спасительницу? Меня спасла, ей спасибо, а теперь пусть орудие спасает. А я теперь от немца далеко, поди не бросят, кто-нибудь подберет».

Опять боевые эпизоды. Еще одна встреча с танками.

«Только тогда, когда немцы были в 400—500 метров от нас, я повел огонь. Немцы впереди пустили до 5 танков, а за ними двигалась пехота человек до 150. Они двигались вдоль фронта, и дорога, по которой двигались танки, была в падине, танк виден был только башней. Поэтому стрелять по нем было очень трудно. На своем секторе обстрела я видел только один танк, других я не замечал сразу, но после заметил другой. Я обрушился на ведущий танк. Стрелять мне по нем было очень трудно: одно то, что он шел ложбиной, второе то, что когда дам выстрел и снаряд рвется перед танком, подымает столб дыма, пыли, и танк становится невидным. И его снаряд падает впереди в 5—10 метров, тоже закрывает, ничего не видеть. И вот, как подымет пыль снарядом, так просто взял бы да своим дыханием раздул его. Много пришлось потратить нервов в этом. Но все же я вел огонь. Как только чуть-чуть просветит, так быстро пускаю снаряд. Выпустил 3—4 снаряда по танку и безрезультатно: то недолет, то перелет, а в центр никак, что хошь делай.

Вижу, что и танк мне вреда не делает. Я огонь переносу в зад танка, где, согнувшись, бежали, как собачата, немцы за танком. По этой цели мне понравилось стрелять, и заинтересовало, было интересно и то, что стреляю и наблюдаю. Снаряд падает в кучу немцев, и когда он рвется, видно, как летят руки, ноги и куски мяса. Я вел по ним огонь до тех пор, пока меня не потревожил опять танк. Его снаряд разорвался сбоку моего орудия и этим самым вывел весь расчет соседнего орудия. Но танка я не замечал. Тот, по которому я вел огонь, уже ушел далеко в укрытие.

Откуда же прилетел снаряд? Тогда мне замковый Заутицын говорит: «Вон под куст сейчас зашел танк», но кустов было очень много, так что указанный разобрать было очень трудно. Я даю по одному кусту выстрел — не туда, еще один — тоже не по этому. Заутицын чуть ли не рвет на себе горло, даже слезы на глазах показались: «Да вон, вон, вон тот, тот вон, товарищ ефрейтор». Что ты будешь делать? Хотя в пору отдавай ему, пусть стреляет. Пули визжат, как пчелы, откуда-то танк ведет огонь — снаряды рвутся перед носом. Не обращаю на все это внимания, выхожу из-за щита на открытое место и стал рассматривать. Снарядом чуть не сорвало мне шапку, и я увидел, из одного куста блеснул огонек. Я тотчас подбежал к панораме и с великим злом рванул за шнур. Снаряд угодил точно в куст, я еще один, да еще и со злости четыре пустил туда. И как водой смыло».

О своей стрельбе по немцам т. Колодников рассказывает просто. Он посмотрелся на то, что творят оккупанты, и знает, что другого отношения они не заслуживают. Он увлечен борьбой, его это «интересует», как он выражается. Но здесь нет никакого — как бы это лучше определить — сладострастия, что ли. Он сохраняет всю свою душевную ясность.

Дальше следует рассказ о наступлении и о том, что автор видел в освобожденных районах.

«Коротенько обрисую картину того, как мы гнали немецких вояк из города Калинина и Старицы. Мы бежали за ним, а он от нас, и бежали так, что суток четверо не приходилось отдохнуть, и все бежали. Что же мы видели по дорогам и в городах, когда за ним гнали? Доезжаем до деревушки (а когда еще не ехали, видно было, что деревушка стояла

целая). Она уже пылает всюду. Народ, оставшийся здесь, нас встречает и начитывает: «Милые вы наши спасители, мы же вас ждали, как бога, вон враг что сделал, только что сейчас убежал». Некоторые деревушки не успевали даже и поджигать. Но тем он тоже «мстил». Оставалась кучка немцев на мотоциклах или велосипедах, брали дубинку, как это одна баба другой мстила за то, что к той муж ее ходил, и давай окна хлестать: все повыхлещет, а потом деру. Скот с собой некогда было вести, так они поджигали пригоны, а с ними и скот горел, а который был на воле, они пристреливали. Людей в некоторых селах ни единой души не было: от старого до малого уводил с собой, кто не мог идти, того пристреливали. Уводили они для той цели: сами бегут, а гражданами прикрываются. Но мы тоже не лыком шиты: до населения прицел 50, а до немца 55, так мы и ставим прицел 55 и дуем, и снаряды-то ложатся в акурат по немцам. Или наши истребительные отряды забегают сбоку и давай строчить по беглецам, тут-то и граждане наши отрезаются, да и назад. Они видят, что ихний «щит» вернулся, так не по нас, а по своей защите и начнут палить. Своих раненых им уводить некогда было, они их пристреливали. В конце одной деревушки стояла санитарная машина, подбитая, и возле нее лежало 13 немцев, все убитые. Стояли у дороги за селом два тяжелых орудия, и возле орудий лежало 11 убитых немцев.

По всем дорогам, где двигалась наша часть, было множество разбитых и просто так брошенных танков и автомашин немецких. Что же мы видели в них: много картинок-фотоснимок голых женщин (этим немцы, наверно, свою душу тешат, и скажи ж ты — целыми пачками этой «потехи» находилось в машинах), награбленное крестьянское добро: старушки юбки, кофты, самовары, часы, полушубки, валенки и прочее. Под гор. Старица стояла одна машина с такой клажей. Немцы, наверно, успели не все с собой забрать, что получше взяли, а остальное бросили. Здесь я нашел кожи — пар на 5 подметок, хотел использовать ее на свои сапоги, в акурат были порваны, но мысли пали в голову: ведь это добро нашего советского крестьянина, который, может, несколько лет берег ее для черного дня. И заехали в город, идет женщина: платье у нее истрепано, грязное, волос не убран, растрепана, голова седая, тонкая, худая (хотя ей было всего-навсего 33 г.). Думаю, дай отдам этой «старухе», она тоже небось ограблена немцами. Отдаю ей эту кожу, она меня благодарит и говорит: «Ох, родимый ты мой, чем же я тебе отплачу за нее». Я говорю: «Ничего не надо, мамаша, это добро ваше, немцы бросили». Дальше — больше, завожу с ней разговоры. Она меня приглашает пойти покушать к ней. Мне не так хотелось ее угощения, как хотелось посмотреть ее помещение. Наша колонна в акурат остановилась дожидаться хвоста, который далеко отстал. Подходим к ее дому — дом хороший, красивый, садочек. Вошли во двор, она мне как все равно следовательно все расписывает: «Вот наш был амбар, где мы ссыпали хлебца, но сейчас в нем одни мыши остались, а хлебца немцы метлом вымести, скажи же ты, метлом, родимый, выметали звери, вот этот свиный клейшок, где мы со Степой посадили было боровка кормить, но немцы его сожрали, а нас в этот клейшок загнали, и я вот вплоть до вас, родимый, жила с детками. Степу моего убило, он был машинистом на паровозе, и его бомбой убило». Дальше она мне показала курятник, пригон, где корова и 4 овцы находились, ледничок, где стояла бочка с заколотой и засоленной телкой: «Все это забрали немцы». Оставили только пудовки 3 льняного семя, чем и питалась эта женщина со своими детишками. Вошли в комнату, сидят две девочки и мальчик, ростом от 4 до 11 лет. Сидят они, и на них смотреть даже жалостно. Я не мог долго пребывать здесь, так как я слаб сердцем.

Хозяйка рассказывает мне о том, как грабили и издевались над ними немцы, а сама плачет, и у меня тоже на глазах слезы и на сердце камень.

Хозяйка стала меня угощать пышками из льняного семя, но я их отдал девочкам... Я мог бы рассказать много и много про эту семью, но надеюсь, что ее родина не забудет никогда и сделает эту семью такой же, какой она была раньше, до войны.

Дальше я хочу написать еще один рассказ про одного воробья. Двигались мы на марше, и возле одной деревушки я увидел лежащего воробья; дело это было зимой, дул сильный ветер с поземкой, и этот воробей лежал обок дороги. Я подошел к нему, а у него полон рот снегу, сам весь во льду, глаза затекли сосульками. Я его поднял и подумал: «Бедная птица, погибла от холода». Но когда стал его рассматривать, то он еще чуть дышал и сердце его трепещется. Я его сунул за пазуху, и когда заехал в деревушку, то забежал в крайний дом. Навстречу мне попала старуха. Я ей говорю: «Бабушка, возьмите вот птичку, спасите ее от смерти, оттайте ее и накормите». Она взяла этого воробья и крепко заплакала. Я было пошел, но, услышав ее рыдание, повернулся и увидел ее плач. Я спрашиваю: «Что же ты, бабушка? или сильно жалко тебе эту птицу? Она будет жива, ты поухаживай за ней». — «Милые мои деточки, какое у вас сердечко, даже какой-то птичке и то жизнь спасаете, а вот те-то звери, они нас морозили так, как эта птичка, выгоняли на улицу босых, голых и гоняли вон в ту деревню. Хлеб-то весь забрали до крошки, даже воробью теперь клюнуть нечего». Она говорила так же, как и та женщина».

Не хотел бы, чтобы эпизод с воробьем показался читателю сентиментальным. Сентиментальность несвойственна т. Колодникову: заметьте, как превосходно, с какой-то суровой сердечностью, чуть грубоватыми чертами описан сам воробей. Все так на самом деле и было.

Но первый эпизод значительней: рассказ женщины, ее дети, переживания автора, его обращение к родине — эти страницы нужно отнести к лучшему из того, что было у нас написано на эту тему.

И снова бои.

Рассказывая о гибели человека в бою, т. Колодников не обходит молчанием страшных подробностей, но уделяет им не больше двух строк. Он сжато и стоически сообщает:

«Здесь погиб наш командир дивизиона лейтенант М. Его смерть была очень легка, но уж страшна: вражеский снаряд угодил прямо в него и его разорвало на маленькие кусочки; кустарник в квадрате 50 метров был весь обвешан кусочками тела».

Легка — потому, что была мгновенной: не мучился человек.

Когда перед ним несчастье женщины и ребенка, автор «слаб сердцем». Здесь он этой слабости не проявляет.

Он видел множество раненых. И здесь в его восприятии — норма и мера.

«На одной повозке лежал один раненый, у которого вся задница была вырвана, он сильно страдал, он и меня убедил в том, что с моей раной еще можно жить и вполне можно выбраться из окружения».

Конечно, раненый не разговаривал с ним: т. Колодников неточно выразился; следовало бы сказать: «Глядя на него, я убедился...»

Он понимает и жалеет, но для него важен и этот мужественный вывод: «Можно жить и вполне можно выбраться из окружения».

Есть люди, которые, видя чью-нибудь муку, стремятся в воображении сами ее пережить — страдают в буквальном смысле этого слова, до одержимости этой мукой, до дрожи, как будто одной этой дрожью можно кому-то помочь.

Ощущения автора естественней и реальной. Ни тени невроза. Но там, где требуется настоящая помощь, за автором дело не станет, он сделает все, что нужно.

«Одного ездового сшибло с вершины, и он лежал недвижим, но был жив еще. Я подбежал к нему: «Малышев! Малышев!» — а он ни слова, лежит, а на глазах слезы. Мне его стало жалко. Я повалил его на спину и потащил. Скажи ж ты, ни одной повозки на пути! С ним я бежал бегом, правда, он был не так-то тяжелый, но когда я с ним пробежал с километр, то у меня из рта пена повалила: вот-вот сам паду, темно в глазах стало. Потом, гляжу, стоит повозка с ранеными. Я к ним, они не берут, я тогда за карабин, но все же заставил взять Малышева (возможно, жив будет, вспомнит и меня)».

А теперь совсем про другое: «Как протекала моя жизнь в части питания за этот период». Тов. Колодников, человек практический и реальный, большое место в своем «Описании» отводит еде. Приведу небольшой отрывок. Речь идет о том, как питались автор и его товарищи, когда выходили из окружения.

«...распознали еще один продукт. Осенью колхозникам не удалось выкопать всю картошку (в связи с войной), она осталась под зиму, и весной, когда снег стаял, мы ее стали пробовать копать, но она почему-то вся разложилась. По первости мы ее обегали, но потом принялись, и стала она за первый продукт. Мы делали так: накопаем ее, вымоем и начнем разминать сырую, и она делается настоящим тестом. После этого печем пышки и кушаем. Вкус был очень хорош. Но вкус этот был «хорош» до тех пор, пока не стали нас кормить нормально, тогда и «вкус» потерял свое значение. Переехали мы в N-скую армию. Здесь уже мы увидели совершенно другое: тут тебе и крупы разные, и хлеб ежедневно поступал, и водочка регулярно — все пошло ладом. И вот только когда мы увидели свет. У всех сразу стало лицо наполняться».

В конце «Описания» — о награде.

«Если кому-либо придется почитать мой памятник, то он будет сомневаться: почему я все же до сих пор не награжден правительственной наградой. Да, я и сам чувствую, что я все же достоин этого, но счастье мое такое. Был я дважды представлен к награде, но пока все попусту. Возобновлять же было некому потому, что командование менялось. Но думаю, что в следующих боях я обновлю свои прошлые достижения и буду учтен командованием».

В заключение т. Колодников просит издательство «просмотреть и проработать его дневник».

«После чего прошу отпечатать прашуркой и выслать мне. Он будет для меня (а возможно, и детям моим) великой памятью».

КАПИТАН И. Т. КУНИЦЫН

Рукопись не имеет заглавия. Это записи дневникового типа, хотя и не дневник в собственном смысле этого слова. Автор — летчик, один из участников обороны Севастополя, был ранен, эвакуирован на эсминце, снова вернулся в осажденный город и оставался там до последних дней обороны.

Если сравнивать записи капитана Куницына с тем, что рассказали А. Платонов и Л. Соболев, здесь, на первый взгляд, больше «будничного» и «рядового». Это впечатление усугубляется тем, что о вылетах, например на штурмовку, т. Куницын иногда пишет так, как московский служащий написал бы о своем обычном рабочем дне. Но мы знаем, чем было в Севастополе «будничное» и «рядовое».

Разумеется, у т. Куницына есть и другие интонации — там, где он говорит о своем полете над разрушенным городом, о раненых бойцах, об N-ском авиаполке, о своем расставании с Севастополем. В этом рас-

сказе — большая сила, хотя речь автора остается спокойной и неторопливой и голос его не повышается. Трудно передать впечатление, которое оставляет этот рассказ; передавать его нужно без жестов, без громких слов, как обходится без них сам капитан Куницын. Это уверенная в себе, спокойная сила людей, о которых он говорит.

Он рассказывает, между прочим, и о том, как, находясь на излечении, он встретился с друзьями и после этого оказался на гауптвахте; и о другой товарищеской встрече, которой помешала разорвавшаяся поблизости бомба. У автора нет литературных претензий, но есть житейская, человеческая талантливость (многие удивляются, находя ее у «обыкновенных людей», а тут-то и нужно ее искать). У него есть юмор, наблюдательность, верная, нешаблонная мысль, серьезное, искреннее, глубокое чувство.

В записях т. Куницына значительны (конечно, не в одинаковой степени) и бытовые черты, и эпизоды воздушного боя, и наблюдения автора, и его (как он выражается) философские заключения.

«Требуется всем поровну разделить по 100 грамм. Наступил момент, когда все подняли стаканы и стали чокаяться, выражая различные пожелания друг другу. Я оказался всех нетерпеливее и постарался поскорее разделаться со своей порцией. К этой поспешности у меня имелась основательная причина. Перед самым этим ужином я получил первое за время войны письмо от родных, из которого узнал, что все они живы и здоровы. Собираясь закусить, я выбрал хороший кусок жареной кефали и только поднес его на вилке к самому рту, как вдруг какая-то физически незнакомая сила давления воздуха точно прессом сжала меня со всех сторон. И в тот же момент под влиянием этой силы я очутился под столом и почувствовал боль в боку. Мелькнула догадка: немец сбросил бомбу по нашему домику, но промахнулся. Странно, я нашел себя успокоить тем, что все-таки мои 100 грамм не пропали даром. Слышу, комэск майор К. спрашивает: «Живы все?» В ответ со всех концов слышались отклики, смех, шутивная ругань и сожаление об испорченном ужине, который теперь валялся на полу, смешанный с кучей осыпавшейся штукатурки и стеклами из выбитых окон. Мы, отыскав в потемках свои регланы и шлемы, по одному стали выбираться из разрушенной столовой».

«Нужно было ехать на аэродром. Вместе со мной в кузове поехала официантка доставить из столовой обед для летного состава. По просьбе этой официантки я согласился поддерживать термос с борщом, который прыгал на ухабах, обдавая меня жирными брызгами. С этими неудобствами я бы охотно мирился, если бы на нас по дороге не напала пара немецких истребителей ME-109. Правда, только один из них успел дать по нас небольшую пушечно-пулеметную очередь с промазом. В это время в воздухе появились наши «чайки», И-16 и ЯКи. Почти над нашими головами вспыхнул воздушный бой. «Мистера»¹ стаями со всех сторон спешили к месту боя. В воздухе беспрерывно строчили пулеметные очереди, смешиваясь с более сильными звуками пушечной стрельбы. Мы не останавливаемся, чтобы посмотреть картину воздушного боя. За созерцание этого зрелища на открытой дороге можно дорого заплатить. Шофер нашей полуторки, видимо, не раз был обстрелян со своею машиной по дороге немецкими истребителями. Сейчас он развивает предельную скорость, автомашина прыгает по ухабам. Поддерживаемый мною термос с борщом грозит вырваться из рук, опрокинуться и оставить наших летчиков без обеда. Но я его крепко держу и успеваю следить за воздушным боем. Вот один подбитый «мистер» срывается в

¹ «Мессершмитты».

штопор и вместе с летчиками уходит на дно морское. За ним идет на снижение к аэродрому подбитый ЯК. Его напарник, видимо, резковато подтянул на себя ручку управления, стремясь зайти «мистеру» в хвост, тоже срывается в штопор, но летчик у самой земли выводит самолет из штопора и резко уходит горкой вверх, атакуя по пути один из самолетов противника. «Мистера», несмотря на свое большое численное превосходство, предпочитают один по одному уйти на высоту, чтобы использовать свою излюбленную тактику подкарауливания. Бой постепенно прекращается. Наши самолеты садятся на аэродром, а мы к этому времени благополучно подъезжаем к своему командному пункту».

Это внимание к быту понятно, и оно не искажает перспективы — не мельчит авторского восприятия. То положение, в котором мы застаем здесь капитана Куницына, характерно. Термос с борщом не помешал ему рассмотреть и описать все то, что произошло в воздухе. А придерживать этот борщ нужно: нельзя же оставлять людей без обеда. В другом эпизоде мы увидим, что и буфетная, бытовая забота требует героизма.

Быть может, именно это «земное», житейское начало, этот практический смысл охраняют автора от ложной приподнятости, придают его словам особую вескость и убедительность, когда он переходит к другим моментам своего повествования, ответственным и напряженным.

С лучшими, самыми сильными из этих страниц читатель познакомится ниже. Пока приведем эпизод из того воздушного боя, в котором автор был ранен. О спуске на парашюте рассказывали многие, но от этого рассказ капитана Куницына, выразительный и деловой, ничуть не теряет своего интереса.

«Мистер» после неудачной атаки решил еще попытать счастья. Прячась в редких облаках, он догнал меня у Бельбека на траверзе линии фронта и попытался снова атаковать. Но снова, как и в первой атаке, расчет противника на внезапность не оправдался. Я заметил его своевременно и постарался навязать невыгодный для «мистера» правый вираж. На этот раз противник действовал настойчиво; вопреки обычному приему вести бои на вертикалях он принял маневр на вираж. Мы уже сделали три виража, пока наконец определилось, что мой МИГ на правом вираже окажется у «мистера» в хвосте. Противник заметил это мое преимущество. В это время я увидел несколько разрывов зенитных снарядов. Фашист резко со снижением ушел в сторону Качи, а я только успел вывести самолет из виража и тут же ощутил резкий удар по самолету. Левая нога соскочила с педали, словно кто всадил мне ниже колена десяток иголок. Мотор внезапно остановился. Самолет резко накренился влево, явно стремясь перевернуться. Я инстинктивно, еще не отдавая себе отчета, что произошло с моим МИГом, энергично удержал его ручкой управления в горизонтальной плоскости. Почти в это же время показалось пламя, которое я ощутил горящим дыханием на своем лице. И только здесь я понял, что в мой самолет прямым попаданием угодил зенитный снаряд. Раздумывать долго не имею времени. Пламя горящего самолета быстро увеличивается. Скоро должен последовать взрыв бака. Пока не поздно, немедленно нужно покинуть самолет. Но каким способом? Если просто вывалиться через кабину? Невозможно. Самолет почти неуправляем. Достаточно ручку отпустить, он немедленно перевернется и не позволит отделиться от кабины или накроет в воздухе при раскрытии парашюта. Но решение уже принято — отделиться от самолета методом выброса через мотор. Отстегиваю привязанные ремни и ловлю себя на том, что у меня дрожат руки. Спокойно! Не волноваться! Почти во весь голос отдаю сам себе приказание. Подбираю ноги под себя и резко толкаю ручку управления до приборной до-

ски. Получилось хорошо. Я нигде не закрепился и уже ощущаю свободное падение. Теперь необходимо ориентироваться. В глазах мелькают попеременно то море, то небо. Значит, я вращаюсь в воздухе колесом. В таком положении парашют открывать нельзя, он может запутаться, свиться веревкой, и тогда исключены все шансы на спасение. Вытягиваю ноги и руки к бокам. Результат отличный. Вращение прекратилось, я лечу вниз головой и вижу под собой море. Это самое выгодное положение для раскрытия парашюта. Дергаю кольцо и ощущаю приятный рывок — парашют раскрылся. В этот момент я увидел, как в стороне от меня мелькнул и скрылся в воду мой самолет, оставив за собой полосу черного дыма. «Ну, теперь очередь за мною принимать холодную ванну», — подумал я и здесь же заботливо стал надувать воздухом через рот свой спасательный пояс. Раскачиваясь на парашюте, я увидел в той стороне, где оставил горящий «юнкерс», два белых купола, опустившихся на море. «Отлично, — подумал я, — значит, противник не ушел и мои атаки не пропали даром».

Однако пора приготовиться к купанью. Нужно снять парашют, отстегиваю ремни и только успеваю снять лямки с левого плеча, как с головой погружаюсь в холодную воду. Вынырнув, я почувствовал себя легко на воде и увидел, что часть парашюта натянулась парусом от ветра и быстро тянет меня по воде в сторону Севастополя. Однако вскоре парашют изменил свою роль спасающего средства. Постепенно намокнув, он весь опустился в воду, и мне стало заметно, как он тянет меня на дно. Я хотел отделаться от него, но многочисленные стропы так запутались вокруг спасательного пояса и кобуры пистолета, что все мои попытки привели к еще худшему результату. Мои ноги оказались также спутанными. Причем раненая левая нога начала основательно напоминать о себе жгучей болью. Однако, плавая таким образом в море, вдали от берега, я был твердо уверен в том, что в Севастополе видели, как я спустился на парашюте, и помощь мне будет оказана обязательно. Действительно, вскоре я увидел катер, который шел по направлению ко мне. Вскоре этот катер был уже близко, но меня стали покидать силы. Намокший парашют все с большим весом тащил меня ко дну. Я уже два погружался с головой в воду. Глаза застилало туманом, но вот я уцепился за конец брошенный мне с подошедшего катера. Еще минута, и я был в безопасности».

Автор возвращается в Севастополь. Город с самолета:

«Снижаюсь до пятидесяти метров и не хочу верить тому, что я вижу своими глазами. Где же город? Где эти не раз виденные мною с воздуха улицы: Ленина, Фрунзе, Карла Маркса? Здесь не было вулканического извержения, землетрясения, не проносился титанической силы ураган — словом, не было ни одного случайного природного явления, которое бы можно было обвинить в разрушении целого города. Но города не было. Вместо красивых белых домов под крыльями моего самолета лежали груды развалин. Я не видел целым ни одного дома. Какое другое чувство, кроме крайней злобы, могла породить во мне картина чудовищного разрушения Севастополя? Злоба и жажда отомстить немцам за все их злодейские преступления.

«Сегодня во что бы то ни стало положу бомбы точно в цель на заданную высоту», — подумал я, улетаю от Севастополя к месту штурмовки».

Автор осматривает бетонированное укрытие. Комнаты и коридоры заняты ранеными бойцами.

«Их всю ночь группами привозили на автомашинах с передовой с тем, чтобы с наступлением следующей ночи отправить на Большую Землю. Среди этих раненых были люди разных возрастов. Большинство из них неохотно вступали в разговор друг с другом. Какая-то необычная

суровость лежала на их истомленных тяжелыми боями лицах. Вот группа бойцов устроилась прямо на цементированном полу, без всякой подстилки снизу. Они лежали молчаливые и, казалось, равнодушные ко всему. Возле этой группы человек восемь—десять устроились подзакусить консервами с сухарями из своих мешков. Почти у каждого из них я видел раны, наскоро перевязанные бинтами. Я знал по собственному опыту, какую боль приходится переносить этим людям. Но мне не пришлось тогда услышать ни одного стога и ни одной жалобы. Казалось, что какая-то незнакомая в природе физиологическая сопротивляемость организма была присуща этим людям. Наблюдая за ними, я не изменил своей привычки пофилософствовать и на этот раз. «Вот люди,— рассуждал я тогда с собой,— которые даже и не подозревают того, что пройдут века — и память о них за героическую оборону Севастополя будет свежа. Потомки наши будут представлять их великанами. Подобно тому как мы сейчас представляем сказочных богатырей, защищавших землю русскую. Попробуй тогда убеди кого-нибудь в том, что эти герои сейчас были самыми обыкновенными людьми. В грязной, оборванной, в позиционной обстановке, одежде. Обросшие волосами, долго не бритые, с серыми, утомленными лицами, с воспаленными глазами. Какими угодно будут их себе представлять в будущем, только не такими, какими я вижу их сейчас».

Подобные мысли высказывались в литературе, но здесь им придает особый оттенок то, что их высказывает участник событий. Он сам один из этих людей.

Эти и следующие страницы сами говорят за себя, и комментировать их нет надобности. Несколько слов, чтобы связать приводимые отрывки друг с другом.

Разговор этих раненых бойцов. Один из беседующих вспоминает о Кубани.

«Оказалось, что затронутая тема была наиболее живой. В ней приняли участие все. Каждый боец этой группы наперебой старался рассказать другому о своей довоенной жизни. Здесь можно было услышать о всех достоинствах Украины, Кавказа, Урала, Сибири и многих других областей Советского Союза.

Я снова тогда сделал философское заключение, что эти люди в разговоре друг с другом попали в свою колею, где находились их чувства и мысли, связанные с жизнью. Война не была их ремеслом. Они были страстно увлечены новой жизнью в своих колхозах, заводах, отчего родные места им казались еще дороже и милее. А война, в орбиту которой они попали, была для них неожиданным, почти нереальным событием. Однако это обстоятельство ничуть не позволяло подумать, что кто-либо из них стремился избежать всех тех внешних моральных и физических испытаний, которые принесла с собою война. Все они привыкли смотреть без всякого страха смерти в глаза. Когда совсем рядом с ложной батареей упала и взорвалась пятисоткилограммовая бомба, потрясая силой своего взрыва все основание убежища, ни один из них не выказал ни малейшего волнения.

После падения этой бомбы я поспешил вверх с намерением узнать, не ранило ли кого.

Выйдя из бомбоубежища, я увидел группу людей, укладывающих на носилки кого-то. Оказывается, осколком бомбы была тяжело ранена та самая девушка-буфетчица, о которой я уже упоминал в этом очерке. Сейчас она была без сознания. Продукты — сыр, масло, консервы, — которые она несла в столовую, беспорядочно валялись здесь же на земле. С той стороны, где находился умывальник, несли на носилках еще одного раненого. Это был один лейтенант, застигнутый падением бомбы в момент бритья около умывальника. Метрах в восьми — десяти от помс-

шения ложной батареи зияла большая воронка. Кругом была разбросана свежая земля и камни, выброшенные взрывом бомбы».

Эту буфетчицу мы уже видели раньше. «Быт» здесь появляется снова — теперь во всем своем героическом смысле.

И как действует простое перечисление того, что несла эта девушка, о чем она думала, чем старалась помочь, когда ее ранили, быть может смертельно.

«Я вспоминаю армейский N-ский авиапункт. Он прибыл в Севастополь к последним дням обороны. После перенесения ежедневных тяжелых боев землянка, где помещался личный состав полка, скорее напоминала лазарет, чем место сбора людей, способных выполнять боевые задания. Здесь лежали раненые. Почти каждый перевязанный бинтами. Были умирающие от ранений. Кто-то стонал, бредил в жару. Но вот получено задание на боевой вылет. Откуда-то из среды раненых поднимались еще здоровые, но страшно усталые люди, выслушивали содержание задания и шли его выполнять. Пусть читатель простит меня за то, что я не могу в этом очерке раскрыть перед ним живой образ этих людей. Не могу показать деталей морального и психологического состояния подавляющего большинства защитников Севастополя. Про этих людей мало сказать, что они были бесстрашными, способными на героизм и самопожертвование. Такие определения для читателя нашей эпохи покажутся хотя и глубокими по смыслу, но слишком трафаретными.

Если в будущем художник или писатель поставит себе целью воспроизвести художественно правдиво образ воина, защищавшего Севастополь, то пусть он и не подумает искать порождение массового героизма, моральной стойкости и изумительного упорства, проявленных защитниками Севастополя, в отчаянной безнадежности, вытекающей из заблокированного положения. Севастопольцы никогда не признавали себя смертниками, как это было с немцами, заблокированными полгода спустя под Сталинградом. Чтобы доказать это, достаточно вспомнить, что многие отказывались от эвакуации на Большую Землю. В защите Севастополя был какой-то особый, всех объединяющий закон борьбы. Борьбы за право жить под своим кровом, в своей семье, в родном отечестве. Каждый, кто оказывался в те дни в Севастополе, ощущал действие этого закона в полной силе и остроте».

«Среди бесчисленного множества примеров самоотверженности, бесстрашия и героизма почетное место занимает изумительная работа технического состава. За все десять с лишним лет своей работы в авиации я не встречал, чтобы самолеты ремонтировались с такой быстротой и аккуратностью. Слишком много было причин, выводящих самолеты из строя. Взлет и посадка с аэродрома, покрытого воронками, то и дело приводили к поломкам костьюлей, шасси, плоскостей, винтов. Каждый день повторялись случаи повреждения самолетов бомбами и снарядами. Когда, где и как ремонтировались эти самолеты? Об этом могут сказать не многие. Но я знаю одно — что к любому вылету эти самолеты оказывались отремонтированными и подготовленными к выполнению боевого задания. Были случаи, когда уже на самолете заканчивался ремонт, вдруг прилетает снаряд дальнобойки, падает и рвется в десяти метрах от этого самолета. Осколками убивает техника и снова выводит самолет из строя. Моторист, который работал вместе с погибшим техником, случайно остался жив. Он видел смерть своего старшего товарища, под руководством которого работал и от которого учился. Видел, как ему тяжело было расставаться с жизнью, и не ушел подальше от опасного капонира. Он продолжал работать, и к вечеру самолет был в строю».

Автор превосходно передает то высокое моральное напряжение, ту

атмосферу, в которой работали и сражались участники героической обороны.

В этой же связи — замечания о работе авиабаз. Чем дальше в тылу, говорит т. Куницын, тем больше работники авиабазы ссылаются на трудности военного времени. «Им следовало бы поучиться деловому и честному отношению к организации всестороннего обслуживания авиачасти у работников N-ской авиабазы. Работникам N-ской авиабазы в период ее нахождения в Севастополе было бы простительно сослаться на трудности военного времени. Они работали под непрерывными бомбежками, артиллерийским обстрелом, в условиях оторванности от Большой Земли и никогда не жаловались на войну».

Все ли эти труды и подвиги последних севастопольских дней документированы? — спрашивает автор.

«Ветер разнес по мысу у Херсонесского маяка штабную документацию, где была официально учтена боевая деятельность летчиков и техников в последние дни обороны Севастополя. Эту документацию не могли сохранить и отправить на Большую Землю. Много тетрадей учета, различных штабных книг, где были записаны боевые полеты, сожгли.

Я не знаю, занимался ли кто восстановлением этого учета. Но только мне хорошо известно, что подавляющее большинство летчиков и техников, политработников, младших специалистов, прибывших из Севастополя в конце июня и в начале июля 1942 года, не были представлены к тем или иным правительственным наградам. Правда, все они в свое время получают медаль «За оборону Севастополя».

Последние дни.

«В ночь на 30 июня, когда большинство наших летчиков улетели на Большую Землю, никто из оставшихся людей почти не спал. Как было спать, когда рядом с нами всю ночь с высокого обрыва летели и разбивались о камни автомашины. Уничтожались боезапасы и другое имущество. Беспрерывно стреляла N-ская батарея. В воздухе стоял беспрерывный гул. Уходя к морскому горизонту, он возвращался раскатистым эхом. Кругом были видны очаги огня. Сброшенная с обрыва автоцистерна с бензином взорвалась и воспламенилась. Столб огня привлек внимание немецкого бомбардировщика.

Утром 30 июня, позавтракав, я отправился по капонирам с целью отыскать какое-нибудь плавучее средство на случай, если мой самолет останется неотремонтированным. Я рассчитывал в качестве паруса применить парашют и ночью морем перебраться за Балаклаву и уйти к партизанам. Шлюпок, стоявших ранее у Херсонесского маяка, теперь уж не было. Зато у одного капонира лежал большой бензиновый бак. Осмотрев этот бак, я пришел к выводу, что при крайней нужде можно поставить в заливную горловину шест, привязать к верхнему краю шеста стропы парашюта, пристроить руль, сесть на бак, привязавшись к нему концом веревки, и пуститься таким образом в дальнейшее плавание. По берегу, за капонирами было устроено много землянок. Раньше в них помещались различные склады с имуществом и боезапасами. В некоторых жили краснофлотцы разных служб авиации. Я решил заглянуть в эти землянки с целью найти подходящий материал для соответствующего оборудования своего бака. В тот день эти землянки уже были никем не обитаемы. Только большущие крысы стаями разбегались по углам при моем появлении. Среди имущества, уже в большинстве своем приведенного в негодность, я встретил вещи, которые в другой обстановке имели бы в моих глазах большую ценность, теперь они валялись как попало, не вызывая желания даже смотреть на них. Здесь были хорошие брюки, кители, кожаные пальто, шелк распущенных парашютов, музыкальные инструменты вплоть до баяна, но все эти вещи никак не подходили к оборудо-

ванию моего плавучего средства. Больше же никакой ценности тогда они для меня не представляли.

Вечером мой самолет удалось исправить. Где-то нашли новый костыль и поставили его взамен сломанного. В два часа ночи мы должны были вылететь, ведомыми со мной должны были лететь тт. Н. и Б., я их предупредил о том, что мотор у меня ненадежный, в случае вынужденной посадки в море летите одни по курсу и считайте, что «моя песенка спета». Без 15 минут в 2 часа звоню оперативному доложить о готовности к вылету, но связи с КП уже не существует. Мы отправляемся к самолетам, запускаем моторы и по одному взлетаем с аэродрома под звук рвущихся снарядов «тресорки». Уже на первом развороте мне пришлось применить скольжение, чтобы уйти от пулеметной трассы, направленной по мне с земли каким-то подобранным немцем. Делаю над аэродромом круг, собираю своих ведомых миганием бортовых огней, и мы ложимся курсом на Большую Землю. В полете до Балаклавы голова невольно поворачивается назад, чтобы еще и еще раз бросить прощальный взгляд на Севастополь и аэродром у Херсонесского маяка, где столько было пережито различных впечатлений, схваток с врагом, опасностей, потерянных друзей, гордых чувств за проявленную стойкость защитников Севастополя. С воздуха кусочек Малой Земли кажется совсем маленьким, но безгранично дорогим сердцу. Мне казалось, что я оставляю родной дом на произвол какой-то страшной стихии, родной дом, где еще остаются мои братья и сестры, подверженные смертельной опасности. И, может быть, поэтому багровые огни пожаров смотрели на меня с земли с каким-то мрачным, торжественно-спокойным укором. Я не мог себя утешить мыслью, что еще вернусь сюда, хотя был твердо уверен в том, что фашистская коричневая чума будет в свое время раздавлена и уничтожена».

5

Гоголь писал о «верном такте русского ума», «умеющего найти законную середину всякой вещи». У каждого из тех четырех авторов, о которых мы здесь говорили, можно найти проявления этого такта.

Пусть та реалистическая трезвость, которой так щедро наделены наши авторы, сопутствует нам в оценке их произведений. Это, конечно, лишь пожелание, а не обещание. Критик не может быть уверенным в том, что он нашел эту законную середину, но искать ее он обязан.

Кому не ясно, что эти авторы многому должны научиться? Но с такой же решительностью и определенностью нужно сказать, что и у них можно и нужно научиться многому.

Настоящий художник входит в свое произведение всем своим существом. Таковы произведения наших авторов. Таковы все живые произведения литературы прошлого и нашей советской литературы. Я намеренно сказал «живые», не сказал «лучшие». Такое произведение может быть написанным и лучше и хуже, более или менее умело, но оно живет, оно существует как литературное произведение. Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» — одна из самых живых книг в нашей литературе, и всегда останется такой, хоть она и далека от вершин литературного мастерства.

Нельзя принижать значение мастерства, и я не намерен проповедовать какую-то снисходительность, но мастерство реализуется лишь там, где есть эта жизненность, где есть что развивать и совершенствовать. А где этого нет, там не спасет уменьье. Книга будет лишь формально числиться в литературе.

Один поэт назвал свой сборник стихов «Здесь я живу». Есть книги, на которых можно было бы написать: «Здесь никто не живет». Автор живет — может быть, хорошо и благородно живет, но не здесь. Он относит-

ся к своему произведению, как к техническому средству, как к инструменту, предназначенному вызывать у читателя те или иные впечатления. Он стоит рядом со своим произведением, как тот человек за кулисами театра, который управляет аппаратурой света и звука, он нажимает кнопки и клавиши, вызывая эффект грозы и лунной ночи. Жить в его произведении так же нельзя, как в этой аппаратуре, как в прожекторе или в фортепьяно.

Читая такие литературные произведения, читатель все время чувствует эту техническую озабоченность писателя и превосходно понимает, о чем хлопочет, чего добивается от него автор.

«Вот здесь я воплотил такое-то начало. Это не просто действующее лицо — это символ. Ты понял? Я считаю тебя недогадливым и неумным. Если не понял, я пальцем покажу.

Сейчас я буду воздействовать на твои чувства. Вот здесь у тебя должны навернуться слезы. А здесь, чтобы тебе не слишком взгрустнулось, я выпущу на тебя эксцентрика-чудака, который тебя позабавит каким-нибудь анекдотом о своей жене, такой же чудачке, как он сам.

Сейчас я буду тебя учить. Вот это лицо и это положение выведены мною только для назидательности. Ты, может быть, лучше меня знаешь то, чему я собираюсь тебя учить, ты сможешь найти в моей книге и фактические ошибки, и неверно изображенную психологию, но все-таки я буду тебя учить».

Бывают произведения, в которых как будто все правильно, все на месте, писатель учит тому, чему нужно учить, и нет никаких отдельных ошибок, но книга не оказывает никакого воспитательного воздействия, потому что правильность эта достигнута не живым вниманием к действительности, а какой-то отвлеченно литературной, химической дозировкой.

Не эти произведения определяют лицо нашей профессиональной литературы, но они существуют — по крайней мере формально: они пишутся и печатаются. Откуда они берутся? Может быть, их авторам не хватает гражданских и человеческих чувств?

Я не думаю этого. Конечно, есть гражданские и человеческие чувства и у таких химических авторов, как у всякого нормального советского гражданина, только у них они не доходят до сферы их профессиональной деятельности, не проникают в нее.

Разница между живыми профессиональными писателями и вот такими химическими, закоснелыми в том, что первые сумели подчинить свою профессию этим гражданским и человеческим чувствам, а вторые не сумели этого сделать.

В оценке произведения один из решающих вопросов: как оно возникло — живым или описанным выше химическим способом?

Результаты обоих этих способов иногда как будто очень сходны друг с другом по внешности, но по существу разница огромная, и ее всегда можно заметить, хотя нет той формулы, в которой ее можно было бы выразить. Если бы такая формула была, то можно было бы живые литературные произведения создавать по формуле, то есть опять-таки искусственным, химическим способом, а этого пока никто не придумал, надо полагать, что и не придумает.

Одна из повестей И. Ф. Шерстнева начинается так. Артиллерийский полк в последнем учебном походе. «Вышли в ночь, погода стояла чудная, тишина такая, что песчаная пыль подымалась столбом вверх от самой земли. Части, идущие вереницей по порядку подразделений, задыхались от пыли, а идти стороной дороги, чтобы избавиться от пыли, было нельзя, по обе стороны дороги тянулись хлеба, пшеница и овсы, а местами рожь, которую уже начали косить, урожай в этом году был сильный, пшеница в пояс вышиной склонилась колосьями полного налива зерна и уже со-

зревала, и повернуть с дороги от пыли в эти нивы никто не осмеливался, жалея сломить хотя бы один колос».

Конечно, это написано по «живому способу».

Этот мотив мы находим у многих авторов — профессионалов и не профессионалов. Иногда получается хорошо; иногда плохо. Плохо, когда автор сказал себе: «Ага! Среди бойцов есть крестьяне. У них должно быть какое-то особое отношение к полю. Покажу-ка я в одной из глав своей повести эту крестьянскую психологию». Хорошо, когда автор всерьез и по-настоящему, изнутри представил себе, что будет чувствовать и как будет поступать крестьянин-боец в такой ситуации.

Вспомните рассказ И. Ф. Колодникова о том, как он испугался. Как подошел бы к тому же мотиву «химический» литератор? «Все авторитеты, в том числе великие полководцы, утверждают, что даже самые храбрые люди не вовсе свободны от страха. Поэтому пусть мой герой сперва испугается, а потом преодолет свой страх». Такое сочинение будет, конечно, восприниматься совсем не так, как рассказ И. Ф. Колодникова.

Воспоминания о детстве и доме. Хорошо, если они проникают в литературу из жизни, если писатель пишет о них с тем глубоким сочувствием, с каким нужно о них писать. Но если для писателя это прием, литературная клавиша, на которую он мимоходом более или менее хладнокровно нажимает, написанное им не будет действовать так, как действует на нас повесть т. Зуева: и г р а т ь на этих чувствах нельзя.

Наши авторы совершенно свободны от литературной химии. Они пишут о том, что для них действительно важно, и стремятся передать это важное другим людям, не думая о литературном эффекте. У наших авторов, как и у тех писателей-профессионалов, которые подчинили себе свою профессию, нужно учиться органичности, подлинности, серьезному отношению к литературе и к жизни.

Есть трудные, тяжелые темы, к которым нужно подходить с особым чувством ответственности. Не всегда к ним так подходят.

Было напечатано стихотворение, из которого я приведу четверостишие:

...Бой был короткий. А потом
Мы пили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.

Автор — фронтовик, но, как видно из этих строк, человек, не похожий на Зуева, Колодникова и Куницына.

Автор как будто говорит читателю: «Посмотрите, как остро я об этом написал».

А эта тема не терпит такого с собой обращения: когда имеешь с ней дело, должны отпадать малейшие помыслы о литературном эффекте.

В частности, как сблизжены, соединены: ледяная водка — вкусовое ощущение — и кровь под ногтями.

Прошу читателя вернуться назад и перечитать то, что пишет о гибели человека в бою Колодников, который, наверное, страшного видел не меньше, чем этот поэт.

У наших авторов нужно учиться уважению к тяжелой теме, мужеству переживания, сдержанности выражения.

6

Определим место фронтовых рукописей в нашей литературной жизни (и предоставим им это место).

Два ориентира в этом определении: профессиональная литература и народное творчество.

Многих авторов-фронтовиков можно расценивать как начинающих писателей, иные из этих начинающих с честью войдут в ряды лучших писателей-профессионалов. Война принесет существенное обновление этих рядов. Уже теперь появляются и радуют нас новые имена.

Но трудно рассматривать И. Ф. Колодникова как начинающего писателя. Не только потому, что его превращение в профессионального литератора мало правдоподобно.

В самом понятии «начинающий писатель» содержится указание на нечто незавершенное, на приближение к какому-то уровню, какому-то образцу. Напротив, И. Ф. Колодников равняется сам по себе.

Чтобы писать по-другому, нужно бы не «поднимать свое литературное мастерство», а самому измениться.

Вот тут-то и нужно вспомнить о народном творчестве.

Я имею в виду непосредственно народное творчество, фольклор. Существуют, как известно, две формы народности в искусстве: непосредственная народность и народность образованного художника.

Многие из фронтовых рукописей нужно рассматривать как проявления непосредственно народного творчества, как результат его эволюции в наших условиях.

Возрают: народное творчество, фольклор — это сказка, былина, историческая песня, баллада; это «протяжная» лирическая песня, это частушка. В этих традиционных формах и будет происходить эволюция фольклора. Былина или сказка на современную тему — вот народное творчество наших дней. И при чем здесь фронтовые рукописи?

Да, разумеется, развитие фольклора осуществляется и в этих традиционных формах.

Это действительно один из путей развития народного творчества в нашей стране, но не единственный путь.

Великие события не могут не вызвать огромного подъема народного творчества. Этот подъем налицо. Но чтобы его увидеть и оценить, нужно видеть все его проявления. Если считать непосредственно народным творчеством лишь традиционно-фольклорные отклики на современность, они количественно не отвечают тому, чего мы вправе ожидать; уже одно это несоответствие должно было бы заставить задуматься: ограничивается ли народное творчество традиционным фольклором? Разумеется, нет.

Станным было бы ожидать, что на фронте будут складываться былины.

Былинные и сказочные отклики на современность возникают обычно в отдалении от изображаемых лиц и событий; фантастические черты и подробности (в тех случаях, когда эта фантастика непосредственная, а не является сознательным применением «закона жанра») восполняют недостаточность реального знакомства с этими лицами и событиями.

Напротив, представьте себе человека, участвовавшего во взятии Зимнего дворца, рабочего или крестьянина, который побывал в Смольном и в Кремле, разговаривал с Лениным, участвовал в гражданской войне; конечно, он постарается возможно точнее запомнить и рассказать все так, как оно было.

В сущности, не требуется особых усилий для того, чтобы признать фольклорный характер некоторых из разобранных здесь произведений. Устные рассказы таких участников давно уже признаны в своих фольклорных правах; эти рассказы записывают и публикуют, их можно найти в фольклорных сборниках и хрестоматиях.

Остается сделать еще один шаг — признать, что фольклор может быть и рукописным.

Записывают рассказ рабочего Д. И. Мельникова о гражданской войне. Тов. Мельников прерывает записывающего и говорит: «Вы не пишите этого, потому что я вам дам целой тетрадью — одним словом, дневником о похождениях на Урале и в Вятской губернии. А я его писал в семнадцатом году и кончил в девятнадцатом».

Вот вам формула перехода: не записывайте, я сам могу написать, уже написал.

Нужно учесть простой, но огромный по своему значению факт: грамотность, именно нашу социалистическую грамотность, смысл которой не только в прикладных задачах, в овладении той или иной специальностью — в нашей стране она служит всестороннему развитию человека, в частности эстетическому.

Изустная традиция считается — лучше будет сказать: считалась — одним из основных признаков фольклора. В классово-антагонистическом обществе она отчасти поддерживается неграмотностью, а с другой стороны выполняет очень важную общественную функцию: выражает, сохраняет, воспроизводит те народные чаяния, проникновенные которых в литературу нежелательно для господствующих классов, те народные ценности, которые проникают в литературу лишь благодаря борьбе таких художников, как Пушкин, Шевченко, Некрасов, Толстой.

Ликвидация неграмотности и устранение всех других перегородок между народом и культурой в нашей стране вносит сюда существеннейшие перемены. Изустная традиция не исчезает, но отходит на задний план; противоречия, с которыми она была когда-то связана, исчезают полностью.

7

Спрашиваем ли мы себя: как определить природу этих рукописей; хотим ли мы выяснить, куда девался фольклор; подходим ли мы к занимающему нас явлению с той или с другой из этих двух сторон — нельзя миновать того вывода, который здесь предлагается.

Выше было сказано: результат эволюции непосредственно народного творчества в наших условиях. Из этой формулировки вовсе не следует, что я собираюсь ставить знак равенства между прежним фольклором и этими рукописями — даже теми из них, которые наиболее близки к прежнему фольклору. Речь идет о развитии, о преемственности, о генетической связи, о том, как теперь проявляют себя те силы, которые когда-то находили свое выражение в традиционном фольклоре.

Обнаруживается множество переходных ступеней — от наиболее «фольклорных» авторов (И. Ф. Колодников, И. Ф. Шерстнев) до таких, которые уже могут войти в профессиональную литературу.

Изменения, конечно, не сводятся к тому, что фольклор, который раньше был устным, теперь становится рукописным.

Изменилась сама непосредственная народность, изменились ее носители.

Непосредственная народность — начало само по себе ограниченное. Мы знаем, что многие очень важные идеи не могут быть выработаны ее собственными усилиями и проникают в народную массу извне, вносятся в нее образованными элементами. Мы знаем, что многие очень важные для народной жизни исторические явления не были в свое время

отражены в непосредственно народном творчестве. Не складывали исторических песен о Ломоносове. Не откликнулся и не мог откликнуться фольклор на гражданскую казнь и каторгу Чернышевского. События 14 декабря 1825 года дошли в народную песню лишь смутным и невразумительным отголоском.

Так бы л о. Но теперь народ знает своих великих людей; это знание будет и расширяться и углубляться. Народу открыты великие идеи нашего времени. Прежней ограниченности приходит конец. Она не вовсе изжита — для этого потребуются еще годы, — но нельзя теперь представлять ее себе такой, какой она была не только сто лет, но даже и двадцать лет тому назад.

Мы совершим большую ошибку, если мы будем недооценивать сознательность т. Колодникова.

Вспомните историю с подметками, которые он отдал ограбленной немцами женщине. Это не какое-то инстинктивное, бессознательное движение. Здесь не только большая сердечность и душевная широта — здесь мысль: «Это добро нашего советского крестьянина», подкрепленная его словами: «Надеюсь, что эту семью родина не забудет и сделает ее такой же, какой она была раньше». Он знает, что родина помнит об этих семьях, что у государства есть обязательства по отношению к гражданам, что оно поможет всем тем, кто нуждается в помощи; он знает, что это его собственное государство. В 1812, 1855, 1904, 1914 годах прадеду, деду, отцу т. Колодникова в голову не могли бы прийти такие мысли. Это сознание воина и гражданина Советской страны.

К сознательной самооценке т. Колодников подходит в одном только случае, где рассуждает о том, достоин ли он награды, но в этой самооценке для него резюмируется многое. Здесь он утверждает свою воинскую ценность, настаивает на том, что свой долг перед страной он выполнил с честью.

Правда, т. Колодников вряд ли задумывался о том, насколько типичны и показательны и он сам, и его «Описание». Он вряд ли думал о том, какие замечательные общественные и национальные свойства воплощаются в его поступках и в его рассказе. Всего себя он не смог бы истолковать своим читателям (как, впрочем, и многие писатели).

Но среди его фронтовых товарищей есть люди, которые могли бы это сделать. Я имею в виду капитана Куницына. Оригинальность его очерка не бросается в глаза. Кажется: хорошо — как обычный хороший газетный очерк.

Нет, это хорошо по-своему. То, что т. Куницын написал о стойкости севастопольцев, об источнике их героизма, мы читаем с каким-то особым и новым чувством, хотя нечто подобное где-то как будто уже читали. В чем эта особенность и новизна? Тов. Куницын пишет не вслед тем определениям и характеристикам, которые он мог бы найти у писателей-профессионалов. Его заключения — результат его самостоятельной работы, усилий его собственной мысли. Это внутренняя необходимость. Он хочет понять и себя, и других защитников Севастополя. Мы видим и его самого, и тех людей, о которых он размышляет. Он говорит за себя и за них. На наших глазах возникает это самопознание — в бетонированном укрытии, на цементном полу, среди раненых, в спокойных размышлениях этого летчика, какими-то своими чертами напоминающего тех русских офицеров, о которых писал Лев Толстой. Философия капитана Куницына вырастает из непосредственной народности, как философия самой этой народной массы, как необходимое проявление ее идейного роста.

Вот почему я считал нужным включить вместе с колодниковским «Описанием» записки капитана Куницына.

Преимственная связь «рукописного фольклора» с прежним устным фольклором наиболее наглядно и убедительно выступает там, где в рукописи мы находим устную интонацию. В таких случаях эта связь совершенно бесспорна, но и это явление мы должны воспринимать в процессе его развития. Не нужно усматривать здесь какой-то обязательный признак непосредственной народности; не нужно думать, что эта интонация будет удерживаться и впредь. В повести т. Зуева мы находим такие фразы: «Разноцветность горошин привлекала внимание мальчика». Это, конечно, не устная интонация.

Остается естественность речи, свобода от штампа. Я говорил уже о том, как трудно дается эта естественность некоторым профессионалам. Иногда они применяют нехитрый рецепт: ставят сказуемое впереди подлежащего: «Сижу я...» «Гляжу я...» «Кинулся он к ней...» «Посмотрела она на него...» Систематическое использование таких оборотов вызывает досаду — грубая, скучная нарочитость. Наши авторы применяют такой оборот только там, где он действительно нужен. Одно из преимуществ нашего языка по сравнению со многими другими (немецким, например, или французским) — отсутствие обязательного порядка слов в предложении: отсюда возможность выделить, подчеркнуть в свободной, разнообразной перестановке то одно, то другое слово, придавая всему построению каждый раз новую выразительность. Прошу перечитать отрывки из рукописей Шерстнева, Колодникова, Зуева и убедиться в том, как превосходно используют наши авторы это преимущество русского языка.

Исследуя язык этих произведений, мы должны помнить все о том же: перед нами — процесс развития.

«Долитературный» язык часто оказывается прекрасным народным языком. Кажется, все читавшие колодниковское «Описание» оценили «б о л ь п е р е м о р щ и л ь» и другие такие же меткие выражения.

Язык прежнего устного народного творчества — беспримесный. Классичность, беспримесность этого языка сама по себе изумительна, но вспомним, каким тяжелым было условие ее сохранения: прежний фольклор был замкнутым в себе, народ был отделен от литературы¹.

Уже в дореволюционной частушке появляются «примеси» — элементы литературного языка. Какой огромный культурный сдвиг произошел после Октябрьской революции — это понятно каждому без всяких пояснений. В наше время требовать, чтобы сохранялся какой-то изолированный от всяких литературных влияний народный язык, было бы попросту реакционным домогательством.

Проникновение литературного языка в народный язык — процесс, охватывающий многие миллионы людей, — не может, конечно, совершаться с идеальной гладкостью.

Одна из возможных опасностей — засорение языка иностранными словами. Против этой опасности предостерегал Ленин: «Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?»

Одинокие самоучки дореволюционных времен настойчиво уснащали свою речь иностранными словами. В первые пореволюционные годы иностранный сор в языке был еще очень заметным. Наши авторы — не

¹ Эту отделенность не нужно, разумеется, представлять себе как нечто абсолютное. Проникновение отдельных литературных мотивов в фольклор описывалось неоднократно.

самоучки и не люди, недавно научившиеся читать. Они принадлежат уже к другой культурной формации. И они обнаруживают хороший вкус: какого-нибудь особого пристрастия к иностранным словам у них нет. (Когда Колодников пишет: «Стон высказывает механически», упрекать его не приходится: слово применено уместно. Хахалев повторяет слово «эгоистично», но тематика автора такова, что он никак не мог бы обойтись без этого слова.)

И у наших авторов не все, разумеется, благополучно. Иногда какой-нибудь обычный литературный оборот, какое-нибудь обычное литературное слово, проникнув в их речь, переиначиваются или переосмысливаются.

В одной из неопубликованных глав «Описания» И. Ф. Колодников пишет о своем командире: «После этого он еще резче возлюбил меня». Слово «резкий» — книжное; оно и в интеллигентском разговоре попадает нечасто (в каком-нибудь приподнятом контексте: « Попрошу вас не говорить со мной таким резким тоном! »), а для разговорного обихода т. Колодникова это слово — как новая вещь в хозяйстве, назначение которой не совсем ясно. Но т. Колодников выразился так не ради шегольства. В соответствии со всем складом своей речи он искал конкретного и энергичного выражения (вместо «больше» или «сильнее»).

Ко многим неправильностям стоит внимательней присмотреться. «Если бы представилась бы такая возможность...» (самому освободить родную деревню). За этим двойным «бы» — большое переживание.

Даже шероховатости достойны внимания и изучения. А положительный смысл всего процесса в целом совершенно бесспорен. Воспроизводя богатство новой, многосторонней и многообразной народной жизни и сближаясь с литературным языком, теперешний народный язык сравнительно с языком прежнего фольклора обогатился так, что трудно измерить это обогащение, — и в то же время сохранил всю свою выразительную силу.

Чтобы лучше понять и оценить выразительные особенности этого языка, будет бесполезным следующее сопоставление.

Один почтенный научный работник-экономист пишет: «Здесь зарыта собака, объясняющая эту демагогию». Такие ошибки не редкость в нашей статейно-брошюрной литературе. Есть литераторы, которые могут написать: «Акулы прибирают к рукам» — и не заметить, какую несуразность они написали. В недавно вышедшей брошюре о Тимирязеве упоминается лекция Тимирязева о Пастере, «согревая свежим чувством утраты».

Для этих литераторов применяемое ими слово — какой-то стершийся, условный и отвлеченный знак. Когда они пишут, они не помнят, что у акулы нет рук, что собака, да еще зарытая, никакой демагогии объяснить не может, что свежесть не согревает: обозначаемый этими словами чувственно-предметный мир для них просто-напросто не существует. Они слышали о том, что речь должна быть образной, но они не могут понять, что необходимая предпосылка образной речи — живое отношение к реальному, предметному миру. И нельзя извинять их тем, что здесь будто бы сказываются какие-то специфические свойства научного мышления. Это неправда. Достаточно сослаться на превосходный язык классических научных работ как в области естествознания (язык самого Тимирязева, например, или Столетова, или Павлова), так и в общественных науках. А такая слепота в одинаковой степени несовместима ни с художественным, ни с научным мышлением.

Наоборот, когда один из наших авторов пишет «разношерстные звери Пруссии», он видит и зверя и фашиста, он наглядно представляет себе все то, о чем говорит. Образность языка этих рукописей органична, она

никогда не кажется насильственной, нарочитой. Пушкин отмечал «живописный способ выражаться» как одну из черт нашей народности. Этот способ выражения — естественный для наших авторов, он соответствует их способу восприятия, их душевному строю.

Эта образность эмоционально действует на нас и в тех случаях, когда перед нами какое-нибудь непривычное, неожиданное сравнение, и там, где такой необычности нет, там, где метафора — в другой связи, у другого автора — могла бы показаться шаблонной. Вот два почти наудачу взятых примера. «Старуха мать, прислонившись к цветочному столику, всхлипывала, вытирая горькие материнские слезы рукавом старой кофтенки, ее худая грудь, как меха старой гармошки, часто приподнималась и опускалась, — и казалось, что старуха, набрав полную грудь воздуха, разразится громкими рыданиями» (И. А. Смоленцев, «Единство фронта и тыла»). О наших людях, которые томятся еще в звериных лапах фашизма, тот же автор говорит: «Для них нет различия в дне и ночи, пока фашист топчет нашу святую землю». В обоих случаях образы выразительны и точны: первое сравнение «оригинальное», необычное; во втором случае автор пользуется простыми, многократно применявшимися изобразительными средствами, но он так глубоко прочувствовал эти слова, что они приобретают особую убедительность и силу. Здесь все реально: и переживания этих людей, и день и ночь, и земля.

Мы видели, как существенно отличаются наши рукописи от прежнего фольклора. Много изменений произошло в народном творчестве. Но во всех этих изменениях сохраняется — расширенное, углубленное, обогащенное — народное восприятие жизни. Оно определяет и тематику, и стиль, и язык этих произведений.

9

Автор — фронтовик, гвардеец, награжденный орденом Отечественной войны I степени, — рассказывает о себе: родился в 1911 году; отец был убит в 1915 году, мать умерла в 1919 году. Ребенка взял на воспитание сосед, не имевший детей, с 1927 года до призыва в армию работал на руднике «Марганец».

Другие работали не на руднике, а на заводе или (таких больше всего) в колхозе. Это типичная биография.

Недостаточным было бы назвать произведения этих авторов «литературой участников войны». О своем участии в войне человек будет рассказывать по-разному, смотря по тому, каков был его предвоенный жизненный опыт. Заметив в рассказе влияние Киплинга или Хемингуэя, мы догадываемся: прошлое рассказчика было не таким, как прошлое наших авторов, — и, конечно, не ошибемся.

Раньше, чем стать участниками войны, наши авторы были участниками всех трудов и усилий, которыми жила наша страна. Своей биографией эти люди неразрывно связаны с самыми коренными основами нашей жизни, нашей государственности, нашей культуры и теперь защищают эти основы.

Война заставила всех нас с особой, новой, исключительной силой, всем своим существом ощутить значение этих ценностей, этих основ. До войны И. Н. Зувей не написал бы, может быть, своей повести, не вспомнил бы о всем, что ему близко и дорого, с такой проникновенностью, с какой теперь вспоминает. Не случайно все наши авторы говорят не только о том, как они воюют, но и о том, за что они воюют. Изображают ли они (как И. Н. Зувей) и войну, и мирный быт или (как И. Ф. Колодников) рассказывают только про то, что видели и испытали на фронте, эти ценности неизменно присутствуют в их рассказе.

Бой идет «ради жизни на земле». Люди защищают свой дом. Их чувство родины — глубокое, непосредственное, личное; оно вырастает из кровной привязанности к определенной местности, городу или деревне, к реальным, конкретным людям и, неизменно расширяясь, охватывает всю страну; вся она — их дом.

Когда И. Ф. Колодников слушает повествование обездоленной немцами женщины, у него «на глазах слезы и на сердце камень», как если бы такой же была судьба его собственной семьи, хотя он уроженец Алтайского края и этот разоренный очаг — не его личный очаг. Капитан И. Т. Куницын родился не в Севастополе, и его родные живут не там, но, покидая героический город, он повторяет: «Я оставляю родной дом... родной дом, где остаются мои братья и сестры».

Родина, труд и семья неотделимы друг от друга.

К труду — своему и чужому — у нашего народа особое отношение, исторически сложившееся.

Когда-то один из участников реакционного сборника «Вехи» (книги, которую В. И. Ленин заклеил как энциклопедию либерального ренегатства) прославлял эгоизм и самоутверждение западноевропейской буржуазии, усматривая в этих началах какой-то возвышенный, даже божественный смысл.

В лучшие традиции нашего народа и нашей культуры входит отрицание этого буржуазного эгоизма.

Ущерб, который буржуазия наносит трудящимся, не сводится к материальной эксплуатации и к ограничениям культурного развития. Буржуазия стремится навязать трудящимся свои нравы, законы конкуренции, согласно которым человек человеку волк; буржуазия стремится к тому, чтобы люди труда были не коллективом людей, совместно борющихся за общее историческое дело, а разьединенными индивидами, уничтожающими друг друга в попытках пробиться, занять какое-то место поближе к буржуазным верхам.

Экономическая основа этого разращения — «подкармливание» верхушки рабочего класса (вплоть до той возможности возникновения — в некоторых странах — «буржуазного пролетариата», о которой говорил Энгельс в своем известном письме); возможность для отдельных личностей выбраться из низов на поверхность буржуазного общества, стать если не самостоятельным хозяином, то хозяйским доверенным и подручным в крупном капиталистическом предприятии или государственном аппарате.

Типы и степени буржуазного влияния на массы в разных странах существенно отличаются друг от друга. Это влияние может ограничиться тем, что в каких-то верхних слоях водворится солидное, мещански респектабельное самодовольство.

Какие чудовищные формы может принимать заражение эксплуататорскими страстями, как широкие круги населения страны (а не только какая-то немногочисленная верхушка) превращаются в бандитскую империалистическую чернь — это всему миру показала гитлеровская Германия.

В России существовала, конечно, своя буржуазия, но она не смогла привить своих свойств народу.

В старой России разграничение между эксплуататорами и народом, при наличии многих крепостнических пережитков, было четким и жестким; возможность приобщиться к эксплуатации — в капиталистическом предприятии и тем более в государственном аппарате — была чрезвычайно ограниченной; известна, например, почти kastовая замкнутость высших сфер флота или ведомства путей сообщения.

Господствующие классы собирали обильную дань с угнетаемых

ими народов (например, со своих среднеазиатских колоний), но, кроме каких-то совершенно ничтожных крох, оставляли ее себе. Можно с уверенностью сказать, что русский народ в этом грабеже не участвовал. Отсюда особые отношения между русским народом и другими народами нашей страны, братство их в совместной освободительной борьбе.

В Италии, «обделенной» колониями, рабочая аристократия северных промышленных районов подкармливалась за счет крестьянства южных районов.

В нашей стране не было и такого явления. Буржуазия не смогла разбить союз рабочего класса и крестьянства.

«Подкармливаемая» рабочая аристократия существовала, конечно, но была слабее, чем в какой-нибудь другой стране. Чтобы в этом убедиться, нет нужды обращаться к данным экономической статистики; достаточно вспомнить о быстрой утрате влияния теми политическими партиями, которые ориентировались на эту прослойку (несколько месяцев 1917—1918 года; сравните с послевоенной историей Западной Европы, с той ролью, которую эта прослойка и эти партии играли там).

Крестьянин-середняк был, разумеется, и трудящимся, и частным собственником; но собственническое начало в психологии миллионов масс середняцкого крестьянства нельзя отождествлять с кулацкой, эксплуататорской психологией.

Под общей тяжестью, ложившейся и на рабочий класс, и на крестьянство, на русский народ и на другие народы страны, в недрах старой России росла, закалялась, крепла новая, будущая Россия.

Среди народов Запада русский народ был наиболее свободным от буржуазного эгоизма как в его уютно-мещанских, так и в агрессивных, авантюристических формах.

В том, что имели русский рабочий и русский крестьянин, не было ни капли чужого пота и чужой крови. Такое отношение к труду, когда все приходится делать самим, и широкая, напряженная историческая жизнь, развертывающаяся на необъятных пространствах, воспитали, сформировали наш национальный характер.

Этот народ совершил величайшую из революций, создал новый общественный строй, новое могучее государство и прошел школу такого строительства, каких ни одна страна не знала.

Отсюда огромное моральное здоровье нашего народа. Отсюда и его воинское достоинство; на войне обнаруживаются те же свойства, которые воспитались в работе: упорство, уменье, мужество. Хорошо воюет тот, кто не перекалывал тяжестей на чужие плечи.

И своим материальным достоянием, и своими победами, и своими свободами русский народ обязан себе самому.

Понятно поэтому, в какую неотвратимую силу вырастает гнев этого народа, когда на все его ценности, и на наследство его предков, и на новую жизнь, завоеванную столькими жертвами и усилиями, посягает агрессор.

Когда говоришь о русском национальном характере и его отношении к войне, нельзя миновать некоторых классических определений. Быть может, лучшие из них были даны Толстым в его рассказах («Набег», «Рубка леса», «Как умирают русские солдаты»).

Не все в этих рассказах равноценно. Некоторые портреты и эпизоды предвещают Платона Каратаева — образ, который не может претендовать на то национально-показательное значение, которое ему приписывал Толстой.

Но толстовская характеристика русской храбрости безупречна.

Вот разговор Толстого с капитаном в рассказе «Набег»:

«— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый, — сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. — Храбрый тот, который ведет себя как следует, — сказал он, подумав немного».

Потом Толстой видит этого капитана в бою. «В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», — сказалось мне невольно».

Толстой вспоминает Камбронна и других, в особенности французских, героев, которые были храбры и говорили достопамятные изречения. «Между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его».

В «Рубке леса» Толстой пишет о русских солдатах:

«Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан... на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме... В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера».

«Спокойная сила души», — говорит Толстой в третьем из названных выше рассказов. «Богатырски трезвая сила», — говорил Гоголь.

Это драгоценные национальные свойства: они не исчезли и не исчезнут. Можно было бы процитировать всего И. Ф. Колодникова, И. Т. Куницына и множество других рукописей в подтверждение того, что все это действительно так: отсутствие фразы, свобода от всякой натянутости, естественность, истина, простота, способность в опасности видеть другое, чем опасность, спокойная сила.

У одного из наших авторов есть такие строки:

Жизнь на фронте нелегка.
Суетлива, но близка
Сердцу братьев. Привыкать
Говорила сынам мать.
Привыкали, не скучали,
Где придется, ночевали,
Значит, этому бывать:
Если грустно — не скучать.
Если трудно — привыкать.

(Михаил Бузулук, поэма «Два сына»)

И. Ф. Колодников в письме, которое он недавно прислал в издательство, пишет: «Как вам уже известно, что я с начала войны на фронте. Много пережил, много видел и слышал. И вот сейчас уже

мне кажется, что как будто все это вечное и это оно как будто так и должно быть. Я не стал признавать ни страха, ни переживаний».

И внезапное заключение: «Поэтому и так легкомысленно я отношусь к событиям, с которыми встречаюсь я».

Читатель понимает, конечно, что слово «легкомысленно» здесь применено как-то по-особому. Вероятно, тут нужно было бы сказать какое-нибудь «великое слово» — т. Колодников, следуя национальной привычке, его не сказал.

Существуют действительно легкомысленные стихи и рассказы о фронте (написанные преимущественно в тылу), такие стихи и рассказы можно было бы писать, если бы на войне не было страдания и смерти. Есть, наоборот, произведения, специально доказывающие, что так к войне относиться нельзя, что нужно понимать всю ее тяжесть. Но лишь немногие писатели сумели передать отношение к тяжести, которое выразил наш автор: все видел, все слышал, все перенес — и не признает «ни страха, ни переживаний».

Это высота, которую трудно себе представить, но она является реальностью для множества людей.

Особо нужно отметить: «К событиям, с которыми встречаюсь я». К событиям, с которыми встречаются другие, он относится по-другому. Мы читали его «Описание», мы это помним, мы знаем, в каких случаях он «слаб сердцем».

Стойкость, душевная прочность этих людей связана с тем, что можно было бы назвать тонкостью понимания, чуткостью, но эти слова были бы лишь слабым обозначением того, о чем идет речь.

Гвардии подполковник Л. И. Одновалов (его биографию я привел в предыдущей главе) рассказывает о том, как в 1941 году он выходил из окружения:

«Мы питались грибами, ягодами... Питание заставило нас оставить лес и идти к населенным пунктам. Надо выразить благодарность русским патриотам, которые поддерживали наши силы. Мы шли не одни, нас шли тысячи. И всех питал народ. Мы надоели крестьянам, но жалость перед своим сыном, братом, мужем заставляла их нас кормить. Только и слышно было, как хозяйка говорила: «Нате, может, и мой сын так страдает». Мы в свою очередь обещали возвратиться и отплатить за поругание немцев над ними».

«Надоели» — в этом слове выражено не отношение крестьян к автору и его товарищам, — разумеется, не «надоели», если их так встречали, а отношение автора и его товарищей к крестьянам, к народу, который «всех питал», мысль об этом народе, благодарность, нежелание быть в тягость ему, стремление сделать все, чтобы «возвратиться и отплатить». Они больше думали о людях, которые их кормили, чем о самих себе.

Лейтенант К. Ф. Катаенко рассказывает («Перевал Бечо») о том, как женщины, дети и старики в августе 1942 года, уходя из Нальчика от немцев, перешли «самый суровый и труднейший из перевалов, на который даже не всех альпинистов пускают». Одна из этих женщин шла «с двумя сынами: Толиком пяти лет и маленьким Мишей — полтора года. У нее было 400 граммов хлеба и синяя кружка. Во время перехода через самый перевал они два дня ничего не ели. Толик шел сам, а Мишу она привязала к животу, чтобы руками можно было свободно держаться за веревку, за кусты, за камни. Тропинка была узкая — пройти только одному человеку».

«Все страдания и лишения бойцов, — говорит К. Ф. Катаенко, — бледнеют перед их мучениями».

Дорога была действительно страшной. Но за этими словами мы

читаем другое: для автора и его товарищей их собственные страдания менее важны, чем страдания этих детей и женщин.

Те строки о детях, которые были приведены в первой части этой статьи, уже сказали нам о многом. Мы знаем, с какой заботой, с каким бережливым сочувствием говорят авторы-бойцы, стойкие, мужественные люди, об измученном, потрясенном нечеловеческой травмой ребенке.

Это общая черта наших авторов. Один из них пишет о детях в только что освобожденной от немцев деревне: восемь детей ютятся в случайно уцелевшей «недостроенной маленькой рубленой бане». Они смотрят на него «из дверного проема без двери, приоткрыв рваное одеяло».

«Холодный, с небольшим поземком ветер дул детям в лица. Я загородил шинелью.

Вот пятилетний Ваня. На нем штопаные, старенькие штанишки с лямкой через плечо. Ситцевая рубашонка, когда-то в полоску, сейчас вылиняла, полуторванный рукав сползал с плеча. Без пуговиц воротник открывал худое костлявое тельце.

На шестилетней Клаве, у которой мать увели немцы, рваные большие шерстяные чулки и потерявшее первоначальную окраску грязное платье.

Остальные были также прикрыты кое-чем» (Ф. Н. Васючков, «Фронтовые зарисовки»).

Один из очерков т. Васючкова («Счастливая улыбка») был напечатан в «Комсомольской правде». Автор получил много читательских писем. «Вы так отнеслись к Нине, — писали ему, — как будто вы ее отец, а не воин. Качества отца и воина могут сочетаться только у очень хороших людей (так я думаю)».

Именно такие люди — наши бойцы. Нужно помнить об этой их человеческой стороне, чтобы понять их стойкость, их «качество воина».

Какой-нибудь неумный идеолог самодовольства и эгоизма вообразит, пожалуй, что наши люди нечувствительны к боли и не ценят свою жизнь.

Нет, наши люди знают ценность своей жизни. И они ощущают и боль от ран, и ожоги, и ледяную воду тех рек, через которые переправляются вплавь. Но, кроме этого, они помнят о страдании других наших людей, которых нужно спасти от страдания и смерти. Для этого нужно свою боль «переморщить», как говорит И. Ф. Колодников. Народная тонкость понимания и душевная прочность народа — два этих как будто противоположных друг другу свойства не просто сочетаются друг с другом: одно вырастает из другого. Уменьше сочувствовать, не переходящее, как я уже говорил, в «судорожное сострадание», но всегда направленное на реальную помощь — вот чем поддерживаются стойкость и мужество. Так укрепляется та «незнакомая в природе физиологическая сопротивляемость организма», о которой говорит И. Т. Куницын.

Конечно, не нужно думать, будто каждый человек на войне движется только одной этой своей собственной душевной силой, что ею определяется каждое его движение. Существует другой необходимый стимул — дисциплина, организация. Наши авторы хорошо и правильно это понимают.

Многое можно было бы еще сказать о наших авторах. Но они так выразили себя в своих произведениях, что читатель так узнает этих людей, как мог бы узнать их только при близком личном знакомстве. Мы видим, какие это люди, и читаем эти страницы с гордостью и любовью.



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

★

УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ

Повесть

1

У

чебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась призрачная мгла, будто над ними сроду не вставало солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь пожаров. С натужным ревом невысоко и кучно над колонной то и дело пролетали «юнкерсы». Тогда рота согласно прикивала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пронесло мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота ломала строй и падала по команде капитана — четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал очищенный от коры ивовый прут. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком, потому что каждый — еще в ту, мирную, пору — ходил в увольнительную с такой же хворостиной. Капитану это было давн известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо неся фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт. Он рисовался курсантам линией грандиозных сооружений из железобетона, и они шли, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень — легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота — тоже как по команде — принялась на ходу за остатки галет — личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» — в тот момент, когда двести сорок галетин уже перетирались крепкими зубами. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете свой прутик. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

— Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они стояли вдоль восточной опушки леса — пять скирдов, — и из угла крайнего и ближнего к роте на волю, крадучись, пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, усталых клевером, стояли «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

— Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил прутик, нарочито заметным движением расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирду.

— Товариш майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто и вместе с тем как-то доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирду. Прошло немного времени, и из дыры выпрыгнул кряжистый человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат — рогатый, черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку — наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

— Отставить! — угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. — Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать!

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции — «прячут удостоверения» — и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все, случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что поставило бы его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и кивнул на вороватый полет дымка:

— Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

— Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! — указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в дви-

жении свой строй, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

— А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький печальный подполковник несколько минут глядел на него растроганно и завистливо.

— Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и зачем-то привстал на носки.

— Рост сто восемьдесят три, — сказал капитан.

— Черт возьми! Вооружение?

— Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

— У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

— Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? — тихо спросил Рюмин.

Подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

— Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни — пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Косообры-вистый и глубокий, он тянулся на север и юг — в бескрайние, чуть засне-женные дали, и все, что виделось впереди него, казалось угрожающим, как чужая, неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, был всего-навсего так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без купола и длинным каменным коровником. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и тот самый каменный коровник. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что план ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

— Ну, что у вас? — недовольно сказал капитан.

— Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода Алексей Ястребов спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

— Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал:

— Есть!

— Окоп отрыть к шести ноль-ноль! — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: — Лейтенант!

Алексей подбежал.

— Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли им план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы от хрена с соской до лопат и кирок, и горячая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

— Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого, во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренная, скучная жизнь с четкой выправкой, с тревожно радостной мечтой об аттестации.

В то, что он уже две недели, как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

Все его существо противилось тому реальному, что происходило, — он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить то, что совершалось — пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой. Но Алексей еще с десяти лет знал, что мы будем бить врага только на его территории. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана, и пошел задворками на КП к ротному.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней холодно сиял месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт.

Командный пункт размещался в центре деревни, в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими буквами: «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

— Это на левом фланге, — вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: — А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то пригваздывающее счастье — радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость, с кото-

рой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных, и в одном из них, горбатым и длинным, как рига, еще издали заметил настесь распахнутые ворота, а в их темном зеве — неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и нескольких курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились. Он громко и весело крикнул:

— Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостиной и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

— Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. Он сказал, что четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извиристо пролегал в глубь деревни. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая сывороткой — наверное, тут был когда-то сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот доедал банку судака в томатном соусе.

— И пуля попэ-эрла по каналу ствола! — остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку.

Они несколько минут хохотали, мимикой и жестами копируя чудакowego майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

— Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

— Ясно, — солидно отозвался Гуляев. — Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

— При отступлении тоже?

— Курсанты никогда не отступали, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял переливчато и слепяще — солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним по рву в деревню входил накатный рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва четко голубел лес, а ближе и левее его чуть виднелось какое-то селение.

— Самолеты! — сказал Гуляев. — Видишь? На четыре пальца правее леса гляди... Ну?

— Это галки там, — сказал Алексей.

Рокот уже перерос в смутный рев, и теперь было ясно, что это. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

— Заходят на нас! — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей

увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резко застучало.

— Пошли по взводам? — спросил он у Гуляева.

Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами медленно, касаясь друг друга локтями, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и каждый про себя отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих бомб. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев виновато сказал:

— На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

— Ну, я пойду к себе, Сашк.

— Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: в деревне оставались не вылезавшие из погребов женщины и дети.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то нападала зевота и тело вяло льнуло к стенке окопа. В такие затишья из сверкающей дали лениво прокатывались заглушенные обвальные взрывы: где-то там, впереди, по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, обживал и прихорашивал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлало соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут — ровный козырек бруствера, отшлифованный срез стен, печурки и ниши, — все было сделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне; в нем что-то было затаенно мирное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной стоял на горизонте лес, все чаще и явственней доносился раздерганный гул. Временами, когда гул спадал, казалось, что кто-то недалеко разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и по одиночке.

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно-радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. — Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь рясницы, и все же Алексей угадал своих. Своя была у людей походка, свои шинели, свои каски и шапки.

— Это наши славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода.

На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь, видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было скрыть и подчистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах адели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей.

Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими, спутанными шагами пошел вверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов.

Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

— Он ранен?

— Нет, — сквозь зубы сказал капитан.

— А что же?

— Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и скоро, подпирая друг друга прикладами. Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полупшепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, то и дело поглядывая в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его, — решил Алексей, — мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как

испытующе и тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

— Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. — И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятого, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным голосом.

Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах — в нем все теперь казалось ему иным, генеральским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

— Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам.

Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Минував окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел, как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше и выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

— Предъявите ваши документы!

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

— Всех в обход! — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный

пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находятся в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла, задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутного бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи — в погребках, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

— Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «беломорканала» слезалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, глубоко затягиваясь, и тогда капитан спросил еще:

— Курсанты всё слышали?

— Всё, — сказал Алексей. — Генерал-майор...

— Хорошо, — перебил капитан. — Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженный. Установил это я сам. Понимаешь?

— Я все понял, — негромко сказал Алексей, с преданностью глядя в глаза Рюмина.

— Обстановка неясна, Алексей Алексеевич, — неожиданно и просто сказал капитан. — Кажется, на нашем направлении прорван фронт...

И все тем же немного не своим и немного не военным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченного полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему — он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько верховых и три повозки. Все это двигалось в ту сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие, наталкиваясь в поле на посты курсантов, забирали вправо. Все это время Алексей был в окопах с дежурным отделением, и, когда повозки, верховые и пехотинцы скрылись, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка», — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела ночная усталость. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утопали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе — тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее.

В деревне в это время начали дымиться трубы — украдкой, через две-три хаты, — и в окопах запахло дымком, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительно острое чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно

навернувшихся слез, он крикнул иступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

— Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробилась петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком потяге:

— Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ах! — И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик — наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули:

— Стой, кто идет?

От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в шапке, один ушной клапан которой был опущен, а другой поднят вверх. И винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю. Было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не остановился и не отозвался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

— Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал! Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу — маковка церковная...

Он выглядел за сорок — возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него была поранена ушная раковина, темневшая комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

— Прикроешь шапкой — и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

— Перевязать надо, — сказал Алексей. — Чем это вас?

— Осколком. Как перепел: фрр — и нет его. Даже не почувял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помком-звода спросил тогда:

— У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

— Этого не знаю, брат, — ответил боец. — С начальством я знаком мало. А что?

— Товарищ генерал на полсутки пораньше тебя переправился тут, — баском сказал кто-то из курсантов.

— Ну, большой меньшого в таких делах не дожидается, — назидательно рассудил боец. — Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

— Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц, — опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

— Да ну? — бесстрастно удивился раненый. И помолчал. И добавил: — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит. Нас там хотя и легла тьма, но живых-то еще осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика — воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

— Ну, вот что, нечего тут, — растерянно сказал Алексей. — Кончай разговоры! Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

— Тут горе вот какое, товарищ командир, — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. — Ведь танку в лоб не

прймешь такой пол-литрой! Тут надо жрать, покуда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

— Вы давайте в госпиталь! Это в том вон направлении,— строго сказал Алексей.

— А может, мне у вас остаться? — спросил боец.— Ухо мое и без докторов присохнет.

— Давайте в госпиталь! — повторил Алексей.— У нас вам оставаться нельзя. Мы... — И не сказал, что хотел.

Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

— Ну что ж... Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отбегали, семьсот ехать! — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу — тоже, видать, на церковную маковку — от леса, осторожно петляя, поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехали в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов — броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямылось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал — безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать?

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и другого броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить раз по одному броневика, раз по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами и азартно шарили стволами винтовок по полю.

— Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? — У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

— Сейчас нам капитан не так за это врежет,— сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета.— Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени...

— Ну и черт с ними! Пускай знают!

— Что знают? — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

— А все! — вызывающе сказал помкомвзвода.— Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

— Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов — тихий сутуловатый человек с большими печальными глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политин-

формацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

— Ну, что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило — сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

— Задымил один, товарищ политрук...

— Ага! Вы их бронейно-зажигательными?

— Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

— Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки — деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному — то мягко, заглушенно, то резко, отчетливо — далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише, остывал, и от него шел нестерпимо томительный дух. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать,— обиженно подумал Алексей,— а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» И в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

— Это шрапнель? — спросил Алексей.

Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил; воздух пронизал тягучий, с каждым мигмом нарастающий вой, оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно-рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых заневов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделывать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все — мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом вырос и пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа — над ними близко звывало,— Анисимов торопливо сказал:

— Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажете убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов — испытывают ли они при нем то облегчающее

чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто сдвинулись на короточки спиной к внешней стене окопа, зажав между колен винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыббался растерянно, смущенно, одними углами губ — точь-в-точь, как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром — до того, как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружилась вверх, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал — а может, только хотел того, — что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей замедлил бег и оглядел узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное радостное открытие. Жарким, никогда собой неслыханным голосом Алексей пропел:

— Взво-о-од! По одиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным — резким и испуганно злым — Алексей крикнул: «Отставить!» — и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Алексей упал на колени, и сразу же его поднял тягучий в испуге и боли крик:

— Я-ястре-ебо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лёте, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его белые руки, зажавшие пучки соломы.

— Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь... — Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову.

Первое, что осознал Алексей, — это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что стрезать у него нужно полы шинели, они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на мокрой полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это «они»...» — понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

— Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как

упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему не встретился никто из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

— Я сейчас!.. Сейчас!..

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился — и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод («Они сами ушли.. по ходам сообщения»), и зачем Анисимов просил отрезать «то» («Там у него была вся боль»), и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки («Огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится»).

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, курсанты с кладбища побежали к ходам сообщения. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу.

— По местам! Бегом! — властно крикнул он. — И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду.

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину — оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

— Дойти до КП могут? Где они? — спросил наконец Алексей.

— В коровнике. Лежащий только один... Воронков.

— Его надо отнести к санинструктору. И политрука тоже. Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица — курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

— Быстрее! — иступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком.

Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук. Мины взорвались на огородах — начиналось все сначала.

— Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону, и за ней стлался черный зигзагообразный след. Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветки и крошево стекла.

— Кладите туда — и за мной! — приказал Алексей и побежал назад — в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынным дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

— Прекрати-ить! Прекрати-ить! — на бегу закричал Алексей.

Помощник подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью — огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым, это ж все равно, что

при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиначный выход из окопа. Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог — они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью.

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затаился, и проговорил все разом, без запинки:

— За коровником — бывший погреб, а может, другое что — ямка такая под яблоней, они все там шестеро... Четверо допрежь раненых и двое, что я послал...

— Ну?

— Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно убежал в свой тыл и возвращался в окоп.

— Попьют кофе и опять начнут, — сказал помкомвзвода, глядя через поле.

Алексей промолчал.

— Я говорю, опять начнут! — повторил помощник.

— Ну и что? — отозвался Алексей, тоже взглядываясь через ров в невидимое селение.

— Что ж, мы так и будем мотаться туда-сюда?

— А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

— В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттудова?

— Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей. — Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

— У нас бронейно-зажигательные патроны есть, — все тем же ровным, уныло обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

— Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

— А пуля летит семь!

— Ну вот что. Иди на свое место! Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрее!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

— Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

— Так что? — удивился Алексей.

— Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трется...

— Он же, наверно, контужен!

— Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним. Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко

понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

— А у вас богато?

— Убито шестеро курсантов и политрук,— вызывающе ответил Алексей.— Раненых нет!

— Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать,— обрадовался санинструктор.— Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых.

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этим нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы «их» пощупали!..»

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались: ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступить.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду — он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полutorке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики-разведчики противника, обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, и ему понадобилось немного времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием, хотя слышал, будто немцы уважительно называют эти пол-литры «сталинским коктейлем». «Атаки с тыла мы не выдержим,— думал Рюмин.— Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки.

Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. «Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить, и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...»

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил мальчишка без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» — с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу, и все же он не сдержался и свирепо скомандовал:

— Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руки, потянулся к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин и тоже одной рукой. Они одновременно управились с шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ног, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, негодно для жизни; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить.

По тем же самым причинам Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, пути к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас заменявшего ему стек хлыста.

— Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ... — Рюмин молчал — что-то еще сопротивлялось в нем принятому решению — и продолжал: — приказ командования уни-что-жить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, к которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. По местам!

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи. Все, что роте предстояло сделать в темноте, он не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение: стремительным броском — вперед. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим.

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для родины — смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, — и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издали — темная кромка его обрисовывалась в белесоватой мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковатый, крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в кармане шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах двенадцать и четыре. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку,

пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, и сразу же в разных местах села в небо выметнулись дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающе прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К неуклюже размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавляющей волю машинной ритмичностью, был в то же время игрушечно легок. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над теми, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завывли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку.

Горел сарай. Поляну заливал мигающий красный свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод, как только достиг окраины села, закричал, но не «ура», а что-то бессловесное, жуткое.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услышал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услышал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку.

Горело уже в разных концах села, и было светло, как днем. Немцы

страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет, как зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Алексей все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда разрасталась для него в огромный период времени, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять, почему сапог — желтый, короткий, с широким раструбом голенища — стоял. Не лежал, не валялся, а стоял посередине двора? Он лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?! Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного плотного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, охрипло охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то сник, отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «поживому» прилегли к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице в свете пожаров четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных. Каким-то лихим подхватом курсанты держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей невольно ладил шаг под эту команду. Курсанты пригнали пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в потеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея. — В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружавшим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних калсынах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидаяще взглядываясь в сад, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы, — сказал Гуляев. — Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоём взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытывал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидал Рюмина.

...Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых — спасаясь из села, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки автоматов в животы — курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Били с чувством восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

— Одних автобусов штук сорок было!

— Да шесть броневиков...

Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

8

Такие сигареты можно было не курить — дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому, что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, и потому, что рота не лежала, а сидела в лесу в круговой обороне, курсанты курили их молчаливо, дружно, изучающе. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживались тоном друг под друга — может, им легче так было, — и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились одновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра километрах в двух отсюда видна красная водонапорная башня. Наверно, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем. Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву поза-

вчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в тридцати семи километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

Серый пасмурный день разгуливался — небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами.

Кто-то из русских солдат-фронтовиков с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду — его трудно было сбить. Попадая в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей, искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, он не улета, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступало жестокое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

— Вверх не смотреть! Не шевелиться! — застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

— Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его... Залезу на сосну и шархану! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вывалилось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, падали на раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, видал и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам.

Решение...

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток движется колонна из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитаров», несущих четырнадцать раненых... Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток. — там ведь свои! В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое — разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу — оно ждало врага только с запада, и отсюда было ближе к своим...

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода — там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

— Кушать просят.

— А можно им? — спросил Алексей.

— Не все, — значительно сказал Гвозденко.

— А что можно?

— Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрал голову, и бросился назад.

— Самолеты сюда... Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

— Ты давай к себе, — сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты.

Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно запело ведро. Алексей приподнялся на четвереньки и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался — из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе», — мелькнуло в голове, он крикнул: «Внимание!» — и услышал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее, и Алексей резким рывком кинулся вперед, в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, далекие силуэты хат и над ними несколько завалившихся на нос черных самолетов. Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он... его мать, завел, а теперь...» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Больше Алексей ни о чем уже не думал. Он то лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все было с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то, не выразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки... Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле, и дважды возвращался в лес — в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи... Самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно ровный их рокот постепенно растворялся в другом — наваленом тяжком, медлительном и густом: в лес входили танки и пехота противника.

...Курсант лежал лицом вниз под нависшей над воронкой лепехой соснового корня, с которой стекал сухой песок, и, полузасыпанный, казался мертвым. При падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

— Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место.

Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды.

— Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.

— Дурак! — выдохнул Алексей. — Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком повернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к задку, а голова к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывистые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжный стон падающих деревьев, автоматные очереди, и все это мешалось в единое, казалось отдаленным, а не приближающимся.

«Может, это тоже пройдет... Как-нибудь пройдет и кончится», — подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! — внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. — Там бой, а он...»

Наверху рядом с воронкой гремуче прокатился железный вал и слышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Вали катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

— Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта.

— Тут! — отозвался курсант. — И немецкий автомат тоже... А твоя?

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно (и совсем недалеко) вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз (знакомо по учебному полигону) звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истеричном плаче.

— Тихо! Цыц, в душу твою!.. — обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея. — Ты что... — Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку. — Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут... Вот увидите! — зашептал он.

— Вставай! — крикнул Алексей. — Там... Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!

— Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем... Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их потом всех... Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! — иступленно просил курсант и медленно, заклинаяще нес ладонь ко рту Алексея.

Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

— Стреляй тогда! — тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. — Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен...

Курсант — Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно подававшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели, — курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее.

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидав себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: «А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину под его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было б неправдой! Я ни о чем не думал!..»

Веруя в смертную решимость курсанта, Алексей разжал пальцы, и пистолет выпал из его руки. Курсант отшатнулся, но тут же схватил пистолет, а Алексей выгнул грудь и скосил к переносице глаза.

— Психический! — измученно прошептал курсант и лег.

Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, а по земле синим чадом стлался туман, и все окружающее казалось расплывчатым и неверным. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего — ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг — ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия, и Алексей невольно забирал влево, на север.

— Так и дурак кашу съест, была бы ложка, — сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

— Воюют-то они чем, — подождав, снова начал курсант, — минометами, пикировщиками да танками?

— Это ты кому следует скажешь, чем они воюют... И как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь! — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

— Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! — угрюмо сообщил курсант. — И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...

— Один? А я где был? — парализованно остановился Алексей.

— Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял по «юнкерсам» из пистолета. Кажется, сбил одного... Может, это вы были?

— Вот гад! — изумленно самому себе сказал Алексей. — Рота погибла, а он... Вот же гад.

Курсант обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

— А вы как... многих вчера, товарищ лейтенант?

— Одного, — не сразу устало сказал Алексей. — Худой, как скелет...

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав сигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда впереди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант схватил Алексея за локоть и захлебно крикнул:

— Немцы! Над самыми верхушками... Четверо!

Все было сразу — волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестящими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

— Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с мо-

розным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то призывное...

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали, с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял, сам ли он замедлил шаг или же курсанты с Алексеем настигли его и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к скирдам, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного — упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно-опасливо оглядел скирды, лес, светлое небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

— Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил — это было сказано в десятый раз, и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

— Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

— Не нужно туда! Сделаем сами...

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимopheевки.

— Все. Давайте, товарищ капитан, — сказал Алексей.

— Что? — непонимающе спросил Рюмин.

— Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустил на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть в дыру можно и нужно было иначе — задом, упев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. С трудом повернувшись, он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка громко слглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши и пахло сокровенным, очень давним и незабытым, и от всего этого томительно замирало сердце, и в нем росла тайная радость сознанию, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонку зябко, потому что затычка валялась в стороне, — видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака. Он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мессершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, жалко кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других

оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

— Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? — возбужденно спросил Алексей.

Рюмин не обернулся: на лес падал, медленно перевортываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый длинный «мессершмитт».

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» — один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

— Все,— сказал он.— Все... За это меня нельзя простить. Никогда!

У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы,— плачет?! — Алексей одним дыханием выкрикнул Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

— Ничего, товарищ капитан! Мы их всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!..

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение — невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно тихий, как бы во что-то вслушиваясь или сиюсь постигнуть ускользящую от него мысль. Потом черты лица его сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще посмотрел в глаза Алексею.

— Покурить бы,— виновато сказал он.

— Это я сейчас,— вырвалось у Алексея.— У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охалке клевера перед ними стояла расковыренная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели — может, потому, что не решили чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидев банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

— Как у тещи,— с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

— Ну, ладно,— торопливо проговорил он,— я зайду после.

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

— Ну-ка, берите себе с капитаном! — строго и загода возмущенный предполагаемым отказом, сказал он.— И под низ давайте, а то разольете, к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально взял банку и тут же протянул ее назад, но курсант, поддерживая руки на отлете, побежал к своим и на полпути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

— Я же только так... Закурить хотел! — слабо крикнул Алексей.

— Потом принесу! — отозвался курсант, но уже не оглянувшись.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе длинным взглядом, и когда Алексей приемом курсанта поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

— Что это?

— Консервы... Ничего нельзя было сделать,— растерянно проговорил Алексей.— А табак, сказали, принесут после...

— Сказали? — переспросил Рюмин.— Зачем? Черт знает... Как же ты не понимаешь всего этого! — И побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: — Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны меня... Не этим!

Алексея и бежавшего ему навстречу курсанта с табаком разделяли шага три или четыре, когда в скирду позади Алексея треснул приглушенный выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полупшепотом ругался в бога.

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Когда Алексей подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Впервые Алексей не устранился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость к нему, и то, что сделал Рюмин, не вызвало у него ни протеста, ни жалости. Как в полусне, он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

— Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал:

— Какая рязница,— и выругался в бога.

Все, что делал потом Алексей — снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет,— все это он совершал внимательно, медленно и почти торжественно. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской.

— Дай мне свой штык,— сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

— Да полно вам, мы сами выроем! — с досадой взглянул на него тот.

— Дай, говорю, ну? — прошептал Алексей.

Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея — жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России... Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату... А земляные плитки назывались в Шелковке «корвегами». После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села...»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвега самая трудная... Трое курсантов, дробившие до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

— Потом выложим ими верх,— сказал он Алексею.

Под черноземным слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше оказался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмякло рыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнущие к рукам.

Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, что шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитан уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или юг, Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом брндия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул из кармана рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров — Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц, и снова болезненно-остро ощутив присутствие тут своего детства, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

— Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...

Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и решив, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить бежавших от горящего скирда курсантов и настигающий их грохочущий танк. И тогда же он увидел зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни «своего» танка.

— Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется «репицей»...

Когда грохочущая тяжесть упала на него и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантом в лесу — на боку, подогнув к животу колени...

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать, и он продолжал захлебно сосать воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с силой рванулся из завала и очутился поверх комьев земли и глины. Прислонясь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

— Это только так, — сказал Алексей. — Зараз придет...

Потом он оторыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с колен, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

— Стерва,— вяло, всхлипываяще сказал Алексей.— Худая...

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он оторыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи — по две на каждое, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе,— оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод и усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипываяще шептал:

— Стерва... Худая...

Так было легче идти.



В. ШУКШИН

★

ОНИ С КАТУНИ

Рассказы

Игнаха приехал

В начале августа в погожий день к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа... Пинком распахнул ворота — в руках по чемодану, — остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

— Здорово, родня!

Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком:

— Неужели нельзя потише?.. Что за манера!

— Ничего-о, — загудел Игнатий, — сейчас увидишь, как обрадуются.

Из дома вышел квадратный старик с огромными руками. Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

— Игнашка!.. — сказал он и пошел навстречу Игнатию.

Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды — крест-накрест — поцеловались. Старик опять вытер глаза.

— Как надумал-то?

— Надумал...

— Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь... В спину что-то вступило...

Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

— А это жена, что ли? — спросил наконец старик.

— Жена, — спохватился Игнатий. — Познакомься.

Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее.

— Люся.

— Ничего, — сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю.

— А?! — с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий.

— Пошли в дом, чего мы стоим тут! — Старик первым двинулся к дому.

— Как мне называть его? — тихо спросила Люся мужа.

Игнатий захохотал.

— Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя!

Старик тоже засмеялся.

— Отцом вроде довожусь... — Он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: — Мать, кто к нам приехал-то!

В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия — заплакала.

— Игнаша, сынок... приехал...

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу.

— Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське — во!.. А это Ваське... Все тут живы-здоровы?

Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына — он все доставал и доставал из чемоданов.

— Все здоровы. Мать вон только...— Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром.— Ничего товар... Васька износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

— Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье.— Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним.— Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас.

— Соскучился, так раньше бы приехал.

— Дела, тятя.

— Дела...— Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына.— Какие уж там дела-то!..

— Ладно тебе, отец,— сказала мать.— Приехал — и то слава богу.

Игнатию нетерпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена...

— Ты говоришь: «Какие там дела!» — заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца.— Как тебе объяснить?.. Вот мы — русские — крепкий ведь народишко! Посмотришь на другого — черт его знает!..— Игнатий встал, прошелся по комнате.— В плечах сажень, грудь, как у жеребца породистого,— силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях — это боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее.— С последними словами Игнатий обратился к жене.

Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль — о преступном желании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что, когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.

— ...Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного.

— Ладно,— согласился отец. Он слушал невнимательно.— Мать, где там у нас?.. В лавку пойду.

— Погоди,— остановил его Игнатий.— Зачем в лавку?

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям: чуть что — сразу в лавку. Зачем, спрашивается? Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол:

— На́ деньги.

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха!... Приехал в гости — значит, сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету?

Игнатий засмеялся.

— Ладно, понял. Ты все такой же, отец.

...Сидели за столом, выпивали...

Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было:

Зачем сидишь до полуночи
У растворенного окна,
Ох, зачем сидишь...

Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается! — Он ругнулся матерно.

Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором:

— Тятя!..

— А ты, Игнат, другой стал,— продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына.— Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи.

— Ты давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

— Не то говоришь, отец,— сказал Игнатий.— При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал,— я старый человек. Ладно, ничего. Васька скоро придет, брат твой... Здоровый он стал! Он тебя враз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки. Куда там...

Игнатий засмеялся; к нему вернулась его необходимая веселая снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой? — предложил отец.

— Нет,— твердо сказал Игнатий.

— А! Вот муж какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия.— Наша порода — Байкаловы. Сказал «нет» — значит, все. Гроб. Я такой же был. Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная...

— Ты, отец, разговорился что-то,— урезонила жена старика.— Со всем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушайте вы его; брехуна.

— Ты лежи, мать,— беззлобно огрызнулся старик.— Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнатий тоже встал... Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Молчали. Слушали.

Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой... В чем не такой? Сын, как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то...

Пришла Марья — рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной сдержанной улыбкой.

— Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! — забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. — Ведь ты же невеста уже!

— Будет тебе, — степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.

Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сощурившись.

— Сейчас Васька придет, — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел его младший сын, он не знал.

Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была!

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно, — миролюбиво сказал отец.

Начали приходиться бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кулками.

«Сейчас Васька придет», — ждал старик. Не было у него на душе праздника — и все тут.

Пришел наконец Васька — огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный... Васька походил на отца, смотрел так же — вроде угрюмо, а глаза добрые.

— Игнашка приехал, — встретил его отец.

— Я уж слышал, — сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами. Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился...

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

— Погоди, тять, дай я хоѣь маленько ополоснусь. А то неудобно даже.

— Ну, давай, — согласился отец. — А то верно — он нарядный весь, как этот... как артист.

И тут из горницы вышел Игнатий с женой.

— Брательник! — заревел Игнатий, растопырив руки. — Васька! — И пошел на него.

Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу. Игнатий обнял его.

— Замараю, слушай. — Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

— Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, окаянная душа. Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался.

— Он тебе подарки привез, Васька, — громко сказал он, направляясь к Игнатовым чемоданам.

— Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот! Видела Байкаловых? — Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. — Знакомьтесь.

Васька покраснел пуще прежнего — не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала. — Он у нас стеснительный, — пояснил отец.

Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся; он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

— Тятя... скажет тоже.

— Иди умывайся, — сказал отец.

— Да, пойдю маленько... того...

Васька пошел в сени. Игнатий двинулся за ним.

— Пойдем, полью тебе по старой памяти!

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь — она протекала под боком, за огородами.

— Искупаемся? — предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве.

— Ну как живете-то? — басил Игнатий, шагая вразвалку между отцом и братом.

Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся: не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату.

— Ничего.

— Хорошо живем! — воскликнул отец. — Не хуже городских.

— Ну и слава богу, — с чувством сказал Игнатий. — Василий, ты, говорят, нагулял тут силенку?

Василий опять засмеялся.

— Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

— Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

— Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

— Хорошая баба, — похвалил Игнатий. — Человек хороший.

— Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнатий оглушительно захохотал.

— Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотстали вы в этом смысле.

— Чего-то ты много хохочешь, Игнат, — заметил старик. — Как дурак какой.

— Рад, поэтому смеюсь.

— Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?

— Ты когда жениться-то будешь, Васька? — спросил Игнатий.

— Он сперва в армию ходит, — сказал отец.

— Ты это... когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию, — посоветовал старший брат. — Я же так начал. Тренер толковый попадет-ся — можешь вылезти.

Васька слушал, неопределенно улыбался.

Пришли к реке.

Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

— Мать честная! Вот это водичка.

— Что? — Васька тоже разделся. — Холодная?

— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца. Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался.

— Есть, — заключил Игнатий. — Давай попробуем?

— Да ну! — Васька недовольно потрянул волосами.

— А чего, Васька? Поборись! — Отец с упреком смотрел на младшего.

— Бросьте вы, на самом деле, — упрямо и серьезно сказал Васька. — Чего ради сгребемся тут? На смех людям?

— Тьфу! — рассердился отец. — Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас — всего стесняется.

— А чего тут стесняться-то? Если б мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

— Объясни вот ему!

Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

— Силен! — с восхищением сказал Игнат.

— Я ж тебе говорю!

Помолчали, глядя на Ваську.

— Он бы тебя уложил.

— Не знаю, — не сразу ответил Игнатий. — Силы у него больше — это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька.

Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий подплыл к ним, они замолчали.

Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова...

— Катунь-матушка, — негромко сказал он.

Васька и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью; ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

— Юбку-то спусти маленько, эй! — крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.

— Вот халда! — с восхищением сказал старик. — Хоть бы хны ей.

Братья стали одеваться.

Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало.

— Чего ты такой? — спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

— Не знаю. Так просто.

— Не допил, поэтому, — пояснил старик. — Ни два, ни полтора получилось.

— Черт его знает. Не обращайтесь внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни... Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились.

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. Только всплескивали волны, кипела река, да удары валька по мокрому белью — гулкие, смачные — разносились над рекой.

Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое...

Игнатий присмирел. Перестал хохотать, не басил.

— Что, Вася? — негромко спросил он.

— Ничего. — Васька бросил камешек в воду.

— Все пашешь?

— Пашем.

Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали.

— Жена у тебя хорошая, — сказал Васька. — Красивая.

— Да? — Игнатий оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: — Ничего. Тяте вон не нравится.

— Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? — Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. — Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнатий захохотал.

— Ты у нас приבלатненный, тять! Ты знаешь, что такое фартовая-то? Отец отвернулся к реке, долго молчал — обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито:

— Зря ты не поборолся с ним.

— Вот привязался! — удивился Васька. — Ты что?

— Заело что-то тятю, — сказал Игнатий, — что-то не нравится ему.

— Что мне не нравится? — Повернулся к нему.

— Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

— Ну и видь. Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь!

— Будет вам! — сказал Васька. — Чего взялись? Нашли время.

— Да ну его! — Отец высморкался и полез за кisetом. — Приехал, расхвастался тут, подарков навез... подумаешь!

— Тять, да ты что в самом деле?!

Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок — не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца.

— Пошли? Тять...

— У тебя деньги есть? — спросил тот.

— Есть. Пошли...

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам.

Игнатий и Васька шли сзади.

— Чего он? — Игнатия не на шутку встревожило настроение отца.

— Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь. — Васька улыбнулся.

— Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

— Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет.

Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого, — раньше он не замечал этого.

Одни

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

— Эт почему же?

— А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

— Плевать мне на твою душу.

— Эхх...

— Чего «эх»? Чего «эх»?

— Так... Вспомнил твоего папашу кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

— Ты папашу моего не трожь!.. Понял?

— Ага, понял, — кротко отвечал Антип.

— То-то.

— Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать: когда он говорит серьезно, а когда шутит.

— Вопчем, шей.

— Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом; потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи — бледный и немощный — чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа — справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стенке, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову, — и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном — лопнули струны — и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стенку новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась в соседях подолгу, вообще старалась не отлучаться из дома. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет — не работает.

Как-то раз осенним вечером сидели они — Антип в своем уголке, Марфа у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло, уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно.

Тук-тук, тук-тук — постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются.

В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

— Чего пригорюнилась, Марфынька? — спросил Антип. — Все думаешь, как деньжат побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

— Помирать скоро будем — так что думай не думай. Думай не думай — сто рублей не деньги. — Антип любил поговорить, когда работал. — Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, вос-

стания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... Хоть уж погибали, так героически. А тут — как сел с тринадцати годков, так и сию — скоро семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне плевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

— Для детей,— серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

— Для детей? — Антип оживился.— С одной стороны — правильно, конечно, а с другой — нет, неправильно.

— С какой стороны неправильно?

— С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

— А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

— Как это «чего»? Нашел бы чего... Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота, это редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

— Перестань уж!.. — Марфа махнула рукой. — Завел — противно слушать.

— Значит, не понимаешь,— вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула... Вытерла платочком слезы и сказала:

— Разлетелись наши детушки по всему белу свету.

— Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? — заметил Антип.

— Хватит стучать-то! — сказала вдруг Марфа. — Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

— Сдаешь, Марфа,— весело сказал он.— А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

— Сыграй,— разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался...

— Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу...

— Начинаем наш концерт!

— Ты не дурачься только,— посоветовала Марфа.

— Сейчас вспомним всю нашу молодость,— хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку.— Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

— Помню, чего ж мне не помнить. Я как-нибудь помоложе тебя.

— На сколько? На три недели с гаком?

— Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся.

— Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

— Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

— Штанина, допустим, была моя...

Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы

полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне, ма-амынька,
Красный сарафа-ан,—

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту в изьян...

Пели не так, чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнуемое во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои;
Походите, погуляйте,
Па-ба-луй-тися!

Он стал подпрыгивать... Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.

— Хоть бы уж не выдрочивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же.

Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя, ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

— А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил?

Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька;
Ох, хаханечки-ха-ха,
Чечевика с викою!

— Дурақ же ты, Антип,— ласково сказала Марфа.— Плетешь черт-те чего.

Ох, Марфушечка моя,—
Радость всенародная..

Марфа так и покатилась.

— Ну, не дурак ли ты, Антип!

...Стопудовым урожаем
Ушибем Америку!
Ох, там ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

— Сядь, споем какую-нибудь,— сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался... Улыбаясь, смотрел на Марфу.

— А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

— Не плохой, а придурковатый,— поправила Марфа.

— Значит, не понимаешь,— сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел.— Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучает-то.

— Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель-фрау?

- Про Володю-молодца.
- Она тяжелая, ну ее.
- Ничего. Я поплачу хоть маленько.

Ох, не вейти-ися чайки над морем,—
запел Антип,—
Вам некуда беденьким сесть;
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю-молодца-а;
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

— Антип, а Антип... Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю,— проговорила она сквозь слезы.

— Ерунда,— сказал Антип.— Ты меня тоже прости, если я виноватый.

— Играть тебе не даю...

— Ерунда,— опять сказал Антип.— Мне дай волю — я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.

— Хочешь, читушечку тебе возьмем?

— Можно,— согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

— Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

— Вот еще какое дело,— небрежно начал он,— она уж старенькая стала... надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай заодно куплю.

— Кого? — Марфина спина перестала двигаться.

— Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась... Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

— Она же у тебя играет еще,— сказала она.

— Там треснула досточка одна... дребезжит.

— А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько...

— Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Сноза стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

— На.— Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

— На четвертинку только? — У Антипа отвисла нижняя губа.— Да-а.

— Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

— Эх, Марфа!..— Антип тяжело вздохнул.

— Что «эх»? Что «эх»?

— Так... проехало.— Антип повернулся и пошел к двери.

— А сколько она стоит-то? — спросила вдруг Марфа сурово.

— Да она стоит-то копейки! — Антип остановился у порога.— Рублей шесть по новым ценам.

— На.— Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно — Марфа легко могла раздумать.

Гринька Малюгин

Гринька, по общему мнению односельчан, был «чудик».

Был он здоровый парень, с длинными руками, горбоносый, с длинным, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, руки в брюки, посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось.

— Меня же все жалеют, — говорил он, когда был подвыпивши, и стучал огромным кулаком себя в грудь, и смотрел при этом так, будто говорил: «У меня же девять орденов!»

Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем — он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с молниями, намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне — просто так, «бурлачить».

— Женился бы хоть, телеграф, — советовала ему мать.

— Стукнет тридцать — женюсь, — отвечал Гринька.

Гриньку очень любили как-нибудь называть: «земледав», «бýча», «телеграф», «морда»... И все как-то шло Гриньке. Но точнее всех, пожалуй, сказал о нем дед Макар, совхозный конюх: «Ты, Гринька, так: нормальный человек оглянется, потом уж испортит, значит, воздух, а ты сперва рвакнешь, потом только огляннешься».

Вот такая история приключилась однажды с Гринькой.

Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в девять, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище — это километрах в семнадцати от города, за горой.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

...Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, квадратные.

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Только часа через три закатали ему в кузов бочки с бензином.

Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и зашел в контору — надо было оформить документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестанул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы...

Горели бочки на одной из машин, стоявших у конторы. Горели как-то зловеще бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э! — заорал он. — Куда вы?! Успе-ем же!.. Э-э!..

— Бежи — сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Гринька тоже остановился.

— Сча-ас... — негромко сказал сзади голос. — Ох, и будет!

— Добра сколько! — сказал другой голос.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина и сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак... Что тут брезентом сделаешь? Брезент...

Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость... Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

Катунь была в полукилометре от хранилища; Гринька правил туда, к Катунь.

Машина летела по целине, прыгала... Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губу, почти лег на штурвал... Крутой обрывистый берег приближался медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега осталось метров двадцать. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел — там колотились бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось метров пять. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули бочки. Взвыл мотор... Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос стремительный столб огня. И стало тихо.

Гринька встал и тут же сел — в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

— Мм... ногу сломал, — сказал Гринька самому себе.

К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал:

— Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести!

— Ногу сломал, — сказал Гринька.

— В герои лезут! Молокососы!.. — кричал толстый.

Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.

— Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера... Снял очки, трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

— Лежать теперь. Черти.

Гриньку подняли и понесли.

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин. Один ходил с «самолетом», остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки.

Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

— Слышь!.. Неужели у ты сердца нету?

— Нету, — спокойно отвечал ходячий.

— Эх...

— Вот те и «эх». — Ходячий остановился против койки белобрысого. — Я отвяжу, кто потом отвечать будет? Пушкин?

— Я.

— Ты... Я же и отвечу. Нужно мне это было. Терпи. Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Тоже надоела.

— Ты же ходишь, оглоед!.. Сравнил.

— И ты будешь.

— А чего ты просишь-то? — спросил Гринька белобрысого. (Гриньку только что перевели в эту палату.)

— Просит, чтоб я ему гири отвязал, — пояснил ходячий. — Дурней себя ищет. Так ты полежишь — и встанешь, а если я отвяжу — ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

— Не могу я больше, — заскулил белобрысый. — Я психически заболелю: двадцать вторые сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду...

— Ори, — спокойно сказал ходячий.

— Ты что, тронулся, что ли? — спросил Гринька парня.

— Няня! — заорал тот.

— Как тебе не стыдно, Степан, — сказал с укоризной один из лежащих. — Ты же не один здесь.

— Я хочу книгу жалоб и предложений.

— Зачем она тебе?

— А чего они!.. не могли умнее чего-нибудь придумать?! Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова...

— Ты и есть боров, — сказал ходячий.

— Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища, из конторы).

— Привет! — воскликнул он, увидев Гриньку. — А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь... Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! — Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати, огляделся. — Ну и житье у вас, ребята!.. Лежи себе, плюй в потолок.

— Махнемся? — предложил мрачно белобрысый.

— Завтра махнемся.

— А-а... Нечего тогда вякать. А то сильно умные все.

— Ну, как? — спросил мужчину Гриньку. — Ничего?

— Все в ажуре, — сказал Гринька.

— Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?

— А сам не знаю.

— А меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце останавливается — и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

— Я ж танкистом в армии был, — хвастливо сказал Гринька. — Вот попробуй пощекоти меня — хоть бы что. Попробуй!

— Хэх!.. чудак. Ну, машину достали. Всю в общем разворотило. Сколько лежать придется?

— Не знаю. Вон друг двадцать вторые сутки парится. С месяц, наверно.

— Перелом бедренной кости? — спросил белобрысый. — А два месяца не хочешь? «С месяц»... Быстрые все какие.

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, спрашивали про тебя... А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин, из Суртайки. Сказали, что придут сюда.

— Это ничего,— сказал Гринька самодовольно.— Я им тут речь скажу.

— Речь? Хэх!.. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.

— Ничего.

Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свиданья» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь.

Гринька некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно.— Должны же были по радио передавать.

— У меня наушники не работают.— Детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Гринька еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица; белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха!

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь — не верь,— сказал Гринька.— Какой мне смысл врать?

— Ну, и как же ты?

— Долетел до половины, и горячего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня аж дыхание остановилось.

— Трепло,—сказал белобрысый разочарованно.— Я думал — правда.

— Завидки берут, да? — спросил Гринька и стал листать журнал.— Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс — нормальный всю дорогу.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил белобрысый.

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом».

— Приходил-то? — Гринька перелистнул страничку журнала.— Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме — нельзя.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

— Генерал?! Ха-ха-ха!.. Я ж его знаю! Он же на бензохранилище работает!

— Да? — спросил Гринька.

— Да!

— Так чего же ты тогда спрашиваешь, если знаешь?

Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.

— Ой, мама родимая!.. Ой, кончаюсь!..— стонал белобрысый.

Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно.

В палату вошел встревоженный доктор.

— В чем дело, больные?

— О-о!.. О-о!..— Белобрысый только показывал на Гриньку — не мог произнести ничего членораздельно.— Гене... ха-ха-ха! гене... хо-хо-хо!..

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех... В брюках, на-

крашенная, с желтыми волосами — красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных.

— Здравствуйте, товарищи!

Смех потихоньку стал стихать.

— Здрассте! — сказал Гринька.

— Кто будет товарищ Малюгин?

— Я, — ответил Гринька и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. — Я вот здесь присяду немножко. Можно?

— Боже мой! — сказал Гринька и опять попытался сдвинуться.

Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Гринька и мельком глянул на белобрысого.

Детина начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Гринька.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Гринька, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Гринька, — я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Гринька.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так... — продолжал Гринька, затягиваясь папироской. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Гринька (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не подумала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко — так, чтоб другие не слышали, — спросил: — Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишете. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь: вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людьми. «Вон, скажут, герой пошел!» Народ же, знаете, какой... Или ничего, можно?

Девушка тихо засмеялась... А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.

— Нет, это ничего, можно.

Гринька приободрился.

- Вы замужем? — спросил он.
Девушка растерялась.
— Нет... А, собственно, что? зачем?..
— Можно, я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.
Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.
— Понимаете... я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?
— Так.— Гринька скис.
— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.
— Я понимаю.
— Где вы учились?
— В школе.
— Где, в Суртайке же?
— Так точно.
— Сколько классов кончили?
Гринька строго посмотрел на девушку.
— Пять, шестой коридор. Неженатый, между прочим. Не судился еще. Все?
— Родители...
— Мать.
— Чем она занимается?
— На пенсии сидит.
— Служили?
— Служил. В танковых войсках.
— Что вас заставило броситься к горящей машине?
— Дурость.
Девушка посмотрела на Гриньку.
— Конечно. Я же мог подорваться,— пояснил тот.
Девушка задумалась.
— Хорошо, я завтра приду к вам,— сказала она.— Только я не знаю... завтра приемный день?
— Приемный день в пятницу,— подсказал белобрысый.
— А мы сделаем! — напористо заговорил Гринька.— Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет.
— Приду.— Девушка улыбнулась.— Обязательно приду. Принести чего-нибудь?
— Ничего не надо! Меня профсоюз будет кормить.
— Тут хорошо кормят,— опять вставил белобрысый.— Я уж на что вон какой, и то мне хватает.
— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.
— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
Гринька мучительно задумался.
— Не знаю,— сказал он. И виновато посмотрел на девушку.— Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое...— Гринька покрутил растопыренными пальцами.
— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?
— Конечно!
Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь?— спросил вдруг Гринька.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухажу. Еще два вопроса... Вас зовут Григорий? А фамилия?

— Малюгин Григорий Степаныч.— Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.— Приди, а.

— Приду.— Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо.— Гринька ласково смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Гриньке.

— Как дела, герой?

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра,— попросил Гринька.

— Кто? — спросил доктор.— Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Доктор опять засмеялся.

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Гриньку.

— Придет,— уверенно сказал Гринька.— За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году ждал много,— начал рассказывать белобрысый,— так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я, говорит, непьющий, то, се— начал вилить.

Гринька смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул белобрысый.

— Спит,— сказал человек с «самолетом».— Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шebutной парень,— похвалил белобрысый.— В армии с такими хорошо.

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул.

И приснился ему такой сон. Будто он в какой-то незнакомой избе — нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых своих штанах — вышел на круг, поднял руку и сказал:

— Ритмический вальс.

Гринька, когда служил в армии, все три года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился — не смог.

И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел — у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал — стоит она в толпе и смотрит на него.

Проснулся он оттого, что кто-то негромко позвал его:

— Гриньк.

Гринька открыл глаза — на кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.

— Ты как тут? — удивился Гринька.

— Сказали мне... в сельсовете. Как же это получилось-то, сынок?

— Ерунда, не плачь. Срастется.

— И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не побежал...

— Ладно,— негромко перебил Гринька.— Начинается...

Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.

— Привезла тут тебе... Ешь хоть теперь больше. Господи, господи, что за наказание такое. Что-нибудь да не так.— Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: — Деньженок-то насколько не дали?

Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал:

— Ты чо? Ненормальная какая-то...

— Лежи, лежи... нормальный! — обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанежки и пирожки.— Изба-то завалится скоро... Нормальный.

— Все, я на эту тему больше не реагирую,— отрезал Гринька.

На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка: «Мужественный поступок». Подпись: «А. Сильченко».

Гринька прочитал заметку и спрятал газетку под подушку.

Девушка-корреспондентка не пришла. Гринька ждал ее два дня, потом понял: не придет.

— Не уважаю стилияг,— сказал он белобрысому.

Тот поддакнул:

— Я их вообще не перевариваю.

Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину:

— Стихи любишь?

— Нет,— признался тот.

— Надо любить,— посоветовал Гринька.— Вот слушай:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом?
Двадцать пять лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты.

Белобрысый слушал, нахмурившись.

— Ну как? — спросил Гринька.

— Ничего,— похвалил детина.— Это кому ты?

Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.

— Поэму буду сочинять,— сказал он.— Про свою жизнь. Все равно делать нечего.

Классный водитель

Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень — шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу... С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с

крутой ломаной бровью — не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуню, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстрянку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном газике. Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу...

— Куда?

— До Быстрянки.

— А Салтон — это дальше или ближе?

— Малость ближе. А что?

— Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука — на штурвале, левая — локтем — на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво шурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, шурился.

— Ты еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров.

— А?.. Ничего. Не трусь, дядя. Главное в авиации что? — улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

— Главное в авиации — не трепаться, по-моему.

— Нет, не то. — Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу... Свирепо посмотрел на шофера:

— Ты!.. авиатор!

Парень опять улыбнулся.

— Уважаю скорость, — признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На сев, что ли?

— Да... помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

— В сам Салтон или в район?

— В район. Деревня Листвянка. Хорошие места тут у вас.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано...

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ... что ты отработал на посевной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

— Клуб есть?— спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты... (Один лишний шофер да еще с машиной на посевной — это пирамидон, да еще какой!) Шутник ты, Егорыч.

— Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

— Имеется, Паша. Вот такой клуб — бывшая церковь!

— Помолимся,— сказал Пашка.

Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

Так попал Павел Егорыч в Быстрянку.

Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

— Жена должна чувствовать!— утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

— Правильно, Егорыч,— поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог.— Что это за жена, которая не чувствует, понимаешь.

— Если я прихожу домой,— продолжал Пашка,— так? усталый, грязный — то, се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

— А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?— замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая — я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно!— поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

...В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно веселый, яркий: в бордовой рубаше с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб.

— Как здесь наследие... ничего?— равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

— Ничего,— ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?— обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

— Ничего.— Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего его, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что за дивчина?— спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

— Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку...

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделять такого черта, что некоторые даже перестали танцевать—смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули... А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу кое-что. Умел когда-то».

Настя покраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты!— весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

— Откуда ты такой?

— Из Москвы,— небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображалы.

— Ваша серость меня удивляет,— сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка был серьезен.

— Вы мне нравитесь,— сказал он.— Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты.— Настя в упор посмотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахала. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

— Тут забегаловки нигде нету близко?— спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали... смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили?

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развел?— спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете сейчас ни за что... Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурочек... Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и, что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует,— сказал он и поправил фуражку.— Где он?

— Кто?

— Инженеряшка.

— Его нету сегодня.

— Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

— Поговорим, как желтмены...

— Боже мой,— вздохнула Настя, и поднялась, и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед... Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуше прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагональные синие галифе, бостоновый пиджак — и появился в здешней библиотеке (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал).

— Здравствуйте!— солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя и у стола сидел молодой человек, смотрел «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги — на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених Насти.

— Почитать что-нибудь?— спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите?— Настя невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень отложил «Огонек» и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

— Как ваша фамилия?

— Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно, искоса разглядывал ее. Потом оглянулся... Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся... и подмигнул ему.

— Крессвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся, что ответить.

— Да... А вы, я смотрю, глубже берете.

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы,— сказала Настя.

— Ну?!— Гена искренне обрадовался.— Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

— Спасибо,— сказал он Насте. Подошел к столу, брякнул толстый том, протянул Гене руку.— Павел Егорыч.

— Гена. Очень рад!

— Москва-то?— переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.— Шумит Москва, шумит...— И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил:— Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков — так рисуют всегда...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то?— Пашка перелистнул страничку журнала.— А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили!— изумилась Настя.

Пашка глянул на нее.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно,— сказала Настя.— Значит, мне приснилось.

— Бывает,— согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.— Вот пожалуйста — очковтиратель,— сказал он, подавая журнал Гене.— Кошмар!

Гена улыбнулся.

— Вы на посевную к нам?

— Так точно.— Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это.— Сыграем в пешки?— предложил он инженеру.

— В пешки?— удивился инженер.— Может, в шахматы?

— В шахматы скучно,— сказал Пашка (он не умел в шахматы).— Думать надо. А в пешечки — раз-два, и готово.

— Можно и в пешки,— согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и подседа к ним.

— За фук берем?— спросил Пашка.

— Как это?

— За то, что человек прозеваает, когда ему надо рубить, берут пешку,— пояснила Настя.

— А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске... Взял две, спрятал за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет.— Ходил первым Пашка.

— Сделаем так,— начал он, устроившись удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое.— Здесь курить, конечно, нельзя?— спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— По — что? — нятно! — Пашка пошел второй.— Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

— погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь!

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

— Вон той, Гена, крайней,— опять не стерпела Настя.

— Нет, я не могу так!— возмутился Гена.— Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься-то? Вот чудак.

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно,— встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте. Настя покраснела.

— Ну, и проиграешь сейчас. Принципиально.

— Нет, зачем?.. Тут еще полно шансов сфотографировать меня,— снисходительно сказал Пашка.— Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл,— с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом!— обиделся Гена.— Нельзя же так в самом деле. Отойди!

— А еще инженер.— Настя встала и пошла к своему месту.

— Это уже... неостроумно. При чем тут инженер-то?

— Боюсь ему понравится-а,— запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол,— к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим?— предложил Пашка.

— Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

— Не понимаю: что за натура? Во все обязательно вмешивается.

— Ничего,— неопределенно сказал Пашка.— Давно здесь?

— Что?

— Я, мол, давно здесь живешь-то?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

— На ней? Да. А что?

— Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, конечно.— Пашка небрежно прихватил губами сигаретку — в уголок рта, сощурился, заложил ладони за пояс, коротким, быстрым движением расправил рубаху.— Может, в кинишко сходим?

— А что сегодня?

— Говорят, комедия какая-то.

— Можно.

— Только это... пригласи ее...— Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

— Ну а как же!— тоже серьезно сказал инженер.— Я сейчас зайду к ней... поговорю...

— Давай-давай.

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

...В кино сидели вместе все трое. Настя — между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять... Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

— У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене:

— Дай я пересяду на твое место.

— Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову!— распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

— Теперь ничего?

— Ничего,— сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закучерявились синие облачка. Настя толкнула его в бок:

— Ты что?

Пашка погасил папироску... Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

— Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил... Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный?— спросил Ермолай.

— Да так...— сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил:— Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это?— не понял Ермолай.

— Ну как раньше?.. Раньше ведь воровали?

— А-а. Черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это конечно. Я так просто,— согласился Пашка. Еще немного помолчал.— И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

— В жизни раз бывает восемна-адцать лет,— запел он вдруг.— Его-рыч, на свою рубаху. Сэнк ю!

— Чего вдруг!

— Так.— Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, одел свою...
 Постоял посреди комнаты, еще подумал.— Сфотографировано, Егорыч!
 — Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть? — спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка пошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои,— сказал Пашка.

— Кто свои?

— Холманский.

— Командировочный, что ль?

— Ну.

В круг света вышел дедун сторож в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет,— сказал дед и зевнул.— Спать клонит в дождь.

— А ты спи,— посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай-давай.— Старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя — у самой реки, над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ...вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так,— негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

«Только бы собаки не было».

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

«Ну, Пашка... или сейчас в лоб получишь, или...»

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Он весь день сегодня пел эту песню, с самого утра.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в протенке. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?» — возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света

поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что?— спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку — какой-то отчужденный.

«Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна... Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубашке».

Настя наклонилась на подоконник... Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

— Додумался?— сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался,— думал Пашка.— Сейчас будет цирк».

— Ноги-то вытри,— сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую... Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

— Ох,— глубоко вздохнула Настя.— Что ж ты делаешь? Шальной...

Пашка начал ее целовать... И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет... Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке... Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же — на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели... У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру»,— невольно подумал Пашка.

— Сейчас же убирайся отсюда!— негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать — не из таких.

— Побеседуем как желтмены,— заговорил Пашка, закуривая.— Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость.— Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице — от окна к столу и обратно.— Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедем со мной. Будем жить в городе.— Пашка остановился... Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил. Она поняла это.

— Какой же ты дурак, парень,— грустно и просто сказала она.— Чего ты мелешь тут?— Она села на стул.— Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!..— Настя странно как-то заморгала, отверну-

лась. Пашка понял: заплакала.— Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю?— Настя резко повернулась к нему — в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть по-серьезнее, поглубже — так не его.

— Чего ты плачешь?

— Да потому что вы только о себе думаете... эгоисты несчастные. Он любит!— Она вытерла слезы.— Любишь, так уважай хоть немного, а не так...

— Что же я такого сделал? В окно залез — подумаешь! Ко всем лаяют...

— Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже... весь выдох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

— Как уезжать? Куда?— Пашка понял, кто этот дурак.

— Куда... Спроси его!

Пашка нахмурился.

— На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала.

Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

— Собирайся!— приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

— Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

— Сиди уж... не трепись.

— Послушайте, вы!.. Молодая, интересная...— Пашка приосанился.— Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит — не трепись?

— Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая...

— Наплевать. Одевайся. На кофту!

Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности... Пашка опять заходил по горнице.

— Из-за чего же это он приревновал?— спросил он не без самодовольства.

— Танцевали... ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

— Что же ты не могла ему объяснить...

— Нужно мне объяснить! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

— Считаю до трех: раз, два... А то целоваться полезу!

— Я те полезу! Что ты ему скажешь?

— Я знаю что!

— А я к чему там?

— Надо.

— Да зачем?

— Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли...

— Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас...

Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу.

Полуторка ворчала на хозяина.

— Садись, ревушка-коровушка... Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая нежданная роль нравилась.

Настя залезла в кабину.

— Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

— Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем...

— Ну до чего ты, Павел...

— Что?— строго спросил Пашка.

— Ничего.

— То-то.— Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.

...Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.

— Кто это?

— Я.

— Кто я?

— Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, впустил Пашку... Не скрывая удивления, уставился на него.

Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

— Грустные стихи сочиняешь?

— Я не понимаю, слушай...

— Поймешь.— Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги.— Любишь Настю?

— Слушай!..— Инженер начал краснеть.

— Любишь. Значит так: иди веди ее сюда — она в машине сидит.

— Где? В какой машине?

— На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: «В жизни раз бывает...» В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся... Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

— Все?— спросил он.

— Все,— ответил инженер.

Настя улыбнулась.

— Вот так,— сердито сказал Пашка.— Будьте здоровы.— Он пошел к выходу.

— Куда ты? Погоди!..— запротестовал инженер.

Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подсунил под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виновата».

Пашке было грустно. Он непрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игринево, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками. Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

— До Салтона подбрось, пожалуйста!— Офицер был чем-то очень доволен.

— Садись!

Девушка залезла в кабину и начала вертеться, отряхиваться... Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку — хорошенькая, белозубая, губки бантиком — прямо куколка! Но до Насте ей далеко.

— Куда это на ночь глядя?— спросил Пашка.

— В гости,— охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины — опять говорить со своим дружкой.— Саша? Саш!.. Как ты там?!

— В ажуре!— кричал из кузова лейтенант.

— Что, дня не хватает? — опять спросил Пашка.

— Что? — Девушка мельком глянула на него и опять: — Саша? Саш!..

— Все начисто повлюблялись, — проворчал Пашка. — С ума все походили. — Он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом — чужая. И эта чужая.

— Саша! Саш!..

«Саша? Саш! — съехидничал про себя Пашка. — Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас — вперед машины побежит».

— Я представляю, что там сейчас будет! — кричал из кузова Саша. Девушка так и покатила со смеху.

«Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», — сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

— Саша! Как ты там?!

— Порядок! На борту порядок!

— Скажи ему — там под баллоном брезент есть — пусть накроется, — сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

— Саша! Саш!.. Там под баллоном какой-то брезент!.. Накройся!

— Хорошо! Спасибо!

— На здоровье, — сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

11

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гетеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу — личное счастье, для которого создан человек, невысказанно без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом.

Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях — было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить и мечтать. Меня поразила ее популярность — многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского актера Карла Гергарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал, — восклицал он, — обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом...»)

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 1 с. г.

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилиитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарищ Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом социального обеспечения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, подготавливала декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1924 года по 1946 Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестьдесят лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах...

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посольстве все вместе — сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван-Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась: «Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчишки? После Толстого, Достоевского, Чехова...»

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно...» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать — я знаю...» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве...»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие» — такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков — хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить. Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через швед-

скую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, трети возмущались.

Газета «Гетеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гетеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — «Стокгольмс тиднинген», «Гетеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегнер, редактор распространенной спортивной газеты «Идроттсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гетеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андерс Эрне. Он опубликовал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвил्यान» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гетеборгс хандельстиднинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят...»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайтесь на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно...»

Пять лет спустя после конца войны я попал в Швецию. Был я и в Гетеборге, и в газете «Гетеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял,

что там, где все решает политика, память — обременительный предрас-судок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Меером, со многими другими. Я понял, что нор-вежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный теат-ральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеры, исчезают — все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подхо-дил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сня-ли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях. А когда порой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр...

12

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С. И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места — победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходяв-шие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванны-ми боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннущими ресни-цами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне — невольно задумываешь-ся: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве — нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами — макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь — засыпаю...» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я гляжу — кругом фрицы... Даже не знаю, как это мне в голову пришло, наверно с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут...» А они руки подняли...»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Коман-

дир роты говорит: «Иди в дом — простынешь». А старшина отвечал: «Мне и не холодно — злоба отогревает...»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый — седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите — мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо, — могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова...»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был молодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить — он стоит того, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость — это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам... Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится — война есть война. Но видите ли, насилие, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное...» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался: «Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штрома были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая история!.. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельникова, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру — имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций... Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот — генерала Кейтеля, Кейтель — фюрера. Цепочка, на ней Германию ташат в пропасть...»

Мы пробирались дальше и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку — хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать — номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вожделений — консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего — немцы побросали, а мы вечером подобрали...» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете — разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил...» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!..» Мальчик упрямо повторял: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из

шоколада...» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу» — и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя — «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Шиграх «курсы для полицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулингу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость... Я никогда не отличался практичностью...» Он начал всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют...» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» — я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить — я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы...»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы перед тем, как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище — длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площади повесили шесть женщин — за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой...» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов: «Вы прически сделали под немецких куколок, красками намазались, вертитесь юлой, а вернутся соколы — не помогут локоны, и пройдет с презрением парень молодой».) Замучили братьев Русановых...

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать, — дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться — было четыре часа. Еды у нас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был скорее плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что, как только рассветет, пойдет искать жильё. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное — задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы — Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался — оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Косаржей и Золотухином я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испыты-

вал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел примириться с судьбой, хотел нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел — он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натощак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Недавно после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значит: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке — сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым. «Прибыли в Топаз, выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор», «Выехали в хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» — так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» — были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генерал-майору Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» — полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резко отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился только, получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью — впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходявшие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий — трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев, итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком — он донес, что в подвале прячутся две старухи еврейки, вошел в доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он го-

ворил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы — бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки?..»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню названия, какая-то француженка... Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыжала таких слов. Вот и растрогалась... А теперь — расплата...» Она жадно глядела на меня — искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима — моя любовь»: молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бреют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу — Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетники. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя — вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело. Я знал, что население узнало всю меру страданий — нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было — они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», — сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца — об этом потом мне рассказали в горсовете). Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне не похожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» — «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток». Иван Дани-

лович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клещей». Мы у них кое-чему научились...» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это скорее конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я скорее верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины...» При следующей встрече он заговорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали... Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории — конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться...»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика — не теория, а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий...»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать: «Нас водила молодость в сабельный поход...» Смеялся: «Если разобратся, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории... Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают — тоже поэзия...»

На войне Черняховскому неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору...» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями...

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бой на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти... Ноги по колено оттопаем... А письмо я вчера получил, бог ты мой!..» Я заснул, так и не дослушав, о чем было то письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем?..

13

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь: я поздно приезжал из «Красной звезды» — в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то же

время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многие предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло; но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом — время было неподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции, — Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверно, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», я встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда я начал работать в «Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал, — в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись; все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты Рахмаинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет кибернетики. В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михозлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном — не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью; теперь на Западе в моде состязания — человеку ставят публично неожиданные вопросы: в каком году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисления и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающиеся провозжат смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не означает, что их можно назвать про-

свещенными. Память у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его заинтересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански» — и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно, считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жан-Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задохнуться. Иногда он не выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступить от шаблона — и влетело...» «Пуще всего боятся «новшеств», инициативы...» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся — вдруг какой-нибудь иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо... Европа разорена, а американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жець, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите... Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии...»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького — должны нравиться...» В другой раз мы заговорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала... Почитайте такому товарищу стихи Шекспира по-английски, он скажет: «Галиматья, сумбур вместо поэзии...» Помните слова Сталина об опере Шостаковича?.. А еще есть Жданов... Причем их вкусы обязательны для всех...»

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексики в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на latinoамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай — человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственный пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы — с 1936 по 1940. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил Е. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор книги памфлетов, и

Гнедина посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди — он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма...

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «...Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М. — инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался»... Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, ободрить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие провожать Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего...

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Уманского Б. Е. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в ней не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году — в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним стало бы дальше: в дело вмешалась судьба — несчастный случай или диверсия — отказал мотор, отказала любимца Константина Александровича — жизнь.

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменялось — началось освобождение нашей земли от

захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы — это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Годы войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реляции, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла», не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант войдет с нами в Киев», не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу...» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы — все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на крутом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события, — ничего не поделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запомнил другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие — автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, названия деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие — новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами и беседками. Кругом было много деревьев, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди. В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвостовичи...

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Корол, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Добрянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горностаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красилровка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж...

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с по-

двигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые...» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался — я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал...» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото — ничего особенного, а по-моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла — не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успела выбраться, а как ее найдешь?.. Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего убьют, воюю с начала, два раза был ранен — выкарабкался. В общем, это не главное... У меня такое в голове, что смешно сказать: будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин...»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразила нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека...» Я больше не встречал генерала Мартиросяна. В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял.

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона четвертой гвардейской бригады полковник Бибиков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тащинцами, особенно со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбоймом. Встречался я с тащинцами в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тащинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмил писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь — и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня были четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка...» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горевших танков — словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шяуляй сотрудник горфинотдела; жена его Антонина Васильевна работает на эпидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «...Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны — обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?..»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне написал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша — это любимец и герой всего нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, но выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб...» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пи-лорамщиком. «Стала болеть раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца... В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался... Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы вы приехали ко мне в гости...»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любованье. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала — видно, солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шуре было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал — застрелил...» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья на дороге в Обухов я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек — стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Маляя Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепуренко рассказывал, как его пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу евреев. Чепуренко вдруг услышал — его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валечной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!..» «Живыми зарывали, земля ходила», — рассказывала женщина.

Я видел предателя-старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул...»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она... Идет, а не видит. Да и я надорвалась, гляжу и не вижу. Да разве можно так жить?» У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет — наша берет, — рассуждал старик, — на Покрова малина — это на жизнь...» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего...»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост — восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец путается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К. Полонского и тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила: «Ты напиши — жить мы не сможем — душа не выдержит...» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего — жгли не от злобы, а деловито — выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» — он залез в скирд, — закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музалевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду теребил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать — и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик. В Корючкове священник пошел к немцам с крестом — просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие — что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень...»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, дострою... Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьев у них поубивали, а жить нужно...»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался — днепровская вода, такой другой нет...» Вечером мне рассказали, что он погиб — только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны.

В 1943 году я раза два или три ходил на собрание московских писателей. Тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу, а ее отстоять — язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой — каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил». «Напишите про Хакимова — может, родные прочитают». «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира — случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изо дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все — о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и не похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом... «Я запомню, как последний дар, этот сердце леденящий жар, эту ночь, похожую на день, и средь пепла горестную тень. Запах гари едок, как беда, не отвяжется он никогда, он со мной, как пепел деревень, как белесая больная тень, как тифозной бредовой беды, красные и черные скирды, как огрызок вымершей луны средь чужой и новой тишины»...

Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств. «...Мой век был шумным, люди быстро гасли, а выпадала тихая весна, она пугала видимостью счастья, как на войне пугает тишина. И снова бой. И снова пулеметчик лежит у погоревшего жилья. Быть может, это все еще хлопочет ограбленная молодость моя?»

1943 не походил на 1941 — понемногу все становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое? «Было в жизни мало резеды, много крови, пепла и беды. Я не жалею на свой удел, я бы только увидеть хотел день один, обыкновенный день, чтобы дерева густая тень ничего не значила, темна, кроме лета, тишины и сна».

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине: «Был час один — душа ослабла: я видел Глухова сады и срубленных врагами яблонь уже посмертные плоды. Дрожали листья. Было пусто. Мы постояли и ушли. Прости, великое искусство, мы и тебя не сберегли!» Много лет спустя редактор моей книги, дойдя

до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хорошо, не сберегли искусство, но сберегли другое...» Да, но и много, очень много потеряли. Почему я вспомнил про искусство? Да потому что яблоноу нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой дикость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя): «Скажи, здесь тоже жизнь была, дома в горячей зелени? Молчат и небо, и зола, и картузы расстрелянных. И лишь повешенный суров, как некий важный маятник, отмеривая ход часов, без усталости качается...»

Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой: «По рытвинам, среди мусора и пепла, корова тащит лес. Она ослепла. В ее глазах вся наша темнота. Переменились формы и цвета. Пойми — мне жаль не слов — слова заменят, мне жаль бывших высоких заблуждений. Бывает свет сухих и трезвых дней, с ним надо жить, он темноты темней».

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он достигнет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца: «Были липы, люди, купола. Мусор. Битое стекло. Зола. Но смотри — среди разбитых плит уж младенец выполз и сидит, и сжимает слабая рука горсть сырого теплого песка. Что он вылепит? Какие сны? А года чернеют, сожжены. Вот и вечер. Нам идти пора. Грустная и страстная игра».

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть многого — ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой недавно написал Солженицын, ни «убийц в белых халатах». Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля, Игорь Иванович, которому нет и пятнадцати лет... Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался — с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, я отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни — человек со всем может расстаться, только не с надеждой.

Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты — словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и

шишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдгара Манэ»... Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груды генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых...» Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить скорее на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». «*Op va battre les Fritzs à Minsk et à Biargritz*» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал проследился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы»... И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позументами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?..» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!..»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно не к чему...» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАССа, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан — дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог с шестьюдесятью девятью свечами — по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавились всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним — остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули звезды первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам — лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гит-

лера — бояться Красной Армии. Майский рассказывал мне, что де Голль считает себя новой Жанной д'Арк, но англичане с ним не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считал, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака — боится советских побед».)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустинка», и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и неуклюжая еда, и простота, порой переходящая в фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы — разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда вас приглашают в посольства, спрашивайте... А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллеса; он сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но что пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды», «Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом меня попросило Совинформбюро написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я написал Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять. Я возражал. Щербаков рассердился и перевел разговор на другую тему — похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне...» Потом я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспон-

денций Лидина почему-то рассердила Сталина.) А Щербаков усмехался: «Вы многого не понимаете...» Я огрызнулся и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны — значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю, — сказал Щербаков, — буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства сказал: «Теперь не сорок первый...»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали. «Правда» обрушилась на Платонова: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о драконе, о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил насквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова он осмелился сказать, что поэт тяготил мундир николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград...

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года — в редакцию пришли сотрудники ГБ, при всех срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали...» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. (Недавно я встретил Н. Н. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.)

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: «Смыть».)

В конце 1943 года в Магадате вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказывал, что мальчиков надо сызмальства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. (Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было

отменено.) Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две или три лиры — в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна. Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые тащили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствия было в обрез, и люди сокрушались: «Опять не отварили по карточкам крупу...» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно — подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься, да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все.

В декабре умер Ю. Н. Тынянов. Болел он долго, но не оставлял работы над «Пушкиным». Я в жизни недостаточно с ним встречался, или, вернее, когда мы встречались, разговор по большей части шел мимо того, что волновало Юрия Николаевича и меня. А между тем его «Кюхля» и «Вазир-Мухтар» были событиями в моей жизни. Он писал всегда о прошлом, но то, что он писал, следует назвать исповедью поколения: это было и о прошлом и о нас. Был он человеком мягким, добрым даже в злых замечаниях, умел глядеть, умел и думать, а для этого в тридцатые годы требовалось много душевной силы. Теперь все понимают, что Тынянов был крупным писателем, гуманистом, по-новому осветившим гармонию, радость, сложность Пушкина. А в газетах не было даже сообщения о смерти Юрия Николаевича. Хоронили его очень скромно: гроб был с розовыми оборочками, бумажные цветы...

В 1943 году впервые показались те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимание на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма — кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справедливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова открывает огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна, даже не ордена, а память о невернувшихся, неиссякающие слезы — эта живая вода народной совести.

16

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антигитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили — генерала Жиро. Де Голль предпочитал себя. Во Франции его сторонники не хотели договориться с партизанами — фран-тирерами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Бадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых — Армии крайовой и левых — Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал: меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравится в Англии — и хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров...» Керр был хорошо воспитанным скептиком, он не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?..»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготавливал замысловатые трубки и продавал их любителям. Его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок — старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог подарить судьбу или Черчиллю. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто

это ракета салюта. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности...» С чем он меня поздравлял, я не знал, но в свою очередь я улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англичан?..» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Иден так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Иден поспешно улыбнулся: «Это шутка. Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов...»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно — там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов...» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы — посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горс, генерал Пети — частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан-Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области; рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда — русские не допустят повторения!..»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове — на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», а к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери — в прошлом ультра-левый — по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходивших в Лондоне. После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи — для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали — их страны не знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах — у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворд восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворд вспо-

минал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образуют англичан. Они хотя бы гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы — микстуры не помогут, нужна хирургия...»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну — Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца...» Меня провели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо...» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил мой долг и перешел на сторону Красной Армии...» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический, — чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он — председатель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его жена, милая, очень живая французенка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он напомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обречена...» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение — в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся — Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы — один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы — сочетание монументальности с движением, нравился и человек — он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов в Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии — чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты — Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну — был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начинаясь «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее...»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник — заведующий отделом печати. После пресс-конференций каждый старался обогнать других и первым прорваться к окош-

ку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент проколол покрывки на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы... Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед... Почему Сталин решил меня погубить?..» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло — его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись в Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?..» А Кессиди ходил именовником, показывал всем подпись Сталина под ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин...»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба, и не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?..» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколькими днями спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич загорхотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся и взял, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, я отдал самопишущую ручку «ваттермана». Взял, подлец...» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова: «американская помощь»...)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее — раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались все яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из «легиона», организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбле (о генерале я узнал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на правом берегу: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы — не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения — «в минуту слабости согласился», третий ссылался на «загадочные пути судьбы», четвертый приговоривал: «Я глубоко штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флер де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика...» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказывали, что эльзасцы ночью избили «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда

шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандия». Под Березиной было его боевое крещение, и вот он погиб... Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, один сказал с презрением: «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»... Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее — иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политики, а народы — они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкорв я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» — он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдать, и, увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук, тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска я не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск — вокруг бродили немецкие дивизии.

17

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздалась взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы — вытаскивали мины; успели спасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника — мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска, поэтому трудно было проехать в город — на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», — сказал мне один танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград — это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучались, строили, и вот — щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь — просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске — погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка — повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, дома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался:

люди ужинают, спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не дал свободы. Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество, и внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армии генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел — мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытались прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получают, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете, кого писать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать?..» Я не успел ответить — раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытаюсь прорваться на запад.

Я поехал на запад в Раков, в Ивенец и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо...» Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне — Германия вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, обхваты — достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам...» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных) говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все перевернулось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильнюсу. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?..» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик — смертельно раненная ворона, долетев, упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев я встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск: «Мы не по дорогам шли — лесом, болотами, смешно сказать — где толь-

ко заяц бегают. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись...»

Стояли очень жаркие дни, дожда давно не было, и плотные тучи удушающей пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов... Убили то есть буквально накануне — второго числа — соседи видели...— Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску.— Пыль-то какая!..— Потом тихо добавил: — Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет...» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть — к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел старый, тихий среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца; поджегал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучали. В Дорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?..»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем — осталась она одна, хочет попрощаться с товарищами Паши...» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных привозили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовали — кузов опрокидывался, сбрасывая тела удушенных; новые машины именовались «гекнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Трестинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизии генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет, как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных он мне сказал, что идеи,

которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести...» — «А почему вы переделались?» — «Не хотел унижить звание — немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа — против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиафами...» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше...» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками...» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое — он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили...

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену, кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Заукен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов... Я ничего не могу с собой поделаться: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных — гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев — стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?.. С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат — он воевал в первую мировую войну, — говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор — сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали...» Видят, что немцы понаделали, и торопятся — кончат пора...»

Картины менялись, и картина оставалась той же: по-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов; чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплагц» («Площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах

фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» — плюнул и крикнул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми — не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело, как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!» В этот день наши танкисты были уже далеко — прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавшие, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без голы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались — мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирается не в одних военных операциях, но и во многом другом — в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно — дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало — они выбивают немцев из пригородной роши. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе многие солдаты прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите — они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки...»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году — я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, я охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было — и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу святой Анны. Павленко рассказал — Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан: помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рас-

сматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг он сказал: «Дождь... Давайте-ка пойдем — у меня бутылка французского коньяка...»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеялся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю — никто толком не знает, одни говорят сто, другие полтора. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет...»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя студентками — Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары — там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то они уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили...» Его замучали. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роше начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями: выглядели люди страшно — просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались — самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии — группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги — польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать — и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучался человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не капывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?..

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно. Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан-Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене,— и, суеверно понизив голос, добавил:— Кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию...»

Россия рано вошла в мир Жан-Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, я вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны двадцатилетний Ж.-Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на Съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране — достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А. Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан-Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят...» «Да что ее,— добавлял смеясь Алексей Николаевич,— он меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное — сводки, хлеб не убран, люди повесили нос — словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается...»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан-Ришар захворал; пришел врач и ужаснулся, мне позвонили: «Истощение на почве длительного недоедания...» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан-Ришар мучительно-переживал вынужденную разлуку с родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те годы был грохот бомб и молчание; Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими — с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтескье, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз — для других и для себя...»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке...» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться...»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он

вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ, о котором упомянул Жан-Ришар Блок, меня огорчил, но я жил тогда одним — разгромом фашизма, и все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан-Ришар успел и написать хороший роман «...и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс. Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан-Ришар, профессор французского института, отец трех детей, эрудит и гуманист; искуством кваттроценти он любовался не как воришка, прокрадывшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой, испытанием — он должен был для себя решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан-Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой — он знал, что Роллан из своего швейцарского издалека рассуждает правильно; но знал и другое — немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен — на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан-Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Роллану про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это — главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только гибнуть, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан-Ришар — романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами, — эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жан-Ришара Блока видели в эссе возможность объединить обо-

стренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучали Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. В разговоре со мной они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным...» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступив в партию много позднее, называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение: «Снова рабочий Калибан и музыкант Марсий — хранители подлинной культуры. Им нужно быть зорким, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия... Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством... Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится религией...» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции — я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники — без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание,— мне хотелось показать Жан-Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго — видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления...» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан-Ришар снова жил, как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан-Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве»,

о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевроном и Валлоном выступил в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье — это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жан-Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал. Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан-Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан-Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он почти каждый день выступал на митингах — надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва—Париж», правил корректуру и в марте 1947 года скоростижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан-Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель законченных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении... К счастью, у писателей есть другое назначение!» В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических форм, которая обозначилась в речи Жданова: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие — летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие, что Мюнхен — измена, что нельзя жить под игмом фашистов, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои — на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жан-Ришара, по ней я вижу, что в 1932 году он меня рассматривал как друга. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан-Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сблизало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан-Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников...» Он не был слепцом. В книгу «Москва—Париж» он включил статью «Илья Эренбург — наш

друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислил некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства — как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства «чудовища Пикассо»! Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо — большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Как-то он услышал в трамвае разговор о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент». Он спокойно ответил, что во время процесса Дрейфуса он был школьником и давал пощечины будущим фашистам. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой? Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается... После его смерти газета «Се суар» продолжала выходить, и в феврале 1953 года в этой газете в связи с арестом московских врачей печатались статьи Поля Эрве (который тогда был коммунистом, а несколько лет спустя стал обличать «безнравственность коммунистической партии») — статьи, напоминавшие известные «протоколы сионских мудрецов», фальшивку, сочиненную одним из предтеч Гитлера. К счастью, Блок этого не увидел.

Чем он утешался в часы, когда ему становилось невольно? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненый, в полевом госпитале он начал переводить Гёте. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта — приращенное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан-Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж.-Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

(Окончание следует)



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С аварского

Строфы о собраниях

Собрания! Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.

Взлетает самолет, пыхтит состав,
Служильный люд спешит на заседания,
А там в речах — каких не косят трав,
Какие только не возводят здания!

Сидит хирург неделю напролет,
А где-то пусты операционные,
Неделю носом каменщик клюет,
А где-то стены недовозведенные.

Неделю заседают пастухи,
Оставив скот волкам на растерзание.
В газетах не печатают стихи:
Печатают отчеты о собраниях.

Стряслась беда, в селенье дом горит.
Клубами дым восходит в высь небесную,
А бранд-майор в дыму собранья бдит.
Бьет в грудь себя и воду льет словесную.

В конторах важных чуть ли не с зари
Сидят пред кабинетами просители.
Но заняты весь день секретари.
Доклады им готовят заместители.

Езжай домой, колхозник — мой земляк,
Ты не дожدهшься проявленья чуткости,
Не могут здесь тебя принять никак —
Готовят выступление о чуткости!

Собранья, о натруженные рты,
О словеса ораторов напористых,
Чья речь не стоит в поле борозды,
Не стоит и мозоли рук мозолистых.

Пошлите в бой — я голову сложу,
Пойду валить стволы деревьев кряжистых,
Велите песни петь, и я скажу
То, что с трибуны никогда не скажется.

Хочу работать, жить, хочу писать,
Служить вам до последнего дыхания...
Но не закончил я стихов опять:
Пришли ко мне — позвали на собрание!

Песня, которую поет мать своему больному сыну

Наполняй весь дом табачным духом,
Пей бузу. Вина захочешь — пей,
Можешь не жалеть меня, старуху,
Только выздоравливай скорей...

В край далекий уезжай, сыночек,
И оттуда писем не пиши,
В жены выбирай, кого захочешь,
С городскими вдовами греши!

Я тебя баюкала когда-то,
Согревала на груди своей,
Пей вино, кури табак проклятый,
Только выздоравливай скорей!

Моим редакторам

В своей груди, как месть заветную,
Я нес тепло и холод строк.
Я песню, как любовь запретную,
От взглядов пристальных берег.

Я, слабую, ее выхаживал,
Ловил ее далекий крик,
Я рифмы звонкие прилаживал,
Как шестеренки часовщик.

Из множества — одно созвучие
Старался выбрать для строки.
Так в кладовых для гостя лучшие
Мы выбираем бурдюки.

Я слово выбирал крылатое —
 Так среди тысячи одну
 Высматриваем мы и сватаем
 На веки вечные — жену.

Я ночью отправлялся в странствия
 И краски тасовал с утра,
 Как женщины табасаранские
 Цветную пряжу для ковра.

Могли другие петь умелее,
 Я, к сожаленью, не умел.
 Не знаю, достигал ли цели я,
 Все то сказал ли, что хотел.

Но пусть стихи плохие самые —
 Вся жизнь моя в словах моих.
 Зачем же вы, редактора мои,
 Стараетесь улучшить их?

С моими отпрысками справиться
 Чужим отцам не по плечу.
 Скажите, что вам в них не нравится?
 Им сам я уши накручу.

* * *

Опять нас разлучили расстоянья,
 Мой друг не пишет писем, и опять
 Я сочиняю сам себе посланья,
 Которые он мог бы мне прислать.

Меня соседи обступают кругом,
 И я припоминаю до одной
 Все строки, не написанные другом,
 Бесхитростно придуманные мной.

* * *

Я порой один бреду по свету.
 Пыль и пыль, и рядом ни души.
 Но идут любимые поэты
 И со мной беседуют в тиши.

Ну а вы, кому не нужно слово,
 Где берете силы, чтоб нести
 Одиночество в краю суровом.
 Тяготы тяжелого пути?

* * *

Горит очаг, над саклей дым кривой,
 Но в стенке дома трещина — с иголку,
 И ветер с буйволиной головой
 Морозит дом, влезая в эту шелку.

— И у того, кто весел целый век,
Бывает сын задумчивый и грустный!

— Ты объясни мне, грустный человек,
Откуда лад твоих веселых песен?

— И у того, кто грустен целый век,
Бывает сын и радостен и весел!

* * *

Я не ложусь один; ко мне на грудь,
Как женщина, склоняется тревога.
То радость, то печаль спешат ко мне прильнуть.
И страх, как пес, ложится у порога.

Я не один встаю в начале дня.
Сначала просыпается тревога,
Встают печаль и радость до меня,
И страх уже скребется у порога.

* * *

Если ты андиец, друг,
Мир порадуй буркой царской,
Глину мни, крути свой круг,
Если ты гончар балхарский.

Человек, цени свой дар,—
Не меси, андиец, глины,
Шерсти не кромсай, гончар,
Чтобы вылепить кувшины.

* * *

Плод бессонниц моих и забот,
Книга — вот я беру тебя в руки.
Так, наверно, ребенка, рожденного в муке,
Мать впервые на руки берет.

Чем ты будешь, концом или славой?
Я держу тебя перед собой.
Так солдат гимнастерки обрывок кровавый
Поднимает как знамя — и в бой!

Перевел Н. Гребнев.



СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

НОЧЬЮ

В сиянье звезд на землю ночь спустилась,
Ее прохладой росной утоля.
Угадывая время по светилам,
Летит по кругу вечному Земля.

Сегодня спится что-то мне не очень.
Одеться бы, да некуда пойти.
Открыл окно, вдыхаю свежесть ночи
Невдалеке от Млечного Пути.



ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

★

ДВА РАССКАЗА

Хочу быть честным

1

Кажде утро без четверти семь на моем столе звонит будильник, напоминая мне о том, что пора вставать и идти на работу. Ни вставать, ни идти на работу я, естественно, не хочу. На дворе еще ночь, и забрызганное дождем окно едва видно на темной стене. Я дергаю шнур выключателя и несколько минут лежу при свете, испытывая первобытное желание чуточку подремать. Потом опускаю на пол ноги — сначала одну, потом другую. С этого момента начинается медленный процесс превращения меня в современного человека.

Сначала я сижу на кровати и, бессмысленно глядя в какую-то неопределенную точку на противоположной стене, почесываюсь, вздыхаю, широко раскрываю рот. Во рту противно, в груди клокочет — должно быть, оттого, что я слишком много курю. Болит сердце. Вернее, не болит, просто я чувствую его. Кажется, что под кожу вложили круглый булыжник. Если бы кому-нибудь со стороны посчастливилось наблюдать меня в эту минуту, я думаю, он получил бы немалое удовольствие. Вряд ли на земле бывает что-нибудь более нелепое, чем мое лицо, моя фигура и та поза, в которой я нахожусь в это время. Потом я начинаю шевелить босыми пальцами, развожу в сторону руки и делаю другие манипуляции, отдаленно напоминающие гимнастические упражнения. На полу под батареей лежат гантели, которые я купил в прошлом году. Они покрыты толстым слоем пыли и кажутся большими, чем на самом деле. Я давно уже ими не пользуюсь, и то, что они покрылись пылью, меня несколько оправдывает — не хочется пачкать руки. А когда-то я умел и заниматься гимнастикой, и выбегать на улицу при скатке, автомате и всей другой амуниции через три минуты после подъема. Старшина Шулдыков, который первым учил меня этому, говорил, бывало:

— Вы у меня и на гражданке будете за три минуты вскакивать. Я вас этому научу. Это моя цель жизни.

Если другой цели у него не было, можно считать, что жизнь старшины Шулдыкова прошла совершенно бесследно.

Размышляя об этом, я провожу рукой по щеке и обнаруживаю, что мне не мешало бы побриться. Щетина лезет из меня с поразительной быстротой. Тот, кто видит меня вечером, ни за что не может поверить, что утром я был выбрит до блеска. Бриться я начал лет с шестнадцати, и еще в школе меня прозвали «волосатый человек Андриан».

Электрическая бритва «нева» жужжит так сильно, что пенсионер Иван Адамович Шишкин просыпается за стеной и начинает деликатно

покашливать, намекая на то, что хулиганить в моем возрасте стыдно. Помочь ему я ничем не могу и мужественно продолжаю начатое дело, пользуясь при этом небольшим круглым зеркалом в железной оправе. Откровенно говоря, зеркало приносит мне мало радости. Из него на меня смотрит человек отчасти рыжий, отчасти плешивый, более толстый, чем нужно, с большими ушами, поросшими сивым пухом. В детстве мать говорила мне, что такие же большие уши были у Бетховена. Вначале надежда на то, что я смогу стать таким, как Бетховен, меня утешала. В ранней молодости я стыдился своих ушей. Теперь я к ним привык. В конце концов они не очень мешали мне в жизни.

Побрившись, я иду в ванную, долго и старательно умываюсь водой, холодной настолько, что пальцы краснеют и перестают разгибаться.

Потом надеваю резиновые сапоги, свитер, пиджак, прорезиненный плащ, лохматую кепку и выхожу на лестницу. Из почтового ящика, который висит на дверях, вынимаю письмо. Это письмо от матери. Я его прочту на работе.

2

На дворе начало ноября. Небо сплошь затянуто тучами. Рассвет еще не наступил и, кажется, никогда не наступит. Трудно поверить, что солнечные лучи могут пробиться сквозь эту непроницаемую серость.

А город уже живет. Тысячи людей, подняв воротники или раскрыв зонтики, бегут по улице, осаждают сверкающие от дождя автобусы, ныряют в проходную табачной фабрики. Посмотришь на них — и страшно становится: откуда столько народу?

Большая толпа стекается к переходу, готовая ринуться в первый же просвет между потоками автомобилей, которым, кажется, тоже нету конца. В этой толпе я пересекаю широкую улицу и попадаю в большой полустеклянный, полуметаллический колпак — кафетерий, или попросту забегаловку. Внутри забегаловки буфетная стойка, несколько высоких столиков на железных ногах. Цементный пол усыпан толстым слоем сырых опилок.

Длинная очередь тянется вдоль буфета. Люди топчутся, ежатся, потирают руки. От намоченных плащей и пальто поднимается пар.

За стойкой возвышается Зоя — высокая девушка с гладкой прической. Она бросает мелочь в пластмассовую тарелку, выдает сдачу, бойко орудует блестящими рычагами кофейного агрегата. Может быть, ей кажется, что она стоит у пульта управления атомным кораблем.

Увидев меня, Зоя радостно улыбается, открывая красивые ровные зубы. Едва ли я нравлюсь ей. Ее улыбка объясняется более просто — я постоянный клиент.

— Вам как всегда? — спрашивает Зоя.

— Как всегда, — говорю я.

В обмен на протянутый ей полтинник она выдает мне сосиски с капустой, кофе с молоком и булочку с маком. Очередь шумит и волнуется, но Зоя успокаивает ее:

— Это наш работник. — И улыбается.

Может быть, я ей действительно нравлюсь. В этом нет для меня ничего неожиданного, я нравлюсь многим женщинам, потому что я высокий и сильный, хорошо зарабатываю и не злоупотребляю спиртными напитками.

3

Недалеко от последней остановки автобуса начинается большое пространство, разгороженное дощатыми заборами. Это наши местные Черемушки.

На одном из заборов висит большой фанерный щит с надписью:
«СУ-11. Строительство ведет прораб тов. Самохин».

А рядом афиша:
«Поет Гелена Великанова».

Тов. Самохин — это я. Гелена Великанова никакого отношения ко мне не имеет, просто рекламбюро решило использовать свободную полезную площадь.

Гастроли певицы кончились, вчера она уехала из нашего города. Скоро афишу снимут. Щит с моей фамилией тоже исчезнет. Дом, который я строю, почти готов к сдаче. Вот он стоит за забором пока что пустой, с потемневшими от дождя стенами из силикатного кирпича.

Неподвижный башенный кран тянет шею в мутное осеннее небо. Кран мне уже не нужен, надо будет вызвать из треста «Строймеханизация» монтажников, пускай его разберут.

В правом крыле здания, на одной из дверей первого этажа четвертой секции висит бумажная табличка: «Прорабская». Здесь я обычно и нахожусь ежедневно с половины восьмого до пяти. Довольно часто меня здесь можно найти и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи, потому что рабочий день у меня не нормирован.

В прорабской накурено — дым коромыслом. Свет лампочки едва пробивается сквозь плотные слои дыма. Рабочие, собравшиеся здесь, разместились кто на табуретках, кто на длинной скамейке, кто просто на корточках вдоль стен и у железной печки. Звено штукатуров Бабаева в полном составе лежит на полу.

— Хоть бы форточку открыли, — ворчу я, пробираясь к столу, стоящему у окна.

Никто не обращает на меня никакого внимания, я открываю форточку сам. Дым постепенно рассеивается. С улицы тянет сыростью.

До начала работы еще полчаса, каждый проводит их, как умеет. Бригадир Шилов сидит на ящике из-под гвоздей и сушит у печки портянки, Бабаев листает книгу, готовясь к занятиям в университете культуры, подсобница Катя Желобанова рассказывает своей подружке Люсе Маркиной, что летом на пляже видела артиста Рощина и что он, оказывается, лысый, а когда поет по телевизору, наверное, надевает парик.

У окна стоит Дерюшев — толстый, рыхлый увалень в армейском бушлате. Сопя от натуги, он пытается согнуть железный ломик, вставленный одним концом в щель между ребрами батареи парового отопления. Рядом с ним паркетчик Шмаков, прозванный Писателем за то, что зимой ходит без шапки.

— Давай-давай, — подзадоривает он Дерюшева. — Главное — упирайся ногами.

— Ты что делаешь? — спрашиваю я Дерюшева.

Дерюшев вздрагивает и застенчиво улыбается:

— Да ничего, Евгений Иванович, балуемся просто.

— Эх, Дерюшев, Дерюшев. — сокрушенно вздыхает Писатель, — с такой будкой не можешь ломик согнуть. Придется, видно, тебя к Новому году на сало зарезать. Вот Евгений Иванович запросто согнет, — подзадоривает он меня.

Он обращается ко мне слишком фамильярно, мне хочется его одернуть, но я думаю: «А почему бы в самом деле не попробовать свои силы? Есть еще чем похвастаться».

— А ну-ка дай.

Я беру у Дерюшева ломик, кладу на шею и концы его тяну книзу. Чувствую, как гудит в ушах и как жилы на шее наливаются кровью.

Согнутый в дугу ломик я бережно кладу на пол. И не могу удержаться, чтобы не спросить:

— Может, кто разогнет?

— Вот это сила,— завистливо вздыхает Дерюшев и незаметно пробует свои рыхлые мускулы.

Катя Желобанова смотрит на меня с нескрываемым восхищением. Артист Рошин вряд ли согнул бы ломик на шею.

А я задыхаюсь. Сердце колотится так, словно я пробежал десяток километров. Что-то со мной происходит в последнее время. Чтобы скрыть одышку, сажусь за стол, делаю вид, что роюсь в бумагах.

Писатель продолжает донимать Дерюшева.

— Вот, Дерюшев,— говорит он,— кабы тебе такую силу, ты б чего делал? Небось в цирк пошел бы. Скажи, пошел бы?

— А чего,— задумчиво отвечает Дерюшев,— может, и пошел бы!

— А я думаю, тебе и так можно идти. Тебя народу за деньги будут казать. Каждому интересно на такую свинью поглядеть, хотя и за деньги.

Писатель смеется и обводит глазами других, как бы приглашая пошутить с ним вместе. Но его никто не поддерживает, кроме Люси Маркиной, которая влюблена в Писателя и не скрывает этого.

— Шмаков,— говорю я Писателю,— в третьей секции ты полы настилал?

— Ну я. А что?— Он смотрит на меня со свойственной ему наглостью.

— А то,— говорю я.— Паркет совсем разошелся.

— Ничего, сойдется. Перед сдачей водичкой полъем — сойдется.

— Шмаков,— задаю я ему патетический вопрос,— у тебя рабочая гордость есть? Неужели тебе никогда не хочется сделать свою работу по-настоящему?

— Мы люди темные,— говорит он,— нам нужны гроши да харчи хороши.

Он говорит и ничего не боится. Уговоры на него не действуют, угрожать ему нечем. На стройке каждого человека берегут как зеницу ока. Да и не очень-то сберегают. Приходят к нам демобилизованные да те, кто недавно из деревни. Придут поработают, пообсмотрятся, да и сматываются — кто на завод, кто на фабрику. Там и заработки больше, и работа в тепле.

Вот сидит перед печкой Матвей Шилов. Он разулся и сушит портянки и думает, кто его знает о чем. Может быть, сочиняет в уме заявление на расчет. Но такие, как Шилов, уходят редко. На стройке он уже лет двенадцать. И он привык, и к нему привыкли.

Я смотрю на часы: стрелки подходят к восьми.

— Все в сборе? — спрашиваю у Шилова.

Он медленно поворачивает голову ко мне, потом так же медленно обводит взглядом присутствующих.

— Кажись, все.

— Кончайте перекур, приступайте к работе.

— Щас пойдем,— нехотя отвечает Шилов и начинает наматывать портянки. Обувшись, встает, топает сначала одной ногой, потом другой и только после этого достает из-за печки молоток, протягивает его Писателю: — Пойди вдарь.

Тот послушно выходит и ударяет. Вагонный буфер, подвешенный на проволоке к столбу электроосвещения, гудит, как церковный колокол, возвещая начало рабочего дня. Все постепенно выходят.

4

«Дорогой сыночек!

Вот уже две недели от тебя нет никаких известий, и я просто не знаю, что и подумать. До каких пор ты будешь меня мучить? Вчера мне приснилось, что ты идешь босиком по снегу. Я снам не верю, но, когда дело касается тебя, невольно начинаю волноваться. В голову приходят такие страшные мысли, что даже бязно о них говорить. Все думается, уж не заболел ли ты или, не дай бог, не попал ли под машину...»

Это пишет моя мама, бывшая учительница, ныне пенсионерка. Она и раньше любила получать письма, а теперь тем более.

А что я буду писать? Каждый день одно и то же. Без четверти семь подъем. В восемь начало работы. С двенадцати до часу перерыв. В пять конец рабочего дня. В полшестого совещание у начальника СУ. Что касается попадания под машину, то об этом сообщили бы отдел кадров или ОРУД: им за это деньги платят.

«...У меня ничего нового, если не считать того, что позавчера на собрании актива меня избрали председателем домового комитета. Ты, конечно, относишься к таким вещам скептически, а мне это было очень приятно.

На днях случайно встретила на улице Владика Тугаринова. Приехал в отпуск с женой. Он теперь стал такой важный. Недавно его назначили начальником какого-то крупного строительства в Сибири. Спрашивал о тебе. Взял адрес, обещал написать».

За всем этим, как говорят, есть свой подтекст: Владик не способнее меня, во всяком случае по математике успевал много хуже, а теперь он большой начальник. Я бы тоже мог высидеть себе приличную должность, если бы не мотался с места на место.

Мама не учитывает только того обстоятельства, что Владик получил диплом (а в институт мы с ним поступали вместе) в сорок четвертом году, когда я валялся в борисоглебском госпитале. Конечно, Владик не виноват, что его не взяли на фронт: у него еще в десятом классе была близорукость минус восемь. Но и я не виноват, что был только студентом-практикантом в то время, когда Владик был уже начальником ПТО.

После института я, конечно, мог бы сидеть на одном месте. Но я работал на Сахалине, в Якутии, на Печорстрое и даже на целине — строил саманные домики. Кто знает, может, я и здесь продержусь недолго?

5

В это время раздается телефонный звонок. Мне звонят много раз, и это обычно не вызывает во мне особых эмоций. Но сейчас каким-то чутьем я угадываю, что разговор кончится неприятностью. У меня нет никаких оснований так думать, просто я это чувствую. Поэтому я не снимаю трубку. Пусть звонит — посмотрим, у кого больше выдержки. Я закуриваю, выдвигаю ящик стола, просматриваю наряды. У того, кто звонит, выдержки больше. Я снимаю трубку и слышу голос Силаева — начальника нашего стройуправления.

— Самохин, ты что ж это к телефону не подходишь?

— По объекту ходил. Не знал, что вы звоните.

— Знать надо. Должен чувствовать, когда начальство звонит.

— Это я чувствую,— говорю я,— только не сразу. Немного погодя.

— В том-то и дело. Научись чувствовать вовремя — большим человеком будешь.

Что-то он сегодня больно игрив. Не люблю, когда начальство веселится не в меру.

— Слушай, Самохин,— переходит на серьезный тон начальник,— ты бы зашел, поговорить надо.

— О чем?

— Узнаешь. Не телефонный разговор.

— Хорошо. Сейчас обойду объект...

— Ну давай, на одной ноге.

Как же, разбежался. Я выхожу из прорабской, поднимаюсь на четвертый этаж. На лестничной площадке стоит Шилов, водит вдоль стены краскопультом. Голубая струя со свистом вырывается из бронзовой трубки, краска ровным слоем покрывает штукатурку. Сам Шилов тоже весь в краске — шапка, ватник и сапоги.

— Ну что, Шилов,— спросил я,— портянки высушил?

— Высушу на ногах.

— А почему краска густо идет?

— Олифы нет, разводить нечем. Будет олифа?

— Будет,— сказал я,— если Богдашкин даст.

— Значит, не будет,— скептически заметил Шилов.— Богдашкин не даст.

— Ничего, с божьей помощью достанем.

— Наверяд.— Шилов сплюнул и посмотрел за окно.

Я зашел в одну из квартир, осмотрелся. В общем, все, кажется, ничего, прилично. Только штукатурка не сохнет и двери разбухли от сырости, не закрываются. Если бы их вовремя проолифить, было бы все иначе.

Зашел на кухню. Смотрю — под батареей, вытянув ноги, сидят Катя Желобанова и Люся Маркина. Разговаривают. О каких-то своих женах, мороженом, кинофильмах и прочих вещах, не имеющих к их прямым обязанностям никакого отношения. А батарея, между прочим, не топится: воду еще не подключили.

— И вам не холодно? — спрашиваю я.

Молчат.

— Ну чего сидите? Нечего делать?

— Перекур с дремотой,— смущенно пшшутила Катя и сама засмеялась.

— Не успели начать работу — и уже перекур. Идите в четвертую секцию, там некому кафель носить.

Я говорю это ворчливым и хриплым голосом. Даже самому противно. Но я ничего не могу с собой поделать: вид сидящих без дела людей раздражает меня. Если пришли работать — значит, надо работать, а не прятаться по углам.

Больше всех меня разозлил Дерюшев. Газосварочным аппаратом он варил решетки. Я сразу заметил, что швы у него неровные и слабые. Я голкнул одну решетку — и шов разошелся.

— Ты что же,— сказал я Дерюшеву,— хочешь, чтоб нас с тобой в тюрьму посадили?

Дерюшев погасил пламя и поднял на лоб синие, закапанные металлом очки.

— Флюс, Евгений Иванович, слабый — не держит,— сказал он и улыбнулся, словно сообщал мне приятную новость.— И вообще тут электросваркой надо варить.

— Без тебя знаю, да где ее возьмешь? Все решетки переваришь, я потом проверю. Флюс хороший достанем.

Все от меня что-нибудь требуют, и всем я что-нибудь обещаю. Одному флюс, другому олифу, гретьему брезентовые рукавицы. А как все это достать?

6

Когда-то в детстве от учителя физики я узнал про Джемса Уатта. Еще маленьким он увидел кипящий чайник, потом вырос, вспомнил про чайник и изобрел паровую машину. Услышав это, я поднял руку и спросил:

— А кто изобрел чайник?

Этот вопрос занимает меня до сих пор. Когда я учился в институте, разные профессора преподавали нам множество сложных наук, которые я за пятнадцать лет успел благополучно забыть. Ни эвклидова геометрия, ни теория относительности не пригодились мне в жизни, хотя наши профессора считали, что каждый из этих предметов обязательно надо знать будущему строителю. Они много знали, эти профессора, но ни один из них не смог бы решить простейшую задачу — как достать ящик гвоздей, когда их нет на складе или когда у Богдашкина неважное настроение.

Богдашкин — это начальник снабжения нашего стройуправления, человек совершенно бестолковый. Пока у нас был главный инженер, отдел снабжения работал довольно сносно, был хоть какой-то порядок. Теперь главный ушел на пенсию, Богдашкиным никто не руководит, и он совсем распоясался. С утра до вечера ему звонят прорабы, выколачивая разные материалы. Богдашкин вконец запутался в этой неразберихе и решил упростить дело: посылает кому что придется. Тому, кто просил у него алебастр, он шлет электрический шнур, а тому, кто хотел иметь электрический шнур, посылает дверные ручки. Мне он недавно прислал второй газосварочный аппарат. Я долго не знал, что с ним делать, потом обменял его у Лымаря на электромотор для растворомешалки.

Конечно, можно позвонить Богдашкину и спросить у него насчет олифы, но из этого едва ли что выйдет. У него никакой олифы нет, и делай с ним что хочешь, все равно ничего не добьешься. Поменяться бы с кем... Я взял клочок бумаги, сделал раскладку:

Прораб	Что у него есть	Что ему нужно
Филимонов	Олифа	Кровельное железо
Лымарь	Кафель	Оконные блоки
Сидоркин	Кровельное железо	Кафель
Ермошин	Оконные блоки	Плиты
Я	Плиты	Олифа

Если позвонить Ермошину и обменять у него плиты на оконные блоки, вместо блоков взять у Лымаря кафель, Сидоркин уступит за кафель кровельное железо, после этого позвонить Филимонову... Ничего не выйдет. Я вспомнил, что Филимонов отдал всю олифу Ермошину, не знаю за что. А зачем Ермошину олифа, когда он еще и не начал отделку?

Я смотрю на свою раскладку. Целый стратегический план. И все для того, чтобы достать одну бочку олифы.

7

Явление второе: те же и Сидоркин. Он открывает дверь и вваливается в прорабскую во всем своем великолепии — длинный, тощий, в зеленой помятой шляпе, потрепанном синем плаще и брюках неимоверной ширины. Желтые ботинки до щиколоток залеплены грязью. И в таких ботинках Сидоркин прется прямо к столу.

— Хоть бы ноги вытер,— говорю я ему.— Все-таки в приличный дом входишь.

— В приличных домах персидские ковры стелят под ноги.— Он садится на стул, стаскивает с себя один ботинок, вытягивает ногу.— Совсем промокли носки.

— Не можешь резиновые сапоги купить? Жмешься все.

— Не жмусь,— ворчит Сидоркин и жмурится.— Ревматизм у меня от этих сапог. В Карелии все в них шлепал.

Он вытаскивает из моей пачки сигарету, закуривает, достает из кармана колоду потрепанных карт, лениво перекладывает их.

— Сыграем?

— На что?

— На мешок цемента.

— Не выйдет. Ты передергиваешь.

— Ну, давай тогда в веревочку.— Он достает из кармана веревочку, складывает ее двумя кольцами, приговаривая: — Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венике из самой Америки. Кручу-верчу, за это деньги плачу. Сюда поставишь — выиграешь, сюда поставишь — проиграешь. Замечай глазами, получай деньгами. Кудаставишь?

— Знаешь, Сидоркин,— говорю я,— давай я тебе подарю мешок цемента с дарственной надписью и после этого ты сделаешь так, чтобы я тебя больше не видел.

— Ну что ты,— великодушно возражает Сидоркин,— я не могу тебя лишать такого удовольствия за какой-то мешок цемента. Если ты мне подарить парочку, я, пожалуй, подумаю.

До чего же нахальный тип. Пока он снова натягивает свой грязный ботинок, я набираю номер Богдашкина. Там снимают трубку.

— Богдашкин? — спрашиваю я.

— Нет его,— меняя голос, отвечает Богдашкин и вешает трубку.

— Сволочь,— говорю я и смотрю на Сидоркина.

Сидоркин смотрит на меня.

— Опять шутит? — спрашивает он участливо.— Но ты не волнуйся. Мы с ним тоже пошутим.

Он подвигает к себе аппарат и набирает номер. Талантливый человек Сидоркин! Выбери он вовремя артистическую карьеру, цены б ему не было.

— Алло, это Дима? — говорит он грудным женским голосом.

Богдашкина я не вижу, но хорошо представляю себе, как его одуловатое лицо расплывается в сладчайшей улыбке. Старый дурак! Ему уже скоро на пенсию, а он все еще охотится за молодыми девушками. Ни годы, ни алименты, на которые уходит половина зарплаты, не могут заставить его образумиться.

— Здравствуй, Дима,— ласково щебечет Сидоркин.— Это твоя маленькая Пусенька. Я уже сказала папе о нашем решении, папа хочет с тобой поговорить. Передаю папе трубку.

Я беру трубку, злорадствую:

— Ну что, попался?

В трубке слышно тяжелое сопенье — Богдашкин думает.

— Кто это? — наконец спрашивает он.

— Это папа твоей маленькой Пусеньки,— продолжаю я начатую Сидоркиным игру.

— Чего надо-то? — Богдашкин меня уже узнал, голос у него недовольный.

— Ничего особенного. Бочку олифы.

— Олифы? — Богдашкин воспринимает это как личное оскорбле-

ние.— Вы ее с хлебом, что ли, едите? Я тебе на прошлой неделе отправил две бочки. Больше нет.

— Может, все-таки найдешь? — прошу я без всякой надежды.

— Как же найдешь,— сердится Богдашкин.— Одному одно найди, другому другое. И все к Богдашкину. Этому нужен Богдашкин, и этому Богдашкин, а Богдашкин всего один во всем управлении.

В конце концов я выхожу из себя и говорю ему несколько слов на родном языке. Богдашкин не обижается, ему все говорят примерно то же самое.

— Будет ругаться-то,— ворчит он довольно миролюбиво.— Высшее образование имеешь, а такие слова говоришь. Алебастру немного могу дать, если хочешь.

Можно послать его еще куда-нибудь, но за это денег не платят. Алебастр — это все-таки нечто вещественное. Для обмена на что-нибудь он тоже годится.

— Черт с тобой,— соглашаюсь я,— давай алебастр. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Пока я говорил с Богдашкиным, Сидоркин сидел и терпеливо ждал. Теперь поднялся.

— Значит, я беру три мешка?

— Совсем обнаглел,— говорю я.— Сначала один просил, потом два, теперь тебе и двух мало.

— Мало,— сказал Сидоркин.— Один по дружбе, один, чтоб ты меня больше не видел, один за Богдашкина. Законно?

— Ладно,— сказал я,— бери четыре мешка и проваливай.

— Бусделано,— сказал Сидоркин, подражая Аркадию Райкину.— Сейчас я подошлю машину.

Я тоже собрался выходить вместе с Сидоркиным, но в это время появился Ермошин, который приехал на самосвале. Он долго стоял на подножке, потом нерешительно поставил ногу на лежащую в грязи узкую доску и пошел по ней, словно канатоходец. Я и Сидоркин с интересом следили за ним, надеясь, что он поскользнется. Но он благополучно одолел одну доску, перешел на другую и явился перед нами чистенький, словно его перенесли по воздуху. Усы, бакенбарды и шляпа придают лицу его умное выражение.

— Слышал новость? — обратился Ермошин к Сидоркину.— Его назначают главным инженером.— Он кивнул в мою сторону.

Это было неожиданностью не только для Сидоркина, но и для меня самого. Правда, слухи о моем назначении давно ходили по тресту, но слухи оставались слухами, никакого подтверждения им не было, если не считать двух-трех намеков, слышанных мной от Силаева.

— Брось,— недоверчиво сказал Сидоркин.— Что, управляющий утвердил?

— Пока не утвердил, но затребовал проект приказа. Я только что от Силаева, сам слышал весь разговор по телефону.

— За что бы это ему такая честь? — Сидоркин критически оглядел меня.— Толстый, рыжий и в лице ничего благородного. А тебя, что ж, обошли, выходит?

— Я на профсоюзную работу перехожу,— важно сказал Ермошин.— Романенко увольняется, я на его место.

— Ну и валяй,— сказал Сидоркин и, поднявшись, обратился ко мне: — Значит, ты мне даешь гипсолитовые плиты?

— Какие плиты? — удивился я.

— Ну как же. Только что ведь мы договорились, ты даешь мне плиты, я тебе бочку олифы. Или ты на радостях ничего не помнишь?

Сидоркин мне усиленно подмигивал, и я понял, что он хочет разыграть Ермошина.

— Нет,— сказал я,— за одну бочку не отдам.

— Это вы о чем? — с деланным равнодушием поинтересовался Ермошин.

— Да так, пустяки,— пояснил я,— тут у меня завалились гипсолитовые плиты сотни полторы. Он хочет взять у меня за бочку олифы.

Клюнет или не клюнет? Но куда же он денется? Приманка слишком аппетитно пахнет. Сто пятьдесят гипсолитовых плит! Попробуй-ка вырвать их у Богдашкина.

— Я тебе могу дать полторы бочки,— наконец говорит он, стараясь не смотреть на Сидоркина.

— Да тебе зачем? — говорит Сидоркин.— Ты ведь уже перегородки поставил. Вчера докладывал на летучке.

— Мало ли чего я докладывал,— отмахивается Ермошин и снова псоворачивается ко мне: — Ну, берешь полторы бочки?

— Смеешься, что ли? Сто пятьдесят плит за полторы бочки олифы. Помажь ею себе волосы.

— Но у меня больше нет.

— Иди к Богдашкину. Может, он даст тебе сто пятьдесят плит.

— Ну, хорошо,— решает Ермошин.— Бери две бочки — и по рукам.

— Мало. Вези свои бочки Богдашкину.

Я неумолим, хотя знаю, что олифы у него в самом деле больше нет. Но ведь есть на свете и другие не менее ценные вещи. В конце концов мы сходимся на том, что Ермошин дает мне еще десять пачек паркета и немного флюса для газосварки.

Мы оба довольны сделкой: он думает, что ловко обвел меня вокруг пальца, я думаю то же самое о нем, и оба по-своему правы. И он и я выжали друг из друга все, что было возможно, направив на это всю свою энергию и все свои умственные способности. Все было бы гораздо проще, если бы Богдашкин дал каждому из нас, что нам полагается.

Только ушел Ермошин — зазвонил телефон. Я подумал, что это опять Силаев, и попросил Сидоркина взять трубку.

— Если Силаев, меня нет.

Сидоркин снял трубку.

— Алло. Одну минуточку. Главный инженер Самохин занят, но я попробую вас соединить... Она,— сказал Сидоркин, передавая мне трубку, и прикрыл глаза от нахлынувшего на него счастья.

В трубке я услышал голос Клавды:

— Это ты?

— Это я.

— Я тебе звоню просто так — поболтать.

— Ты нашла для этого самое подходящее время,— вежливо сказал я.

— Не сердись. Ты когда появишься? Я вчера ждала тебя весь вечер, потом пошла на «Иваново детство». Ты не видел?

— Нет.

Чего доброго, она мне сейчас начнет пересказывать содержание фильма.

— Возможно, я сегодня зайду,— сказал я.

— Правда?

— Может быть.— уточнил я.— А сейчас, извини, я тороплюсь.

Из прорабской мы вышли с Сидоркиным вместе. Дождь моросил по-прежнему.

— Значит, я подошлю машину и возьму пять мешков,— сказал Сидоркин, поднимая воротник плаща.

— Десять,— сказал я.— Возьми десять, ты заслужил их сегодня.

Когда я вошел, Силаев сидел за столом один и разбирал настольную лампу. Когда-то, давным-давно, он работал на заводе слесарем, очень любил вспоминать об этом и любил ремонтировать разную технику. Ничем хорошим это обычно не кончалось, и потом приходилось вызывать монтеров или лифтеров — в зависимости от того, что именно брался ремонтировать начальник.

— Что ж так поздно? Курьеров за тобой посылать,— недовольно проворчал Силаев и, не дожидаясь ответа, кивнул на кресло, стоявшее у стола:— Садись.

Я в кресло садиться не стал — оно слишком мягкое. В нем утопаешь так глубоко, что даже при моем росте я едва достаю подбородком до крышки стола. Может быть, такие кресла делают нарочно для посетителей, чтобы, сидя в них, посетители в полной мере ощущали свое ничтожество. Я взял от стены стул и придвинул его к столу.

— Как жизнь? — спросил начальник, снимая с лампы матовый абажур.

— Спасибо,— сказал я,— течет потихоньку.

— Как здоровье жены? — Силаев вынул из лампы кнопочный выключатель и ковырял в нем отверткой.

— Спасибо, здорова.— Мне уже надоело говорить ему, что я не женат.

— Ну, хорошо,— сказал начальник и положил отвертку на стол.— Ты, конечно, знаешь, зачем я тебя вызвал?

После разговора с Ермошиным я догадывался, но на всякий случай сказал, что не знаю.

— Тем лучше,— сказал Силаев,— пусть это будет для тебя сюрпризом.

Он нажал кнопку звонка, и почти в то же мгновение в дверях появилась секретарша Люся, очень красивая девушка, только ресницы подведены слишком густо.

— Люсенька, принесите, пожалуйста, проект приказа на Самохина,— не глядя на нее, попросил Силаев.

Люся исчезла как же бесшумно, как и появилась. Силаев посмотрел на закрывшуюся за ней дверь и почему-то вздохнул.

— Как у тебя дела? — спросил он, помолчав.— Что-то я давно на твоем участке не был. По плану у тебя когда сдача объекта?

— К новому году.

— А по обязательствам?

— К первому декабря.

Это все он знал не хуже меня, и я подумал, что он задает вопросы, лишь бы поддержать разговор. Начальник посмотрел на меня и сказал, помедлив:

— Так вот. Сдашь его к празднику.

— Неготовый? — спросил я.

— Зачем же неготовый. Подготовишь и сдашь.

В дверях снова появилась Люся. Постукивая тонкими каблучками, она прошла к столу, положила перед Силаевым лист бумаги.

— Все? — спросила она, усмехаясь, как всегда, когда говорила с начальством.

— Нет, не все,— строго сказал Силаев.— Объявите по участкам, что сегодня в семнадцать тридцать состоится производственное совещание. Нет, объявите, что ровно в семнадцать. Все равно меньше чем за полчаса их не соберешь.

Люся стояла, выжидательно опустив ресницы.

— Можно идти? — спросила она.

— Когда я скажу, тогда пойдете, — рассердился начальник. Видимо, он был не в духе и искал, к чему бы придрататься. — Что вы стоите как вкопанная и хлопаете своими ресницами? Вы что, меня соблазните, что ли?

— Вас — нет, — тихо сказала Люся.

Ее ответ совсем вывел начальника из себя.

— Я вот возьму мокрую тряпку, — сказал он, — и вымою вам эти ваши ресницы.

— Не имѐете права.

— На вас у меня хватит прав. Я вам в отцы гожусь.

— У меня есть свой папа, — напомнила Люся.

— Ну и очень плохо, — сказал Силаев, но тут же поправился: — То есть плохо то, что ваш папа не следит за вами. Идите.

Люся повернулась и простучала каблучками по направлению к двери. Во время этого разговора она ни разу не изменила тона, ни один мускул на ее лице не дрогнул.

Я понял, что у Силаева какая-то неприятность. Всегда в таких случаях он срывает злость на своей секретарше, которая эти припадочки терпеливо выносит. Может, он за это и держит ее.

— Черт знает что, — проворчал он, когда дверь за Люсей закрылась. — Дура.

Он раскрыл пачку «казбека» и, закуривая, молча подвинул ко мне бумагу, которую принесла Люся. Это был тот самый проект приказа, в котором говорилось, что я назначаюсь главным инженером.

— Прочел? — спросил Силаев. — Дела примешь после сдачи объекта.

— Значит, в декабре, — сказал я.

— Раньше, — сказал Силаев. — Объект сдашь до праздника, а после праздника примешь дела. Можешь считать это приказом, который нужно выполнять.

— Приказы, Глеб Николаевич, должны быть разумные, — сказал я. — Вы ведь знаете, что у меня еще штукатурные работы не закончены и малярные. И паркет еще надо стелить.

— Все сделаешь.

— Но ведь даже штукатурка не высохнет.

— Меня это не касается. Дом должен быть сдан. Ты думаешь — это моя прихоть? Мне приказано отсюда. — Он раздавил окурок о край пепельницы и показал на потолок. — В райкоме решили, что надо сделать подарок комсомольским семьям. Праздник, барабаны, вручение ключей. А ты должен радоваться, что тебе дают идею.

— Я бы радовался, — сказал я, — если бы эту идею можно было обменять на бочку олифы. Хороший будет подарок комсомольцам. Сейчас сдадим, а через месяц в капитальный ремонт. А что, если я не сдам все-таки дом?

— Не сдашь? — Силаев посмотрел мне в глаза. — Тогда все меры. Вплоть до увольнения. Так что выбирай. Или сдача объекта вовремя и все остальное. Или... Выбирай. — Он встал и протянул мне руку: — Извини, мне пора к управляющему.

9

Я неудачник. Во всяком случае так считает моя мама. Я неудачник, потому что не стал ни ученым, ни большим начальником. Я все еще только старший прораб. Старший прораб применительно к армейским званиям — что-то вроде старшего лейтенанта. Если к сорока годам ты не шагнул выше этого чина, маршальский жезл из своего рюкзака можешь выбросить.

Мне уже сорок два. В сорок два года мне предлагают должность главного инженера, хотя могли это сделать гораздо раньше. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я окончил строительный институт, почти все пятнадцать я работаю в одной и той же должности — старшим прорабом. За это время я полысел и обрюзг, стал нервным и раздражительным.

Моя работа ничем не лучше, но и не хуже других. Мое это призвание или не мое, я до сих пор не знаю и, если признаться, мало интересуюсь этим. Призвание проверяется в деле, где нужны какие-то особые способности. Прорабу излишние способности ни к чему — ему достаточно умения доставать материалы, читать чертежи и вовремя закрывать рабочий наряды. Я не могу, скажем, сделать дом лучшим, чем он должен быть по проекту.

Но иногда меня заставляют делать хуже, чем я могу, и это мне не нравится. Когда я возражаю, это не нравится начальству. Из двух мест я уже ушел «по собственному желанию». Можно бы уйти и отсюда — на этом городе свет клином не сошелся, — но мне уже надоело скитаться. Надоело жить в палатках и вагончиках или снимать койку на «частном секторе». Когда тебе уже за сорок, хочется пожить нормальной человеческой жизнью, иметь свой угол, может быть, свою семью.

У меня дома на тумбочке под стеклом стоит фотография девушки лет восемнадцати. Удлиненное лицо, большие темные глаза, темные косы, аккуратно уложенные вокруг головы. Это Роза. Я с ней познакомился в Киеве в начале сорок первого года, когда приезжал на зимние каникулы. Она училась в десятом классе (подумать только — сейчас у меня могла бы быть такая дочь!) и собиралась поступать в пединститут на исторический факультет.

Когда немцы подошли к Киеву, она почему-то не уехала и теперь лежит, наверное, в Бабьем Яру. Она была молода и красива — это видно по фотографии. Но она была еще и умна и добра. Она была необыкновенно чуткой и нежной. Впрочем, может быть, я уже не помню, какой именно была Роза, и в моей памяти живет только образ, нарисованный мной самим? Но с тех пор я не встречал женщины, которая хоть сколько-нибудь напоминала бы мне этот образ. Может быть, поэтому я до сих пор не женат.

10

Ровно в половине шестого мы, прорабы, один за другим входим в кабинет Силаева. Занимаем места за длинным столом, стоящим перпендикулярно к столу начальника. Пока рассаживаемся, Силаев, склонившись над бумагами, что-то пишет и не обращает на нас никакого внимания.

Совещание только начинается, времени впереди много, и каждый старается провести его с большей пользой. Лымарь вытащил из-за пазухи книжку «Атом на службе человеку», Сабидзе положил перед собой лист бумаги и уже кого-то рисует. Тихон Генералов, многолетний угрюмый человек, сидит слева от меня и составляет план воспитательной работы среди собственных детей:

«План.

1. Иван — применить телесное наказание (ремень).
2. Наташа — поставить в угол на 30 мин. за сломанный телевизор.
3. Алла + Люба — купить билеты в кукольный театр.
4. Сергей — проверить дневник.
5. Поговорить с женой насчет грязного белья (можно отнести в прачечную)».

Справа от меня садится Васька Сидоркин. Он достает из кармана маленькие дорожные шахматы с дырочками в доске для фигур.

— Сыграем?

— Давай.

Сидоркин ставит доску на края стульев между мной и собой так, чтобы не видно было из-за стола.

Начальник поднимает голову.

— Все собрались?

— Почти,— отвечает Ермошин, который всегда садится всех ближе к начальнику.

— Начнем, пожалуй.

Начальник придвигает к себе папиросы. Все тоже достают папиросы, а Сидоркин, у которого их никогда не бывает, тянется к моей пачке. Через пять минут в кабинете все померкнет от дыма, но пока что довольно светло.

— Кто первый будет докладывать? — спрашивает начальник.— Ермошин?

Ермошин, как самый бойкий, докладывает всегда первым. Он встает, приосанивается, поправляет галстук.

— На сегодняшний день на вверенном мне участке...

Начальник от удовольствия закрывает глаза. К тому, что говорит Ермошин, он испытывает не практический, а чисто литературный интерес: речь Ермошина льется гладко и плавно, словно он читает газетную заметку под рубрикой «Рапорты с мест».

— Коллектив участка,— привычно тарабанит Ермошин,— включившись в соревнование за достойную встречу сорок четвертой годовщины Октября...

— Сорок третьей,— с места хрипит Сидоркин.

Ермошин озадаченно умолкает, медленно шевелит губами, подсчитывая. Начальник растерянно смотрит то на Сидоркина, то на Ермошина и тоже подсчитывает. Первым подсчитал Ермошин.

— ...за достойную встречу сорок четвертой годовщины Великого Октября,— продолжает он твердо и бросает презрительный взгляд на Сидоркина.

— Погоди,— перебивает его Силаев.— Сидоркин, вы там опять в шахматы режетесь?

— Никак нет! — рявкает Сидоркин и нагло ест начальство глазами.

— Смотрите у меня.

— Слушаюсь! — ревет Сидоркин и незаметно передвигает фигуру.

После Ермошина выступают другие. Все подробно перечисляют успехи и вскользь упоминают о недостатках. Как водится, ругают начальника снабжения Богдашкина. Богдашкин сидит за отдельным столиком возле стены и невозмутимо заносит все замечания в толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете. Так он делает каждый раз на всех совещаниях, планерках и летучках. Если бы издать отдельно все записи Богдашкина, получилось бы довольно объемистое собрание сочинений.

Наконец очередь доходит до Сидоркина. Он впопыхах делает не тот ход, что нужно, и встает.

— Ну, у меня, значит, полный порядок,— говорит Сидоркин, подтягивая штаны.— Только вот Богдашкин радиаторы не дает. Богдашкин, запиши.

Богдашкин покорно записывает.

Начальник терпеливо ждет, потом поворачивает голову в мою сторону.

Последним выступаю я.

Меня уже никто не слушает, всем надоело, все хотят по домам. Сидоркин нехотя собирает шахматы. Сабидзе сломал карандаш и сидит скулит.

Начальник ковыряется отверткой в замке стола. Он ждет окончания моего доклада только для того, чтобы спросить:

— Ну как, сдадим к празднику объект?

— Вряд ли.

— Опять заладил свое. Товарищи прорабы, к празднику объект Самохина должен быть сдан. Если сдадим, годовой план по управлению будет в основном выполнен. Поэтому предлагаю каждому со своего участка направить завтра же в помощь Самохину по три человека. Богдашкин, при распределении стройматериалов завтра в первую очередь учитывайте нужды Самохина. Вопросы есть?

— Есть,— сказал Ермошин.

— Твой вопрос решен,— сказал начальник,— в отпуск пойдешь зимой. На этом совещание считаю закрытым. Будьте здоровы, товарищи.

11

Около восьми часов мы выходим на улицу. Дождь перестал, но, видимо, ненадолго, сырой ветер забирается под плащ и пронизывает насквозь тело. Сидоркин поднял воротник и придерживает его рукой, защищая от ветра большое ухо.

Кто-то предложил «раздавить бутылку» — возражений особых не было. Взяли в магазине три поллитровки, пошли в столовую ткацкой фабрики, которая хороша тем, что в ней всегда есть жигулевское пиво, и тем, что в ней можно сидеть, не раздеваясь.

Пока мы носили пиво и котлеты с макаронами, Сидоркин под столом разлил водку в стаканы и покрасил пивом. Сделал он это быстро и незаметно.

Подошла уборщица Маруся и, посмотрев на нас, покачала укоризненно головой.

— Ой, мальчики, опять водку принесли. Тут дружинники ходят, полчаса как двоих забрали.

— Ничего, Маруся,— сказал Сидоркин,— не бойся, нас не заберут.— Он положил на угол стола полтинник.

Маруся смахнула монетку тряпкой в ладонь и, успокоившись, отошла. Теперь она не боялась дружинников.

— За что выпьем? — спросил Сидоркин.

— Выпьем за дружбу,— сказал Ермошин.— За то, чтобы мы всегда оставались друзьями.— При этом он посмотрел на меня.

— Далеко пойдешь,— сказал Сидоркин и выпил свою водку первый.

Мы тоже выпили. Сидоркин разлил по стаканам вторую бутылку и так же, как первую, поставил под стол. Снова выпили. Ермошин, который всегда знал все новости, сказал, что слышал разговор в тресте, будто с нового года переходим на крупноблочное строительство.

— Давно пора,— сказал Филимонов, который пришел к нам всего два месяца назад, прямо из института, и горой стоит за передовые методы.— Вот будет здорово. Что ни месяц, то дом.

— Чего ж хорошего,— сказал Сидоркин.— Вот и будешь бегать с места на место. Для прораба ничего нет хуже, чем бегать с места на место. Скажи, Ермошин.

— Я за прогресс,— сказал Ермошин.

— Ну и валяй,— охотно согласился Сидоркин.— Ну что, еще по капельке? У кого бутылка?

Третья бутылка была у меня, но вытащить ее я не успел: в столовую

вошли двое дружинников — один высокий и плечистый, с всепонимающим взглядом, другой маленький и щуплый. У дверей огляделись и направились прямо к нашему столику.

— Ну что, ребята, выпьем жигулевского, — радушно пригласил Сидоркин и наполнил свой стакан пивом.

— В другой раз, — сказал высокий дружинник и, отогнув скатерть, заглянул под стол.

Я замер и посмотрел на Сидоркина. Сидоркин отхлебнул из стакана пива и тоже заглянул под стол. Ермошин вдруг вскочил с места и, сказав, что надо бы принести чаю, не спеша пошел к окну выдачи.

Сидоркин и высокий дружинник разогнулись одновременно и посмотрели друг другу в глаза. Дружинник удивленно и испытующе, Сидоркин дружелюбно и доверчиво.

— Да, — сказал высокий дружинник, — извините, пожалуйста.

— Ничего, не стоит, — вежливо сказал Сидоркин, — заходите еще.

— Извините, — повторил высокий дружинник. — Пошли, Олег.

Они уже дошли до дверей, но Сидоркин позвал их:

— Ребята!

Дружинники снова подошли к нам. Ермошин получил свой чай, но, увидев, что дружинники вернулись, остался у окна выдачи и читал приклеенное к стенке меню.

— Ребята, — сказал Сидоркин дружинникам, — хотите, покажу фокус?

— Какой фокус? — спросил маленький, и глаза его заблестели от любопытства.

— Ну какой. Обыкновенный, как в цирке, — пообещал Сидоркин. — Только между нами. Идет?

— Идет, — сразу же согласился маленький, и высокий нехотя подтвердил:

— Идет.

— Ну, ладно, — сказал Сидоркин, — глядите под стол.

Дружинники посмотрели. Сидоркин поднял ноги. На полу остались две пустые бутылки.

— Видели? — спросил Сидоркин. — Больше не увидите. — И опустив ноги, снова прикрыл бутылки штанинами.

Дружинники растерянно поглядели друг на друга, не зная, как им вести себя в таком случае, но потом, видимо, вспомнили о своем обещании.

— Ладно, — сказал высокий дружинник, — в другой раз будем знать. До свиданья.

Они ушли. Ермошин подождал, пока дверь за ними не закрылась, и вернулся к столу.

— Ну как чаек? — спросил Сидоркин. — Не остыл?

— Остыл, — сказал Ермошин, глядя в сторону. — Вы, ребята, на меня не обижайтесь. Если б что вышло, мне было бы больше всех неудобно.

— Чего ж так? — спросил Сидоркин.

— Ну, понимаешь. Я же веду общественную работу. Меня знают. Скажут: «Сам выступаешь на собраниях и сам же...»

— А ты одно из двух, — сказал Сидоркин, — или не пей, или не выступай. Женька, давай твою бутылку.

Не помню, почему это произошло, но после третьей бутылки мы вдруг стали спорить о честности. Ермошин сказал, что, если говорить откровенно, прораб и честность несовместны, как гений и злодейство. Можешь играть в честность сколько угодно, но все равно тебе придется выкручиваться, заполнять липовые наряды, составлять липовые процентовки.

— Вот уж на что Самохин,— сказал Ермошин,— а и тот не лучше нас. Приказали ему сдать дом к празднику — и он сдаст его как миленький, в каком бы состоянии этот дом ни был.

Если бы это сказал не Ермошин, а кто-нибудь другой, я, возможно, и промолчал бы. Но здесь я вдруг расплылся и стал говорить, что сдам дом тогда, когда он будет полностью готов, и что мне плевать на Силаева и плевать на всех остальных, я поступлю так, как мне подсказывает совесть.

Я поспорил с Ермошиным на бутылку коньяку, что поступлю именно так, как сказал. После этого мы разошлись.

12

Вернувшись домой, я застал моего соседа Ивана Адамовича Шишкина, как обычно, на кухне за чтением любимой книги. Как называется книга и кто ее написал, узнать невозможно — обложки у нее давно нет, а листы порядком порастрепались и рассыпаются. Но через эту книгу, и только через нее, Иван Адамович постигает всю мудрость и простоту нашей жизни.

Увидев меня, Иван Адамович, как всегда, вскочил и следом за мной прошел в мою комнату. Книгу, раскрытую посредине, он держал в обеих руках.

— Женья, гляди-ко чего написано,— сказал он, как всегда с удивлением.— Ты думаешь, что ты есть. А на самом деле тебя нет. То ись как? — Помолчав, Иван Адамович сам ответил на свой вопрос: — А вот так. Ни тебя нет, ни комнаты, ни стола — ничего. Все — одно наше воображение. Всемирный вакуум. Об этом же надо задуматься.

Мне сейчас задумываться об этом не хотелось.

— Иван Адамович,— сказал я,— не надо меня сразу убивать такими открытиями. К этому надо приходиться постепенно.

— То ись как?

— Ну вот так. Сначала представим себе, что здесь нет вас. А стол, комната и я пока остаемся на месте. Частичный вакуум.

Иван Адамович внимательно посмотрел на меня, пытаюсь сообразить, правильно ли он понял мою мысль. Он ее понял правильно.

— Ну, хорошо,— сказал он обиженно,— я уйду.

— В добрый путь.

13

Засыпаю я всегда быстро, но сплю чутко. Если за стеной включают радио, если Иван Адамович хлопнет дверью, если по улице проедет пожарная машина — я просыпаюсь.

В этот раз меня разбудил телефонный звонок. «Только бы не меня», — подумал я, затаив дыхание, словно это могло спасти.

К телефону подошел Шишкин.

— Аллё. А кто его спрашивает? Клава? Нет, он не спит. Сейчас я его позову.

Он постучал ко мне в дверь, и не услышав ответа, постучал снова.

— Женья, тебя к телефону.

Я сунул ноги в комнатные туфли и вышел в коридор. Шишкин, вероятно, уже собирался спать, он стоял возле телефона в подштанниках и в очках. Его лицо сияло от злорадства.

— Не мог сказать, что меня нет,— прошипел я, сгорая от ненависти.

— Не мог,— сказал Шишкин.— Как же я скажу, что нет, когда ты есть.— Иван Адамович никого еще не обманывал, особенно из женского полу.

Я снял трубку и услышал:

— Как ты думаешь, что для человека труднее всего?

— Труднее всего разговаривать по телефону, когда хочется спать.

Я начал потихоньку беситься.

— Да, правильно,— согласилась она, будто я сказал что-то мудрое.—

Слушай, ты почему не приехал?

— Я был занят.

— Но сейчас ты не занят?

— Сейчас я хочу спать. И уже поздно.

— Еще только одиннадцать часов.

Я гляжу на часы: верно. Мне казалось, что уже гораздо больше.

— Слышишь, я очень хочу тебя видеть. Очень, очень!

При этом она, конечно, закрывает глаза и покачивает головой. Эта театральная самодеятельность раздражает меня, но я все-таки соглашаюсь.

— Хорошо, я приеду.

Мне жалко Клаву.

14

Когда-то Клава была замужем. Семь лет она прожила с одним учителем, который активно участвовал в художественной самодеятельности, но потом выдвинулся, был приглашен в областную филармонию. После этого он ушел от Клавы, решив, что теперь их интересы не совпадают. Клава тогда уехала на Печору, где я с ней и познакомился четыре года тому назад.

Она работала в нашей амбулатории, и все у нее одалживали спирт, когда его не было в магазинах. Наши отношения начались еще там и теперь продолжают — по инерции.

Сейчас она работает в поликлинике участковым врачом. Живет на окраине города в вытянутом сером строении, в том самом, где когда-то жила вместе с мужем. Ее комната находится на втором этаже в конце узкого коридора с дверями, расположенными в шахматном порядке по обеим его сторонам. Все соседи меня давно знают. Когда я иду по коридору, двери поочередно открываются, и я на ходу кланяюсь направо и налево, как бы раскачиваюсь из стороны в сторону.

Клаву застаю всегда в одной и той же позе: она лежит на низкой тахте, обложенная книгами. Книги она проглатывает в огромном количестве, и я ей немного завидую. Но нельзя же читать все без разбору. Все, что в Клаве есть деланного и наигранного,— это от них.

Когда я прихожу к ней, у нас начинается вечер вопросов и ответов.

— Ты на чем приехал?

— На такси.

— На улице холодно?

— Так себе.

— А помнишь, какие морозы были на Печоре?

Если не прекратить это вовремя, мне придется ответить на вопросы об изменении климата и о видах на урожай, поделиться впечатлениями от последнего фильма и высказать свое отношение к алжирской проблеме.

— Слушай, согрей, пожалуйста, чаю,— прошу я только для того, чтобы прервать эту бесконечную цепь вопросов.

— Ой, прости.

Она торопливо вскакивает и, запахнув полы халата, бежит на кухню. Я отодвигаю в сторону книжки, ложусь на тахту, курю и стараюсь ни о чем не думать.

Блаженное состояние. Так бы, кажется, лежал целую вечность, но через семь часов меня снова разбудит будильник и снова, проклиная все на свете, мне придется тащиться к себе на объект, выколачивать из Богдашкина материалы, ругаться с рабочими или начальством или скучать на производственном совещании, для которого, наверное, и завтра найдется повод.

Впрочем, все это можно было бы вынести, если бы меня не торопили со сдачей объекта. Можно бы сдать его в том виде, как он есть. Но уж больно хочется сделать что-нибудь настоящее, чтоб было не стыдно.

Конечно, можно и отказаться от сдачи, именно так я и делал два раза. Но тогда я был помоложе и посмелее. Я легко переезжал с места на место и, живя в палатках или временных бараках, с презрением относился к коммунальным удобствам.

Клава внесла чайник, налила мне чай и пододвинула тарелку с пряниками собственного производства. Сама села напротив и, подперев голову руками, смотрит на меня, как я ем и пью.

— Что-то ты плохо выглядишь,— сказала она.— Ты, по-моему, нездоров.

— Хорошие пряники,— сказал я,— как тебе удастся такие делать?

— Выпьешь чай, я тебя, пожалуй, прослушаю. Что-то мне твой вид очень не нравится,— сказала Клава.

— Нечего меня слушать,— сказал я,— я не патефонная пластинка. Вид мой мне самому не нравится.

Клава взяла мою руку в свою и подержала недолго.

— Пульс у тебя совсем паршивый, похоже на предынфарктное состояние.

— Прoshлый раз ты говорила то же самое,— сказал я.— У любого прораба каждый день предынфарктное состояние. Особенно перед праздником.

— Если ты не веришь мне,— обиделась Клава,— сходи к другому врачу.

— Я бы сходил. Если б знал, что меня положат в больницу.

Про себя я подумал, что в больницу лечь сейчас было бы очень не плохо, пускай Силаев сам сдает мой объект, раз уж он ему так нравится.

— Хорошие пряники,— сказал я.— Где ты достала муку?

— Хорошая хозяйка все достанет. Правда, я хорошая хозяйка?

— Не хвастайся, я все равно на тебе не женюсь.

Она засмеялась.

— Потому что это зависит не только от тебя. Между прочим, как там поживает Зоя?

— Какая Зоя?

— Ну, твоя симпатия. Которая работает в забегаловке. Я думаю, ты имел бы у нее успех.

Все это говорится в подчеркнuto шутливом тоне, но при этом она бросает на меня быстрый и тревожный взгляд. Она боится, что в шутке есть доля истины.

Между прочим, пока я пью чай, происходит такой эпизод. Клава вдруг бледнеет и прикладывает ладонь к груди возле горла.

— Что с тобой? — вскакиваю я.

Она ни слова не говорит. Закрыв глаза, машет рукой. Потом, переводя дыхание, улыбается.

— Да так... ерунда.

— Тебе дурно?

— Немножко. Не обращай внимания.

Я смотрю на нее подозрительно. Это уже не из книжек. Клава вздыхает.

— Дурачок. В конце концов я врач и знаю, что надо делать в таких случаях.

— Ты знаешь это не как врач, а как баба.

— Хотя бы и так,— согласилась Клава.— И поэтому знаю.

Ну что ж, в ее возрасте она имеет право на такой опыт, но все равно это кажется мне оскорбительным. Роза бы так не сказала.

Я отодвинул стакан и встал.

— Ты хочешь уйти? — тихо спросила она.

— Да,— сказал я.

В глазах у нее показались слезы, но она не заплакала.

— Если тебе надоело, ты можешь уйти,— сказала она, помолчав.— Я не буду тебе мешать. Господи, какая я идиотка. Зачем я заставляю тебя нервничать? Ты хороший, добрый, талантливый человек.

Если бы она закричала или заплакала, я бы, пожалуй, ушел. Сейчас я не мог этого сделать.

— Ты опять говоришь глупости,— проворчал я, успокаиваясь.— Никакой я не талантливый. Обыкновенный серый человечиска. И зачем тебе нужно, чтобы я был талантливым? У тебя был уже один талантливый. Разве тебе мало?

Стрелки подошли к двенадцати. Клава долго думала о чем-то своем, потом спросила:

— Скажи, ты меня хоть немножечко любишь?

— Сколько можно спрашивать об одном и том же?

— Не сердись. Просто мне кажется, что ты ходишь ко мне из жалости. Жалость — самое отвратительное человеческое чувство.

— Неправда,— сказал я устало.— Это ты прочла в своих книжках. Было бы совсем неплохо, если бы мы побольше жалели друг друга.

Я уже совсем засыпал, когда Клава толкнула меня в бок.

— Ты знаешь, о чем я думаю?

— О чем? — Я не в состоянии был даже сердиться.

— Я думаю о том, как хорошо знать, что всегда рядом с тобой есть такой человек!

Это она обо мне. Книжки не доведут ее до добра.

15

На другой день погода немного улучшилась, с утра показалось солнце. Рабочие сидели на бревнах возле растворомешалки, курили. Большинство из них были мне незнакомы — их прислали другие прорабы по приказанию Силаева. Кто из них чем занимается — видно было по инструментам. Вместе с Шиловым я развел их по рабочим местам, обошел объект и вернулся в прорабскую. В прорабской за моим столом сидел некто Гусев, корреспондент городской газеты. В газете он, видно, считался специалистом по строительным делам, потому что все время околачивался в нашем тресте. Очерки его не отличались стилевым разнообразием и почти все начинались примерно так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают бригадира такого-то...»

Увидев меня, Гусев встал из-за стола и пошел мне навстречу. Был он, как всегда, в вельветовых брюках, болгарской куртке из кожзаменителя и в синем берете.

— Привет, старик,— сказал он в порыве высокого энтузиазма и долго тряс мою руку.

«Ну что ж,— подумал я,— как говорит Писатель, время есть, будем тресть».

— А я к тебе по делу,— сказал Гусев, натрясшись вдоволь.

— Очерк обо мне писать?

— Откуда ты знаешь?

— Такой ты проницательный человек,— сказал я.— Это тебе Силаев посоветовал?

— Он,— сказал Гусев, вынимая толстый, обтянутый резинкой блокнот.

Это событие я воспринял как дурное предзнаменование. Если уж обо мне решили писать в газете, то покоя теперь не дадут.

— Говорят, скоро главным инженером будешь? — спросил Гусев. Он сел напротив меня и положил ногу на ногу.

— Подожди еще,— сказал я,— может, не буду. И вообще ты бы написал о ком-нибудь другом. Вон хоть о Шилове. Лучший бригадир в тресте.

— О нем я уже писал,— сказал Гусев и сделал пометку в блокноте, должно быть, насчет моей скромности.— Ну давай, чтоб зря время не терять, ты мне Расскажи коротко о себе.

— Зачем это тебе? — спросил я.— Все равно напишешь: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с открытым лицом и приветливым взглядом не зря пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин»,— с любовью говорят о нем рабочие».

Гусев положил блокнот на край стола, вежливо посмеялся и сказал:

— Ты, старик, зря так про меня. Я вовсе не поклонник штампов. Понимаешь, я хочу начать с войны. Ты на фронте был?

— Был,— сказал я.— Могу дать интересный материал.

— Сейчас это не нужно,— сказал Гусев.— Вот к двадцать третьему февраля будет готовиться праздничный номер, тогда пожалуйста. Можем даже вместе написать. А пока мне война нужна для начала. Тут у меня будет так: «Сорок пятый год. Тебя вызывают к командиру дивизии и предлагают взорвать здание вокзала...»

— Погоди,— сказал я.— Я вот никак не припомню, чтобы меня вызывали к командиру дивизии. Я с командиром полка разговаривал один раз за всю войну, когда мы стояли в резерве, и он выгнал меня из строя за то, что у меня были нечищенные сапоги.

— Это неважно,— отмахнулся Гусев.

— Вот понимаешь, я ему тоже говорил — неважно. А он мне за разговоры вмазал пять суток строгой гауптвахты. Правда, сидеть мне не пришлось, на другой день нас отправили на передовую.

— Слушай, это все неинтересно,— сказал Гусев.— При чем тут гауптвахта? Я ведь очерк пишу и немного домислил. Имею я право домислить?

— Имеешь,— сказал я,— но дело в том, что в сорок пятом году я не воевал, а учился уже в институте, бегал на костылях с этажа на этаж, потому что лекции у нас были в разных аудиториях.

— А ты что, был ранен? — удивился Гусев.— Я не знал. Это очень интересно.— Он записал что-то в блокнот.

— Очень интересно,— сказал я.— Особенно когда тебе в одно место влепят осколок от противотанковой гранаты. Приятное ощущение.

— Да,— сочувственно сказал Гусев.— Наверно, больно было. Но я про войну просто так, для начала. Мне надо показать, что ты взрывал дома, мечтая их строить. Сейчас тема борьбы за мир очень важна. Ты на войне офицером был?

— Нет,— сказал я,— я на войне был старшим сержантом и никаких домов не взрывал, потому что служил в разведке.

— Какая разница, где ты служил,— сказал он,— для идеи важно, чтобы ты взрывал дома. Теперь ты мне скажи еще вот что. Когда ты решил стать строителем — на войне или еще в детстве?

— Да как тебе сказать,— замаялся я.— Понимаешь, после ранения я жил как раз напротив строительного института. В другие институты надо было ездить на трамвае, а в этот — только перейти дорогу. А я ходил тогда на костылях...

— Понятно,— сказал Гусев, но в блокнот ничего не записал.— Теперь скажи мне еще: у тебя есть какие-нибудь изобретения или рационализаторские предложения?

— Нет,— сказал я,— я принципиально ничего не изобретаю, хочу посмотреть, получится у людей что-нибудь без меня или нет.

— Ну и как?

— По-моему, получается. Уже изобрели такую бомбу, после которой дома и машины останутся, а мы с тобой превратимся в легкое облачко. Но могу тебя заверить, что я в этом изобретении никакого участия не принимал.

— Да,— сказал Гусев и значительно помолчал.

— Да,— сказал я.— А ты знаешь, кто изобрел чайник?

— Чайник? — Гусев задумчиво потер высокий лоб.— Ломоносов?

— Правильно,— сказал я.— Ломоносов открывал закон сохранения энергии, писал стихи, а в свободное время выдумывал чайники. Только не эти, которые стоят у нас в хозяйственном магазине и у которых отрываю ручки. Их выдумал Юрка Голиков, который работает инженером в артели «Посудоинвентарь».

Гусев мне надоел, и я нарочно болтал разную ерунду, чтобы сбить его с толку. Ему это тоже, видимо, надоело. Он положил блокнот в карман, бросил окурок к печке и встал.

— Я лучше напишу,— сказал он,— а потом покажу тебе. Хорошо?

— Правильно,— сказал я.— Пиши, потом разберемся.

Гусев вышел. Я посидел еще немного и пошел по этажам. На объектах, как всегда бывает во время авралов, творилось что-то невообразимое. Одни работали изо всех сил, торопились, другие не работали вовсе, сидели на подоконниках, курили, рассказывали анекдоты. На меня никто не обращал никакого внимания, словно я к этому делу был вовсе непричастен. Мне самому показалось, что я здесь лишний, я ходил ни во что не вмешиваясь, пока не столкнулся с каким-то лохматым малым, который навешивал двери в четвертой секции. Он брал дверные навесы, втыкал шурупы и загонял молотком их чуть ли не с одного удара по самую шляпку. Инструментальный ящик лежал сзади него, весь инструмент и шурупы были рассыпаны по полу.

— У тебя отвертка есть? — спросил я у малого.

— Нет,— сказал он.— А зачем?

— Не знаешь разве, что шурупы полагается отверткой заворачивать?

— И так поедят.— Лохматый махнул рукой и принялся за очередной навес.

— Ты с какого участка? — спросил я его.

— С ермошинского.

Я сам собрал его инструмент, аккуратно сложил в ящик. Парень перестал забивать шурупы и смотрел на меня с любопытством.

Сложив инструмент, я взял ящик и передал его парню.

— До свиданья,— сказал я ему,— передавай привет Ермошину.

Парень взял ящик и долго стоял против меня, покачиваясь и глядя на меня исподлобья.

— Эх ты, шкура! — искренне сказал он и, сплюнув, пошел по лестнице.

Я вернулся в прорабскую и позвонил Силаеву. Я хотел сказать ему, что не буду сдавать дом, пока не приведу его в полный порядок. Пусть Ермошин покупает мне проигранный коньяк. Пусть он знает, что не все такие, как он, что есть люди, которые никогда не идут против своей совести.

Когда я думал об этом, меня распирало от сознания собственного благородства, сам себе я казался красивым и мужественным.

Но весь мой пыл охладила Люся, которая сказала, что Силаев уехал на сессию райсовета и сегодня уже не вернется.

Ну что ж... Можно отложить этот разговор до завтра.

16

В этот день домой я вернулся раньше, чем обычно. У дверей меня встретил Иван Адамович. Он как-то странно улыбался, отводил глаза в сторону, словно был виноват в чем-то. Я сразу понял, что что-то произошло, но догадаться, что именно произошло, было трудно. Я посмотрел на Шишкина, он как-то съехался и глупо хихикнул. Я пожал плечами и прошел в кухню попить воды. В кухне на стуле сидела девочка лет двух, обвязанная полотенцем не первой свежести. Перед ней на кухонном столе стояла тарелка с манной кашей. Девочка набирала кашу рукой, размазывала по лицу, а то, что попадало ей в рот, выплевывала на полотенце.

— Вот, понимаешь ты, — смущенно хихикнул Иван Адамович, — племянница днем оставила. Говорит: «В кино схожу». Шесть часов прошло, а она не идет... Ну-ну, не балуй! — строго закричал он на девочку, которая решила ускорить утомительный процесс размазывания каши и запустила в тарелку обе руки. — Не балуй, — сказал Иван Адамович, — а то дяде скажу, он тебя в мешок посадит.

Девочка вынула руки из тарелки, посмотрела сначала на Ивана Адамовича, потом на меня и заплакала.

— Ну, не плачь, — начал успокаивать ее Иван Адамович, — уходи, дядя. Мы тебе не отдадим Машеньку.

Девочка плакала. Иван Адамович рассердился.

— А я вот твоего крику не слышу, — сказал он. — Понятно? То ись как? А вот так, не слышу, да и все. — Старик сделал язвительное лицо. — Нет никакого крику. И тебя самой нет и меня нет — одно пустое место. Всемирный вакуум. Во!

Девочка посмотрела на него внимательно и заплакала пуще прежнего.

Я пошел к себе в комнату.

— Женя, я тебе там бросил письмо, — крикнул мне вслед Иван Адамович.

Письмо лежало на полу. Я поднял и распечатал его. В нем было всего несколько строчек.

«Здравствуй, дорогой друг Женька!

Решил написать тебе эту писульку, хотя от тебя давно уже ничего не получал. Видно, ты совсем загордился (шутка) и не хочешь знать своих старых друзей. Я здесь работаю начальником СУ, строю один небольшой заводшко. Когда тебе надоест сидеть на одном месте, приезжай ко мне. Работенку подыщем. Для начала будешь старшим прорабом. Работа, как говорится, не пыльная и денежная. Насчет квартиры пока ничего обещать не могу, но потом что-нибудь придумаем. Ну все. Будь здоров

и думай. Привет от Севки. Он работает у меня начальником ПТО, женат, имеет троих детей, но по-прежнему рисует разные пейзажи.

В общем, приезжай. Жду ответа. Жму лапу.

Владик».

Я перечитал письмо два раза. Приятно, черт побери, получить неожиданное письмо от старых друзей. Севка и Владик работают вместе. Интересно, какие они сейчас. Хоть бы фотокарточку прислали, собаки. У Севки трое детей. Подумать только. Я его помню совсем пацаном. Такой рыжий, тщедушный, вся морда в царапинах, он вечно дрался со своей старшей сестрой. Он довольно толково рисовал, и мы думали, что ему прямой путь в живописцы. Но, видно, не получилось. То ли способностей не хватило, то ли еще что.

Я еще раз перечитал письмо. Ну что ж... Пожалуй, оно как раз кстати. Удобный выход из положения. Сдавайте свои дома сами, а я поеду в Сибирь. Я не буду вместе с вами халтурить и краснеть за эту халтуру.

Заодно решится и вопрос с Клавой. Наши отношения слишком затянулись. Теперь все. Не стоит себя обманывать, не стоит мучить друг друга.

В это время в дверь позвонили. У нас в квартире не так уж часто бывают гости — я прислушался. Я слышал, как Иван Адамович отворил дверь, как он говорил с кем-то. Незнакомый женский голос спросил меня. Я вышел в коридор. Женщина стояла на лестничной площадке. Иван Адамович разговаривал с ней через щелочку и придерживал дверь, чтобы в случае чего захлопнуть ее. Я отодвинул Шишкина и пригласил женщину войти. Она прошла, шурша дорогой шубой, усыпанной дождевыми каплями.

— Вы меня, конечно, не помните, — сказала женщина, разглядывая меня и близоруко шурясь. — Мы с вами в прошлом году встречались на дне рождения Клавы.

Но я ее очень хорошо помню. Она была самая толстая на этом вечере. Я даже запомнил, что ее зовут Надя, что она работает гинекологом в той же поликлинике, что и Клава.

— Ну почему же, Надя? — сказал я. — Было бы странно, если бы я не запомнил вас.

Я повесил ее шубу на вешалку и пригласил Надю к себе, извинившись за беспорядок.

— Ничего, — сказала она, входя в комнату и осматриваясь. — Я понимаю. Холостяцкий быт. Если бы у вас была жена...

— Чего нет, того нет.

Я прикрыл за ней двери. Но неплотно, чтобы Иван Адамович не мучился в напрасных догадках.

Надя начала разговор с того, что, очевидно, ее визит мне кажется странным. Я ответил, срочно припоминая все правила хорошего тона, что я, конечно, не ожидал, но это тем более приятно...

— Не думаю, чтобы это было вам очень приятно. — Она достала из сумочки сигарету и закурила. — Тема нашего разговора несколько деликатная... Но я врач и позволю себе говорить прямо. Вы, конечно, знаете, что Клава беременна.

— В общем... Конечно... я догадывался.

— В общем, конечно, — передразнила она. — Что там догадываться? Это — извините меня — видно невооруженным глазом. Но дело не в этом. Дело в том, что Клава хочет, как это говорят, прекратить беременность, а этого ей делать ни в коем случае нельзя. Это для нее просто смертельно опасно. Я несколько не преувеличиваю.

— Почему бы вам не сказать этого ей лично? — спросил я.

— Я ей говорила. Она ничего не хочет слышать. Вашим мнением она дорожит больше, вы должны на нее повлиять.

— Хорошо, — сказал я неуверенно, — я постараюсь.

— Постарайтесь, — сказала она, поднимаясь. — И вообще мой вам совет — женитесь. Я тоже долгое время жила одна и ничего хорошего в этом не нашла.

— Да, но между нами есть небольшая разница, — робко заметил я.

— Абсолютно условная.

Я не стал спорить и проводил ее до дверей. «Ну вот, — думал я, вернувшись в комнату. — Теперь все стало на свои места».

Посидев еще немного, я снял со стула брюки и начал одеваться. Часы показывали половину двенадцатого.

В коридоре мне встретился Иван Адамович. Он держал двумя пальцами байковые штанишки, и лицо его выражало полную растерянность.

— Женя, — сказал он, — гляди-ко, чего наделала срамница. Видишь?

— Не вижу, — сказал я.

— То ись как? — опешил Иван Адамович.

— Так. — Я пожал плечами. — Не вижу, да и все. Это все одно ваше воображение, Иван Адамович.

Свободной рукой Иван Адамович задумчиво поскреб в затылке.

— Так оно ж пахнет, — сказал он неуверенно.

17

Клава еще не спала. Она сидела перед зеркалом в одной рубашке и чем-то мазала волосы. Увидев меня, она растерялась и сунула какой-то флакончик в ящик стола.

— Ты что делала? — спросил я, хотя должен был, наверное, промолчать.

— Ничего.

Она смотрела на меня все так же растерянно. Волосы у нее были мокрые. Я догадался, что она красила их восстановителем. Мне стало жалко ее, и, чтобы скрыть это, я сказал:

— Дура ты.

Она виновато прижалась ко мне напудренной щекой.

Потом спросила:

— Ты зачем приехал?

— Так просто. А тебе что, не нравится?

— Нет, мне очень нравится, только я не ожидала.

— Приятная неожиданность, — сказал я. — Видишь ли... сейчас у меня была Надя...

— Да? — Клава насторожилась. — Ну и что она тебе сказала?

— Она мне сказала все, что надо было.

— Вот идиотка! — рассердилась Клава. — Вот идиотка! А кто ее просил? Я ее просила? Зачем она вмешивается?

— Она говорит, что для тебя это опасно.

— Врет она все. Что она понимает? Ты ей не верь. Я тоже врач и разбираюсь в этих делах не хуже ее.

— Клава, я тебе хочу сказать, что если это действительно так...

Она посмотрела на меня насмешливо.

— Я, конечно, ценю твое благородство, но это не так. Ты не волнуйся, все будет в порядке.

Ну что ж... Раз она сама считает, что это не опасно... Ведь она в самом деле врач.

— Да, ты знаешь,— сказал я,— я получил письмо от Владика. Помнишь, я тебе о нем говорил.

— И что он пишет?

— Ничего особенного. Зовет меня к себе. Он там строит какой-то завод.

— Ты хочешь поехать? — быстро спросила Клава.

— Не знаю,— сказал я.— Теперь едва ли.

— Если хочешь, езжай,— сказала Клава.— Я тебя не держу. Ничего особенного не произошло. Все остается по-прежнему.

— Нет,— сказал я,— теперь было бы просто глупо уезжать. Я скоро буду главным инженером.

— Правда? — удивилась Клава.— С чего это вдруг?

— Не знаю. Так хочет начальство.

— Я очень рада за тебя.— Она притянула мою голову к себе и поцеловала.— Ты знаешь, если тебе без меня лучше — ты уходи. Я тебя не держу. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя связанным.

— Не выдумывай глупости,— сказал я.— Никуда я уходить от тебя не собираюсь.

— А ты меня любишь?

— Да.

Она посмотрела на меня недоверчиво, но ничего не сказала.

Утром, когда я собирался на работу, Клава спросила:

— Теперь не увидимся до самого праздника?

— Почему? — сказал я.— Можем увидеться хоть сегодня.

— Правда? — обрадовалась Клава.— Давай сегодня ходим в кино.

— Давай,— согласился я, хотя в кино мне идти не хотелось. Но я хотел сделать Клаве приятное.

18

Этот день прошел сравнительно спокойно, мне почти никто не звонил, никуда меня не вызывали. Я даже подумал, что обо мне позабыли. В четыре часа, после ухода рабочих, я позвонил в трест, сказал, что не смогу быть на летучке, потому что заболел. И поехал в поликлинику за Клавой.

Фильм, на который собирались сходить мы с Клавой, уже прошел, но в кинотеатре «Новатор» шел другой новый фильм, благо их теперь выпускают много.

Мы хотели пойти на шестичасовой сеанс, но билеты достали только на десять, времени впереди было много, шел дождь, и Клава сказала:

— Твой дом рядом. Пойдем, посидим у тебя. За все время ты меня ни разу не пригласил к себе. Я даже не знаю, как ты живешь.

Дома у меня, как всегда, был беспорядок, и поэтому я согласился без особой охоты.

По дороге мы купили маленького ослика на деревянной подставке и принесли его Машеньке, мать которой совсем пропала.

Увидев незнакомую женщину, Машенька испугалась и расплакалась. Я проводил Клаву в комнату, предупредив ее, что у меня беспорядок, но чтобы она не вздумала убирать. После этого я вернулся к Машеньке и вручил ей подарок. Машенька отнеслась к игрушке равнодушно, зато Иван Адамович был доволен.

— Смотри, какого слоника тебе дядя купил,— весело сказал он.

— Это не слоник, а ослик,— поправил я его.

Иван Адамович прочел по складам название, написанное на ярлычке: «О-сэ-лэ-ик» — и, поставив игрушку на место, сказал упрямо:

— Слоник.

Я не стал спорить.

— Мать так и не приходила? — спросил я.

— Нет, — грустно сказал Иван Адамович, — не приходила. Телеграмму прислала из Воронежа — замуж вышла.

Я вернулся в комнату. Клава стояла у стола и, держа в руках фотографию Розы, рассматривала ее.

— Это твоя новая симпатия? — спросила она с преувеличенным спокойствием.

— Положи на место и не трогай, — сказал я.

Это ее неожиданно возмутило.

— Да? А если я не положу?

— Клава, положи, — сказал я сдержанно и довольно миролюбиво.

— А если не положу?

— Положи! — Я повысил голос.

— Не положу! — заупрямилась Клава.

Тогда я заорал и затопал ногами. Такого со мной еще не бывало. До сих пор, когда я вспоминаю это, мне становится стыдно.

Клава вдруг ни с того ни с сего швырнула карточку на пол. Зазвенело стекло. Вот они, семейные сцены!

Я молча шагнул к ней. Клава посмотрела на меня и побледнела.

— Не смей! Не смей! — закричала она. — Ты потом пожалеешь! Тебе самому будет стыдно!

Хорош я, наверное, был, если Клава подумала, что я ее буду бить.

Дверь приотворилась. В комнату заглянул любопытный ко всему Иван Адамович, но, увидев мое разъяренное лицо, тут же захлопнул дверь.

— Да ты знаешь, кто это? — спросил я зловеще.

— Знаю, — сказала Клава. — Зачем ты мне морочишь голову? Если я тебе противна, можешь катиться к ней. К этой своей...

Клава с плачем вылетела за дверь.

Я прислонился к стене. Я задышался. Снова заныло сердце.

Немного успокоившись, я присел на корточки и стал собирать осколки стекла. В конце концов ничего страшного не произошло. Разбилось только стекло. Карточка осталась целой. Я осторожно освободил ее от осколков и положил на стол.

Большие глаза Розы смотрели на меня задумчиво и грустно. «Эх ты, — подумал я о Клаве, — нашла к кому ревновать».

Моя злость проходила. В чем виновата Клава? В том, что она хуже Розы. Но кто знает, какой была Клава в восемнадцать лет и какой стала бы Роза, если бы ей пришлось прожить столько и так, как Клаве.

Поймав себя на этой мысли, я удивился. Что это значит? Я стал хуже относиться к Розе? Или лучше к Клаве? Я даже испытывал угрызения совести и подумал, не догнать ли и не вернуть ли мне ее. Но, прикинув примерно, что она уже далеко (может быть, подходит к остановке), я сообразил, что бежать надо будет слишком быстро. Бежать мне, понятно, не хотелось. «Завтра позвоню, извинюсь», — решил я.

И как был, в пальто, прилег на тахту.

Потом мне надоело лежать, и я вышел на улицу. Дождь перестал, но все равно было холодно и сыро. На другой стороне улицы в забегаловке горел свет. Там была одна только Зоя. Она протирала вилки и ложки и собиралась уходить. Увидев меня, она удивилась.

— Что-то вы вечером к нам первый раз, — сказала она. — Видно, жена не хочет готовить.

— У меня нет жены,— сказал я.

— Рассказывайте,— кокетливо засмеялась Зоя.— Все мужчины говорят — нет, а потом оказывается,— у него и жена и дети.

— У меня нет жены, Зоя,— повторил я.— И детей тоже нет.

В забегаловке ничего не было, кроме холодных котлет.

Расплачиваясь, я вместе с деньгами вытащил из кармана билеты и только сейчас вспомнил про кино.

— Зоя, в кино хотите сходить? — неожиданно для самого себя предложил я.

— Я бы с удовольствием,— сказала Зоя,— но вы, наверно, шутите.

— Да нет, Зоя, серьезно,— сказал я.— Вот билеты.

Зоя согласилась. Мы вышли вместе, и я помог ей запереть дверь. До начала сеанса оставалось около часа, и мы решили побродить по улице.

Я не знал, с чего начать разговор, и спросил:

— Зоя, а что вы делаете в свободное время?

— Когда как,— сказала Зоя.— Иногда с девочками на танцы хожу или в кино. А то просто сижу дома, выражения переписываю.

— Что?

— Выражения. Ну вот знаете, например, такое выражение: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Это Долорес Ибаррури сказала. Или вот выражение Гюго: «Жизнь — цветок, любовь — мед из него». У меня этих выражений уже целых два альбома есть. Если иметь их много, никаких книжек читать не надо!

— Скажите! Это интересно...— сказал я.— Значит, вы храните в этих альбомах всю мудрость в чистом виде?

— В чистом,— согласилась она.— Вы знаете, у меня почерк очень красивый, хотя даже среднюю школу я не закончила. А вот у моей сестры высшее образование — учительница она,— так вы не поверите, как напишет что-нибудь, сама не разберет. А у вас высшее образование?

— Да вроде бы высшее,— сказал я.

— А правда, что вы очень сильный?

— С чего это вы взяли?

— А мне один мальчик рассказывал. Он с нашей поварихой дружит. Говорит, что с вами вместе работает. Его Сашей зовут.

— Не знаю,— сказал я,— со мной много Саш работает. Как фамилия?

— Фамилию не помню. Русый такой, волосы длинные-длинные.

— А,— догадался я.— Писатель?

— Как, он разве писатель? — удивилась Зоя.

— Ага,— сказал я.— Писатель. Знаешь что, давай будем на «ты». Так как-то проще. Правда?

— Правда,— согласилась она.— Лучше дружеское «ты», чем холодное «вы».

— Вот именно,— сказал я.— И так холодно. Давай зайдем в фойе. Погреемся, журнальчики посмотрим.

Она согласилась. Мы вошли. Посмотреть журнальчики нам не удалось, в фойе выступал режиссер, поставивший эту картину. Стоя у стены, мы слушали его. Режиссер рассказывал, как был поставлен фильм, как героически работал весь съемочный коллектив, какие надежды они возлагают на эту работу. В конце своей речи он сказал:

— Если наш фильм заставит вас над чем-то задуматься, если, посмотрев его, вы станете хоть чуточку лучше и умнее, мы будем считать, что наша задача выполнена.

Ни лучше, ни умнее после этого фильма мы не стали. Когда мы шли из кино, Зоя долго молчала и вздыхала, думая о чем-то своем. И наконец спросила:

— Женя, а что такое любовь?

— Не знаю,— сказал я.

Она вздохнула и сказала задумчиво:

— Любовь — это бурное море, любовь — это злой ураган.

Я с ней согласился.

Мы дошли до ее дома. Я быстро попрощался и ушел, решив, что теперь придется завтракать в другой забегаловке.

20

И вот наступил этот день, которого все ждали в нашем управлении. Утром меня вызвал к себе Силаев. Он сказал, что приказ о моем назначении утвержден и что после праздника я могу принимать дела. С Клавой я до сих пор не помирился. Настроение у меня было отвратительное, мое назначение меня не радовало.

— Ну что, Евгений, выходишь в люди,— бодро сказал Силаев.— Скоро вообще большим человеком будешь. Сегодня сдашь дом, а после праздника примешь дела. Ты чего хмуришься?

— Сами знаете чего,— сказал я.— Халтурить не хочется.

— Что делать? — сказал Силаев.— Не всегда мы можем делать то, что хочется. Райком требует сдать — и против него не попрешь. Теперь такое дело. Первая секция у тебя вроде бы лучше всех отделана?

— Вроде.

— Ну вот. И асфальт возле подъезда есть. А возле других нет.

— Ну и что? — не понял я.

— Да как же — что? Первый день на стройке, что ли? — Силаев развел руками.— На улице грязно, а комиссия придет в ботиночках, люди интеллигентные.

— Думаете, по грязи не захотят ходить?

— Не захотят,— уверенно сказал Силаев — Я их знаю. Сам такой.

Мне было уже все равно. Делайте, что хотите, и я буду делать, что хотите,— так будет спокойней.

Я вышел из кабинета. В приемной толкалось много народу. Секретарша Люся бойко стучала по клавишам машинки — печатала акт сдачи-приемки объекта. Возле нее на стуле сидел Сидоркин и объяснялся Люсе в любви.

— Значит, не пойдешь за меня замуж? — спрашивал он с самым серьезным видом.

— Нет,— отвечала Люся,— ты уже старый и худой.

— Это хорошо,— сказал Сидоркин.— Помру, скелет сдашь в музей— большие деньги получишь.

— Ты чего здесь торчишь? — спросил я его.

— Богдашкина жду. Поговорить надо, хороший он больно уж человек.

В это время в приемной появился Дроботун — представитель райисполкома, бессменный председатель всех комиссий по приемке зданий. Я его не видел месяца три. За это время он еще больше погрузнел, раздался в плечах, и его военный костюм, в котором он несколько лет назад вышел в отставку, уже расплзался по швам. В руках он держал тяжелую от дождя плащ-палатку.

Дроботун кивнул мне и Сидоркину, потом посмотрел, что печатает Люся.

— Готово уже? — спросил он.

— Сейчас будет готово,— ответила Люся.— Оценку поставим сейчас или потом сами напишете?

— Давай сейчас,— сказал Дроботун.— Чтобы не от руки. Официально. Пиши: «Здание принято с оценкой «хорошо».

— А может, оно сделано на «отлично»? — спросила Люся.

— Такого не может быть,— уверенно сказал Дроботун.— На «отлично» Растрелли делал или Росси какой-нибудь. Сейчас все делают на «хорошо».

21

Вскоре пришли еще двое — члены приемочной комиссии. Санинспектор, маленький худой человек с впалой грудью и золотыми зубами, и представитель райкома комсомола, какой-то студент. Должен был прийти еще один представитель от какой-то общественной организации, но Дроботун его дожидаться не стал.

— Ладно,— сказал он,— захотят — потом подойдут. Праздник на носу, жена велела продуктов купить.

— Мне бы тоже поскорей,— откровенно сказал санинспектор.— Костюм надо взять из химчистки.

Студенту, видно, ничего не надо было, он промолчал.

Мы вышли на улицу. Дождя не было, но он мог вот-вот пойти; низкие тучи неслись над землей. Было холодно. На пустыре глинистая почва размокла, пришлось идти в обход по асфальту. Дроботун в развешиваемой плащ-палатке шел впереди, глядя под ноги и осторожно огибая сиреневые от машинного масла лужи. Я посмотрел на его чистые ботинки с войлочным верхом и подумал, что Силаев был прав: ботинки председатель комиссии пачкать не захочет.

Мы подошли к дому и остановились. Плотники уже разобрали забор, дом виден был от дороги, он блестел свежей краской и вымытыми окнами.

— Снаружи вроде бы ничего,— сказал Дроботун,— посмотрим, как там внутри.

— А это что? — показывая пальцем на стену, спросил студент, который до сих пор молчал.

— Где? — спросил Дроботун.

— А вон трещина. Выходит, не успели построить дом, а он уже треснул.

Мы не сразу поняли, в чем дело, а когда поняли, Дроботун переглянулся с санинспектором, и оба они снисходительно улыбнулись.

— Это не трещина,— мрачно сказал я.— Это осадочный шов.

Парень смутился, покраснел, но сказал очень строго:

— Проверим. Покажете потом проект.

Я понял, что хлопот с ним не оберешься.

Так оно и получилось. Пока мы ходили по первой секции, где было в общем все в порядке, студент куда-то сбежал. Мы ходили втроем. Дроботун рассеянно тыкал пальцем в стены, смотрел окна, двери. В одной квартире он показал мне на мокрый пол.

— Надо было раньше поливать,— хмуро сказал Дроботун,— чтоб успел хоть немножко высохнуть.

Это была работа Писателя. Попался бы он мне сейчас на глаза, я из него душу бы вытряс.

Санинспектор занимался своими делами: смотрел кухни, ванны, уборные, дергал ручки спускных бачков. Полы и двери его не интересовали.

Мы обошли все этажи, и я предложил председателю и санинспектору

посмотреть вторую секцию. Предложил я это просто для очистки совести, наверняка знал, что они откажутся.

— Чего там смотреть? — сказал Дроботун. — Все ясно. Где акт?

Я вынул акт, сложенный вчетверо, из кармана. Я уже думал, что сейчас все кончится, и обрадовался. Если уж я не могу делать все, как полагается, так пускай хоть будет меньше возни.

В это время открылась дверь, в комнату, где мы находились, вошел студент, мокрый с ног до головы, в ботинках и брюках, облепленных грязью.

— Опять дождик пошел? — глядя на студента, насмешливо спросил Дроботун.

— Я был во второй секции, — отдышавшись, сказал студент.

— Ну и что?

— Ничего. Все плохо. Дом принимать нельзя.

— Так уж и нельзя? — переспросил Дроботун.

— Нельзя, — уверенно сказал студент. — Я акт не подпишу.

— Подпишешь, — сказал Дроботун.

— Да вы пойдите посмотрите, что там творится.

Дроботун посмотрел на свои ботинки, потом на санинспектора.

— Придется идти, — сказал санинспектор, хотя тоже был недоволен этим.

Мы вышли на улицу. Вдоль стены от первого подъезда ко второму были положены кирпичи, но расстояние между ними было слишком велико. Дроботуну сохранить ботинки не удастся, это было понятно сразу. Студент, которому терять было уже нечего, уверенно плыл впереди.

Ничего страшного во второй секции не было — обычная наша работа. Кое-где двери не закрывались.

— Вот, — сказал студент, — двери не закрываются.

— Сырость. Поэтому не закрываются, — пояснил Дроботун.

— Если бы одна дверь... — сказал студент.

— Сырость на все двери действует сразу, — заметил санинспектор.

Ему-то уж до дверей было меньше всех дела. Он думал, наверное, о химчистке, в которой после двух часов будет такая очередь, что не достоишься.

— А теперь поднимемся выше, — сказал студент. Он говорил уже так уверенно, словно был самым большим нашим начальником. Он пошел впереди, перепрыгивая через ступени, мы не спеша плелись следом.

— Карьерист, — глядя студенту в спину, тихо сказал Дроботун. — Такой молодой, а уже выслуживается.

— Смолоду не выслужишься, потом поздно будет, — деловито заметил инспектор.

Студент вывел нас на балкон четвертого этажа и толкнул сильно балконную решетку. Она оторвалась от бокового крепления и закачалась. Это была та самая решетка, которую варил Дерюшев.

— Вот видите, — сказал студент торжествующе и посмотрел на Дроботуна. Тот нахмурился.

— Это уже непорядок, — сказал он. — А вдруг кто свалится? Подсудное дело. Пускай сегодня же приварят.

— А потом подпишем акт, — добавил студент.

— Акт подпишем сейчас, — сказал Дроботун. — Решетку он приварит.

— А двери? А окна? — спросил студент.

— Это ерунда, — сказал Дроботун. — Подсохнет — и все будет нормально. Ты уж хочешь, чтоб вообще все было без придирок. А сроки у него какие?

— Сроки,— сказал студент.— Все гонят, лишь бы сдать дом, а потом сразу же в капитальный ремонт. Раньше дома строили вон как. По пять-сот лет стоят.

— Раньше на яичном желтке строили,— заметил Дроботун.— А теперь мы яичницу сами есть любим.

Разговор принимал отвлеченный характер. Я стоял в стороне, как будто меня это все не касалось. Я был зол на Дроботуна. Ему до этого дома нет никакого дела, важно поскорее отделаться и сообщить начальству, что все в порядке. Я так разозлился, что мне было уже наплевать на все, что будет потом. В конце концов и с семьей можно уехать в Сибирь. Поэтому, когда Дроботун предложил мне подписать акт, я отказался.

— Ты что, шутишь? — удивился Дроботун.

— Не шучу,— сказал я.— Он прав. Дом сдавать еще рано.

— Да ты понимаешь, что говоришь? Это ж будет скандал. Уже во все инстанции сообщили, что дом сдается. Подарок комсомольским семьям.

— Он прав,— сказал я,— такой подарок никому не нужен.

— Да вообще-то, может, и нужен,— вдруг засомневался студент. Должно быть, он пожалел меня.

— Выйди,— строго сказал ему Дроботун, и студент вышел.

Некоторое время Дроботун молча стоял у окна и ковырял ногтем замазку.

— Ну чего ты дуришь? — сказал он.— Ты представляешь, чем дело пахнет? Давай быстро подписывай, а мы тоже подпишем. Студент тоже подпишет.

На какую-то секунду я заколебался, но потом меня понесло.

Я подумал: «Будь что будет, подписывать акт я не стану. В конце концов хорошая у меня работа или плохая — она единственная. И если эту единственную работу я буду делать не так, как хочу и могу, зачем тогда вся эта волюнка?»

— Вот что,— сказал я Дроботуну,— вы идите, а дом я пока сдавать не буду. Встретимся после праздника.

Он посмотрел на меня и понял, что дальше спорить со мной бесполезно.

— Как хочешь,— сказал он,— тебе же хуже.

В контору я пошел не сразу, сначала заглянул в прорабскую. Там сидели все рабочие, они курили, переговаривались, ожидали меня. При моем появлении все замолчали и повернули головы ко мне.

— Ну чего смотрите? — сказал я, остановившись в дверях.— Идите работать.

— Значит, объект не приняли? — спросил Шилов.

— Не приняли.

— Почему?

— Потому что надо работать как следует. Собери сейчас плотников, пусть обойдут все квартиры и подгонят двери. Не успеют сегодня, будем работать после праздника до тех пор, пока не сделаем из дома игрушку. Дерюшев, ты ту решетку так и не заварил?

— Я варил,— сказал Дерюшев неуверенно.

— Так вот пойдй еще раз перевари. А я потом сам проверю.

Зазвонил телефон. Я попросил Шилова снять трубку.

— Алло,— сказал Шилов.— Кого? Сейчас посмотрю. Силаев,— шепнул он, прикрыв трубку ладонью.

— Скажи: ушел в контору, сейчас будет там,— сказал я.

Пока я дошел до конторы, Дроботун уже, наверное, успел туда позвонить, там поднялся переполох. Секретарша Люся куда-то звонила, просила отменить какой-то приказ. Возле нее стоял Гусев и спрашивал, как же теперь быть с очерком, который уже набран.

— Может, мне поговорить с Силаевым, он даст кого-нибудь другого?

— Конечно,— сказал Сидоркин, который все еще здесь крутился в ожидании Богдашкина.— Тебе ведь только фамилию заменить, а все остальное сойдется.

— У хорошего журналиста все, если надо, сойдется,— сказал Гусев, глядя куда-то мимо меня, как будто меня здесь не было вовсе.

— Силаев у себя? — спросил я у Люси.

— У себя. Он ждет вас,— сухо ответила Люся.

Разговор с Силаевым не получился. Как только я вошел, он стал на меня топтать ногами и кричать, что я подвел не только его, но и весь коллектив, что теперь нам не дадут ни переходящего знамени, ни премий и вообще райком сделает свои выводы.

Дальше — больше. Он сказал, что теперь ему мой облик совершенно ясен, что должности главного инженера мне не видать как своих ушей и что вообще он выгонит меня, как собаку.

Я все это терпел, но, когда он сказал, будто только служебное положение мешает ему набить мне морду, я не выдержал.

Я взял с его стола пластмассовое пресс-папье и раздавил его одной рукой, как пустую яичную скорлупу. Я сказал, что и с ним мог бы сделать то же самое, если бы он посмел меня тронуть. И вышел.

В дверях мне встретился Гусев. Сидоркин сидел у стены и молча курил. Люся стучала на машинке.

— Ну что,— спросил Сидоркин,— поговорили?

— Поговорили,— сказал я.— Нет Богдашкина?

Сидоркин не успел мне ответить: из кабинета Силаева выскочил красный Гусев, он осторожно прикрыл за собой дверь, пожал плечами, вышел в коридор. Мы с Сидоркиным подождали немного и тоже вышли.

Закурили. Зажигая спичку, я почувствовал, что у меня дрожат руки. Должно быть, от волнения. Никогда раньше руки у меня не дрожали.

— Нервный ты стал,— глядя на меня, сказал Сидоркин,— лечиться надо.

— Пошли, подлечимся,— сказал я.

Мы пошли напрямую через пустырь. На мне были резиновые сапоги, поэтому я шел впереди, нащупывая дорогу. Половину пути прошли молча. Потом Сидоркин сказал:

— Чего это ты сегодня со сдачей намудрил?

— Я не мудрил,— ответил я.— Просто не хочу халтурить. Хочу быть честным.

— Честность,— хмыкнул сзади Сидоркин.— Кому нужна твоя честность?

— Она мне нужна,— сказал я.

Мы купили бутылку водки, зашли в столовую. Рабочий день еще не кончился, в столовой почти никого не было. Маруся вытирала столы. Она заметила, что карман у Сидоркина оттопырен, и покачала укоризненно головой. Мы сели за свой столик в углу, Сидоркин разлил водку в стаканы. Выпили.

— Дуб ты,— сказал Сидоркин, закусывая виноградетом.— Сейчас бы главным инженером был.

— Обойдусь.

— Обойдешься,— сказал Сидоркин.— Так вот и будешь всю жизнь старшим прорабом, если еще не понизят.

— Ты думаешь, все счастье в том, какое место занимаешь? — спросил я.

— А ты думаешь в чем?

— Не знаю,— сказал я.— Может, и в этом. А может, и нет. По крайней мере я знаю, что живу, как хочу. Не ловчу, не подлаживаюсь под кого-то, не дрожу за свое место.

— Не дрожишь,— сказал Сидоркин.— Потому и летаешь с места на место. Теперь тебя здесь съедят. Куда денешься?

— В Сибирь поеду,— сказал я.— Ребята зовут. Вместе в институте учились.

— А ребята тебе квартиру приготовили?

— Не в квартире дело,— возразил я.

— Кто знает, может, и в квартире. Сколько можно человеку мыкаться без своего угла, без семьи, без... А, что там говорить! — Сидоркин махнул рукой.— Давай выпьем.

Таким серьезным я его никогда еще не видал. Мы выпили. Сидоркин поставил бутылку под стол. Сделал он это вовремя — в столовую вошли знакомые нам дружинники. Остановившись у дверей, они быстро сориентировались в обстановке и направились к нашему столику. Высокий дружинник отогнул скатерть и заглянул под стол.

— Поднимите, пожалуйста, ноги,— попросил он Сидоркина.

— Пожалуйста,— сказал Сидоркин и поднял ноги.

Под столом ничего не было. Дружинники переглянулись и пожали плечами.

— Ладно, пошли,— сказал высокий, и они направились к выходу.

Но Сидоркин остановил их.

— Ребята, показать? — спросил Сидоркин. Он был опять в своем репертуаре.

Дружинники снова переглянулись, и маленький первым не выдержал.

— Покажите,— попросил он.

— Только прежний уговор — никому ни слова,— на всякий случай условился Сидоркин.

— Никому,— хмуро буркнул высокий дружинник.

— Ну что с вами делать,— вздохнул Сидоркин.— Глядите.— Он поднял правую штанину — под ней на тыльной стороне ступни стояла пу-стая бутылка.

24

В прорабской сидели трое: Шилов, Дерюшев и Писатель.

— Шилов,— спросил я,— плотники работают?

— Работают,— сказал Шилов,— да что толку? Все равно не успеют, полчаса осталось до конца.

— Хорошо,— сказал я,— сколько успеют, столько успеют. Дерюшев, заварил решетку?

— Нет.

— То есть как?

— Да так.— Дерюшев флегматично пожал жирными плечами.— Баллон с кислородом надо поднять на четвертый этаж, а край отключили.

— И вы, такие здоровые лбы, не можете поднять один баллон? — спросил я совершенно спокойно, но чувствуя, что скоро сорвусь.

— Как же поднимешь,— сказал Дерюшев,— когда в нем больше центнера весу.

— А ты знаешь, что египтяне, когда строили пирамиду Хеопса, поднимали на высоту в сто сорок семь метров глыбы по две с половиной тонны?

— Без крана? — недоверчиво спросил Писатель.

— Без крана.

— Без крана навряд,— покачал головой Шилов.

Конечно, можно было на них орать и топтать ногами, но этим их не проймешь.

— А ну-ка пошли,— сказал я и первым вышел из прорабской.

Баллоны лежали возле подъезда в грязи. Я поднял с земли щепку, поставил баллон на попа и очистил его немного. Потом взвалил его на плечо. Шилов, Писатель и Дерюшев выступали в роли зрителей. Пройдя первые десять ступенек, я понял, что слишком много взял на себя. Лет пять назад я мог пройти с таким баллоном втрое больше, теперь это было мне не под силу. Меня качало. На площадке между вторым и третьим этажами я споткнулся и чуть не упал, но вовремя прислонил баллон к батарее отопления. Подбежал Шилов.

— Евгений Иванович, давай подмогнем.

— Ничего,— сказал я,— обойдусь.

Неужели я так ослаб, что ничего уж не могу сделать? Я пошел дальше. У меня еще хватило сил осторожно положить баллон на пол.

— Ну что,— сказал я,— поняли, как строилась пирамида Хеопса?

— Вам бы, Евгений Иванович, вместо крана работать,— почтительно пошутил Писатель.

Я ему ничего не ответил. Я сказал Дерюшеву, чтобы сейчас же заварил решетку, и Шилову, чтобы потом закрыл прорабскую и отнес ключ в контору. После этого я пошел домой. Мне нездоровилось.

Дома я разделся, умылся, согрел чаю. Ко мне пришла Машенька, и мы стали пить чай вместе. Я наливал ей в блюдечко, и она, сидя у меня на коленях, долго дула на чай, чтобы он остыл. Потом мне стало плохо. Я снял Машеньку с колен и пошел к кровати. Мне показалось, что кровать слишком далеко, и я опустился на пол. Машенька засмеялась. Она подумала, что я играю. Пол подо мной закачался, и стены тоже. Мне вдруг показалось, что я лечу куда-то вверх ногами. Так, говорят, наступает состояние невесомости.

25

Сразу же после праздника ударил мороз и прошел снег. Теперь все вокруг бело: белый снег, белые простыни, белые халаты.

Больница, в которой я лежу,— одна из лучших в городе. Здесь тепло и уютно, много света и воздуха. И если вначале мешает запах лекарств, то потом постепенно к нему привыкаешь.

В палате двенадцать коек. Люди все время меняются. Когда кто-нибудь должен умереть, старая санитарка тетя Нюра заранее кладет у его постели чистое белье, потому что больничные койки не должны пустовать.

И я и мои соседи знаем, что если возле кого-нибудь кладут свежие простыни, то он уже не жилец. Тетя Нюра утверждает, что за всю жизнь не ошиблась ни разу.

А вообще она приветливая и услужливая старушка. Все двенадцать часов своего дежурства она проводит на ногах, ходит от койки к кой-

ке — там поправит одеяло, здесь подаст «утку» или еще чем услужит. Я ее всегда встречаю одним и тем же вопросом: скоро ли она принесет мне белье?

И старушка тихо смеется — она рада, что ей попался такой веселый больной.

Больница — хорошее место для размышлений. Здесь можно оглядеть все свое прошлое и оценить его. Можно думать о настоящем и будущем.

Я прожил жизнь не самую счастливую, но и не самую несчастную — многие жили хуже меня. Может быть, при других обстоятельствах я дослужился бы до высоких чинов, но к этому я никогда не стремился и никогда не жертвовал для этого своей совестью. Только один раз я поколебался, но устоял и не жалею об этом.

Но иногда мне приходит на ум, что я что-то напутал в жизни, что не сделал чего-то самого главного, а чего именно — никак не могу вспомнить. И тогда мне становится страшно. Мне всего только сорок два года. Это ведь совсем немного. Я еще мог бы долго жить и сделать то самое главное, чего я никак не могу вспомнить.

Если я завтра умру, от меня ничего не останется. Меня похоронят за счет профсоюза, и Ермошин или кто-нибудь такой же бойкий, как он, соврет над моим гробом, что память обо мне будет вечно жить в сердцах человечества. И наши прорабы — та часть человечества, которая знала меня, — вскоре забудут обо мне и если и вспомнят при случае, то вспомнят какую-нибудь чепуху вроде того, что я сгибал ломик на шее.

Каждый день между шестью и семью вечера ко мне в гости приходит Клава. Пользуясь своими связями, она приходила даже во время карантина, когда больница для посещений была закрыта.

Она садится рядом со мной, и мы долго говорим о разной ерунде, вспоминаем, как жили на Печоре, как познакомились. И она задает мне разные вопросы, и я отвечаю, и, как ни странно, это ничуть не раздражает меня.

Однажды она сказала, что, как только мне станет лучше, она тоже ляжет в больницу.

— Зачем? — спросил я.

Она вдруг покраснела и сказала:

— Ты сам знаешь зачем.

И я удивился, что она покраснела. Ведь не девочка, и столько лет мы знаем друг друга. Но мне почему-то было приятно, что она покраснела.

— Никуда ты не пойдешь, — сказал ей я. — Особенно если мне станет лучше. Пусть все остается, как есть. У нас будет ребенок, и мы никогда не будем ссориться. Только бы мне стало хоть немножечко лучше.

— Все будет хорошо, — сказала Клава. — Я говорила с лечащим врачом, она обещает, что через недельку ты сможешь ходить.

Обещает. Что она может обещать, когда у меня разрыв не рубцуется?

— Между прочим, я с ней хочу поговорить. Может, она разрешит мне ухаживать за тобой.

— Нет, нет, нет, — пугаюсь я. — Не хватает еще того, чтобы ты выносила после меня горшки.

— Это не так уж страшно, — улыбается она.

Нет, я, конечно, не могу ей этого разрешить, хотя знаю, она с радостью пошла бы на это. Что-то не могу я представить себе в этой роли Розу. Может быть, настоящая любовь заключается именно в том, чтобы и горшки выносить.

Однажды в палате появился Сидоркин. Он был все такой же тощий, а мне казалось, что за это время все должны были перемениться. На нем был белоснежный халат и по обыкновению грязные ботинки. Просто удивительно, где человек может найти столько грязи в такую погоду. Тетя Нюра посмотрела на его ботинки осуждающе, но ничего не сказала. Сидоркин сел на стул рядом со мной и положил на тумбочку кулек с мандаринами.

— Лежишь, значит?

— Как видишь.

— Что ж это ты так,— сказал Сидоркин,— подкачал? От нервов, что ли?

— Нет,— сказал я.— Просто я слишком много поднял. Что нового в управлении?

— Новостей вагон и маленькая тележка,— сказал Сидоркин.— Тут вот я тебе подарок принес.

Он вынул из кармана затасканную газету, развернул ее и протянул мне. Там был напечатан очерк под рубрикой «Герои семилетки». Очерк назывался «Принципиальность». Начинался он так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин»,— говорят о нем любовно рабочие».

В Гусеве-то я не ошибся...

Расстояние в полкилометра

1

От Климашевки до кладбища — полкилометра. Чтобы покрыть такое расстояние, нормальному пешеходу понадобится не больше семи минут.

В воскресенье произошло небольшое событие — умер Очкин. Возле дома покойника стояла Филипповна и, удивленно разводя руками, говорила:

— Тильки сьогодни бачнла його. Пишла я до Лаврусенчихи ситечко свое забрать... Хороше в мене таке ситечко, тильки з краю трохи продрано. А Лаврусенчиха давно вже взяла його, каже: «Завтра принесу», тай не несе. А воно ж мени нужно то ситечко, бо шо ж я без нього буду робить. Иду я, значить, тут по стежечке, колы дывлюсь: назустрічь Очкин. Тверезый и наче веселый. Ще спытав: «Де идешь?» — «Та от, кажу, до Лаврусенчихи иду ситечко свое забрать». А вин ще каже: «Ну иди». А тут бачь — помер.

2

Еще сегодня утром Афанасий Очкин был совершенно здоров. Он встал, оделся, умылся подогретой водой и, пока жена его Катя готовила завтрак, пошел в сельмаг за солью. В сельмаге была только крупная соль, поэтому Очкин, поговорив с продавщицей, пошел через все село в другой магазин, или, как его называли, «чапок». В чапке мелкой соли тоже не оказалось, но зато был вермут в толстых пыльных бутылках. Очкин отдал продавщице Шуре все деньги, и та налила ему стакан вер-

мута, правда, неполный, потому что у Афанасия до полного стакана не хватало двух копеек. Очкин поговорил с Шурой, потом из пивной кружки насыпал в кулечек две ложки крупной сырой соли и собрался уже совсем идти домой, да увидел двух дружков — плотника Николая Мерзликина и счетовода Тимофея Конькова, которые тоже пришли в чапок выпить. Очкин знал, что дружки ему не поднесут, но на всякий случай стал изучать взглядом консервные банки, выставленные на прилавке.

Он терпеливо рассматривал эти банки, пока Николай с Тимофеем покупали вино и закуску. Они взяли бутылку вермута, кильки в томате и сто граммов соевых конфет. Потом вышли и, расстелив на пыльной траве газету, сели в холодок под дерево. Афанасий следил за ними в окно. Он подождал, пока они распечатают выпивку и закуску, и только после этого подошел к ним.

— Приятного аппетита, — вежливо сказал он и присел рядом.

Дружки неприязненно покосились на него и, молча чокнувшись, выпили. Тимофей складным ножиком полез в банку за килькой, а Николай сплюнул.

— Вода, — сочувственно сказал Очкин. — Зеленого вина сейчас не найдешь. Моя позавчера в Макинку ездила, там тоже нет. Запрет на нашего брата накладывают.

Потом он взял в руки бутылку с остатками вина и повертел ее в руках.

— Тут на двоих уж, считай, ничего не осталось, — сказал он и с надеждой посмотрел на Николая.

— Не твое дело, — грубо сказал Николай, забирая бутылку. — Ты тридцать копеек когда отдашь?

Кроме плотницкого дела, Николай знал еще парикмахерское. и этим изредка подрабатывал на дому, так как парикмахерской в селе не было. Очкина он подстриг два дня назад в долг.

— Да вот Катя на той неделе повезет в город сметану, тогда и отдам, — пообещал Очкин, с грустью наблюдая за тем, как Николай аккуратно разделил вино на два стакана. — Ну ладно, — нехотя приподнялся Очкин. — Надо жене кой-чего подсобить по хозяйству. До свидания вам.

Его никто не задерживал. По дороге домой он и встретил Филипповну. И Филипповна была последней из тех, кто видел Очкина живым.

3

Вернувшись домой, Очкин поругался с женой из-за потраченных на вино денег и разнервничался. Жена тоже разнервничалась. Она налила ему супу, а сама пошла в огород докапывать картошку.

Вернувшись, она увидела, что муж сидит за столом, уткнувшись в тарелку, и рыжие волосы его мокнут в гороховом супе.

Фельдшерница Нонна, осмотрев покойника, велела с похоронами обождать и пошла звонить в город, чтобы вызвать врача для установления причины смерти Очкина.

Тем временем возле хаты покойника народу скоплялось все больше и больше. Высказывались различные предположения и догадки. Филипповна, например, сказала, что Очкин, должно быть, отравился, иначе отчего бы ему ни с того ни с сего умереть.

— Будет болтать-то, — хмуро возразила только что подошедшая Лаврусенчиха. — Нам, бабам, чего ни случись — лишь бы языками помолотить. Я вот сама прошлый год чуть не умерла. Помнишь?

— Не помню, — сказала Филипповна.

— А я помню. А как все получилось? Торговала я в городе молочком. Стою себе за прилавком, когда подходит одна. «Почем, слышь, молоко?» — «Да как у всех, говорю, по три рубля». — «Чтой-то больно дорого», говорит. «Куда уж, говорю, дорого. Ты бы, слышь, сама походила бы за коровой, да поубирала бы за ней, да сена бы на зиму припасла, а потом, может, и задаром отдашь молочко». А она в этот момент на меня как глянет: «Неужто Марья Лаврусенкова?» — «Я самая», говорю. «А меня неужто не признаешь? Я ж прошлый год у вас в Климашевке, почитай, целый месяц жила. Давненько не виделись». — «Давненько», говорю. А сама про себя думаю: «Я тебя и сейчас бы не видела, кабы ты не пришла». А она меня давай нахваливать: «Уж ты, слышь, и справная стала, и гладкая, и на личность вся розовая, прямо кровь с молоком». А сама как зыркнет на меня своими глазами, как зыркнет. Мне сначала будто и ни к чему. А потом я подумала: «Ба-атюшки, так она ж меня сглазит!» И сразу в сердце у меня будто что оборвалось. Схватила я свои бидоны и, даром что за место было уплочено, кинулась на автобус. Да насилушки до дому добралась. Да потом целну неделю пролежала. Спасибо, люди добрые бабку из Мостов призвали, и она меня заговором да студеной водой выходила. Вот как бывает, — заключила Лаврусенчиха и снисходительно посмотрела на Филипповну.

Потом она склонила голову набок и прислушалась. За окнами очкинской хаты голосила вдова.

— Густо орет, — строго сказала Лаврусенчиха, — густо. Помню, матушка моя, когда брат ейный, дядя мой значит, в крушение попали, так она уж так убивалась, так кричала. Тонко да с надрывом. Аж сердце холонуло. Ну, ладно, — сказала она, помолчав. — Пойду спрошу у Кати, может, чего подмогнуть надо.

4

Солнце передвинулось к зениту, тень ушла, а Николай и Тимофей сидели на старом месте и спорили о том, сколько колонн у Большого театра. Тема спора была старая. Когда-то они оба в разное время побывали в Москве и с тех пор никак не могли решить этот вопрос и даже заспорили на бутылку водки. И не то чтобы делать им было нечего. Просто оба любили поспорить, а помочь им никто не мог. Остальные жители или вовсе не бывали в Москве, или бывали, да не считали колонны.

Тимофей однажды написал письмо во всесоюзное радио в редакцию передач «Отвечаем на ваши вопросы». Но на вопрос Тимофея радио ничего не ответило. Вопрос оставался открытым. Сейчас, сидя возле чашки за четвертой бутылкой вермута, дружки пытались решить его путем косвенных доказательств.

— Значит, ты говоришь — шесть? — переспросил Николай.

— Шесть, — убежденно ответил Тимофей.

— Тупой ты, Тимоша, — сочувственно вздохнул Николай. — Подумал бы своей головой: как же может быть шесть, когда в нашем Доме культуры шесть колонн. Дом культуры-то районного значения, а Большой театр, считай, на весь Советский Союз один.

Довод был убедительный. Пока Тимофей придумывал довод еще убедительней, подошла Марья Лаврусенкова и, посмотрев на них, укоризненно покачала головой:

— Баламуты вы, одно слово баламуты. Картошка-то в огороде еще небось не копана, а они с утра пораньше водку жрут. Пошел бы лучше покойнику домовиночку справил, — повернулась она к Николаю.

— Какому еще покойнику? — Николай недоуменно пошевелил густыми бровями.

— Да какому ж? Очкину Афанасию, царство ему небесное.

— Очкину? Ай помер? — удивился Николай.

— А ты только узнал? — в свою очередь удивилась Лаврусенкова.

— Да он же только что вот на этом месте сидел. Еще тридцать копеек за стрижку обещался принести. Скажи, Тимоша.

— Шесть, — бездоказательно буркнул Тимофей, который думал все время о колоннах, но так и не нашел убедительный довод.

5

Перед вечером из города приехала санитарная машина. Покойника положили в крытый кузов, для того чтобы отвезти на экспертизу. Шофер достал из-за кабины измятое ведро и пошел к колодцу за водой для радиатора. В ожидании его девушка-врач села в кабину и развернула какую-то книжку. Книжка, видно, была интересная. Читая ее, девушка то хмурилась, то улыбалась, и Николай с любопытством следил за ней сквозь полуоткрытую дверцу кабины. Потом он обратил внимание на саквояж, который лежал на коленях у девушки. Красивый желтый саквояж с металлическими застежками. Жена Николая собиралась отметить свой день рождения, и Николай подумал, что неплохо было бы подарить ей такую красивую сумку. Но где ее взять, Николай не знал и решил спросить об этом у девушки.

— Не знаю, — ответила девушка, не отрываясь от книжки. — Я ее в Москве купила.

— В Москве? — с уважением переспросил Николай. — А сами, случаем, не московская будете?

— Московская.

— Да ну! — удивился Николай и, недоверчиво посмотрев на нее, решил уточнить: — Из самой Москвы или, может, поблизости?

— Из самой Москвы, — сказала девушка и улыбнулась. Должно быть, своим московским происхождением она немного гордилась.

— Тогда у меня к вам вопрос будет, — решительно сказал Николай. — Тут у нас с одним нашим товарищем, климашевским, спор вышел. Насчет колонн у Большого театра. Я ему — восемь, а он мне — шесть. Как говорится, ты ему плюнь в глаза, а он говорит — божья роса. А спросить в точности не у кого. Народ тут у нас такой — ничего не знает. Зря хвалиться не буду, сам тупой, но уж чего-чего, а посчитать что хочешь посчитаю. Я ведь тут плотником работаю. Меня все знают. Спроси вот такого пацана: «Где тут плотник Николай живет?» — и он тебе в любой момент покажет. Вон он мой дом под железной крышей. Сам прошлый год покрыл. Железа-то не было. Пришлось бочки из-под солярки покупать... Раскатал их — и гляди как ладно получилось. Я думаю, не хуже, чем у людей. Придете, чайку попьем, поговорим. Жена у меня городская, официанткой в ресторане работала. Я ее из города и взял. Здесь, конечно, ресторанов нет, и специальность пропадает. А я ее работать много и не заставляю, сам хорошо зарабатываю. Кому пол перестелить, кому дверь навесить — все за мной бегут. Сейчас вот директор говорит, рамы надо новые в конторе поставить. А я всегда пожалуйста. Потому и живем хорошо. Дочка Верунька в четвертый класс пошла. А у этого, — Николай показал на кузов, в котором лежал Очкин, — детей не было. Детей-то ведь кормить надо. А за что кормить? Работать-то он не любил. Все новил на чужом горбу в рай...

Начав говорить, Николай уже не мог остановиться и, прислушиваясь к собственному голосу, с удовлетворением замечал, как складно у него

все получается. Он смог бы так говорить до самого вечера, но ему помешал шофер, который, залив в радиатор воду, сел рядом с докторшей и включил зажигание.

— Уже едете? — спохватился Николай. — Счастливый путь. Значит, восемь?

— Что — восемь?

— Колонн у Большого театра, — терпеливо напомнил Николай.

— Кажется, восемь, — вспоминая, сказала девушка. — А может быть, и шесть. Знаете что, я дома постараюсь выяснить этот вопрос и в следующий раз скажу вам точно. Идет?

— Идет, — уже не веря ей, уныло согласился Николай. И, проведив машину глазами, повернулся к Филипповне: — А говорит, из самой Москвы.

6

Ни в Климашевке, ни в Мостах, ни даже в Долгове не было плотника лучше, чем Николай. Может, лучшего плотника не было и во всей области, но этого никто не мог сказать с полной уверенностью.

Во всяком случае не зря в прошлом году, когда надо было отделять районный Дом культуры, приезжали не за кем-нибудь, а именно за Николаем. Он там и узорный паркет стелил, и стены в танцевальном зале дубовыми да буковыми планочками выложил — короче говоря, такие вещи делал, что не каждому краснодеревщику под силу.

Архитектор, который руководил строительством, сказал, что, если бы Николаю дать красное дерево, он смог бы сделать что-нибудь необыкновенное.

Но красное дерево ни в Климашевке, ни поблизости не росло, поэтому, вернувшись из района, Николай занимался тем, чем занимался и раньше: рубил избы, стелил полы, делал люльки для новорожденных. А когда случалось, делал и гробы — кто ж еще их будет делать?

На другой день после смерти Очкина Николай поднялся на рассвете и вышел на улицу. На улице стоял белый густой туман. Он был настолько густой, что соседняя хата была видна только наполовину — та ее часть, что не была побелена. В другой части виднелось только окно, даже не окно, а желтое, расплывающееся в тумане пятно электрического света. На железном засове сарая и на ржавом замке застыли мелкие капли. «Должно быть, это от атома туманы такие», — подумал Николай, снимая замок, который на ключ не запирался и висел просто так, для близиру. Он вошел в сарай и, подсвечивая себе спичками, вытащил из угла на середину четыре половых доски, промерил их складным деревянным метром и провел красным карандашом под угольник четкие риски, которые видны были даже в полумгле. Потом покурил и, пока совсем не развиднелось, стал наводить инструмент на оселках — сначала на крупном, потом на мелком. Когда стало светло, он отесал топором края пропунтованных досок и принялся за работу.

Работая, он думал о том, как странно устроена жизнь. Еще вчера Очкин сидел рядом с ним возле чапка и надеялся, что Николай поднесет ему стопочку, а сегодня Николай ладит ему гроб. А три дня назад Николай еще подстригал Очкина под полубокс, как тот просил. И хотя Очкин умер, так и не отдав ему тридцати копеек за стрижку, хотя при жизни Николай относился к нему пренебрежительно, сейчас он испытывал перед покойником непонятное чувство вины, какое часто испытывают живые перед мертвыми. Он чувствовал себя виноватым и в том, что не дал человеку перед смертью вина, и в том, что требовал у него эти самые тридцать копеек. Не такие большие деньги, чтобы обижать человека.

А еще виноват был Николай перед покойником в том, что потешался над ним и один раз за чекушку водки заставил катать себя в тачке по всей деревне. Вся деревня тогда вышла на улицу и хохотала впокатыши, а Николай спокойно сидел в этой тачке и смотрел на народ без всякого выражения.

Вспомнив все это, Николай решил искупить свою вину перед Афанасием и сделать ему такой гроб, каких еще никому не делывал.

Закрепив в верстаке доски, он обстругал их кромки сначала рубанком, потом фуганком с двойной железкой и сделал это так хорошо, что доски смыкались краями без всякого зазора.

Потом он позавтракал, сходил в контору и, взяв отгул за позапрошрое воскресенье, работал без перекура до двух часов.

В два часа в сарай вошла его жена Наташа и позвала обедать.

— Успеется, — сказал Николай, вытаскивая из кармана измятую пачку «прибоя». — Погляди лучше, чего сделал. — Он небрежно кивнул в сторону готового гроба.

— Чего на него глядеть? — возразила Наташа. — Гроб он и есть гроб. Ящик.

— Эх ты, ящик, — обиделся Николай. — Не пойму я тебя, Наташка. Живешь с плотником вот уж почитай пятнадцать лет, а никакого интересу к его работе не имеешь. Да, может, этот ящик («И слово-то какое нашла», — подумал он про себя) на шипах «ласточкин хвост» связан. Да разве ты в этом что понимаешь? Тебе все равно что «ласточкин хвост», что прямой шип, что на мездровом клею, что на клейстере.

У Николая была одна странность. Любимым предметам собственного изготовления он давал человеческие имена и разговаривал с ними. Имена выбирал в созвучии с названиями изделий. Например, стол, который стоял на кухне, он звал Степой, а резную полочку возле рукоойника Полей. Гроб по ассоциации со словом «ящик» он назвал Яшей.

— Ты, Яша, не обижайся, — сказал он, когда жена ушла. — Баба, она известно — дура. У ней нет того понимания, что ты, может, как Большой театр, один на весь Советский Союз. Ну, ничего. Вот мы тебя еще лаком вскроем, хоть ты и сосновый. Будет на что поглядеть. Конечно, ежели кто понимает.

Потом он взялся за крест, но делал его без особой охоты. На глаз отрезал крестовинки, связал их вполдерева и склеил полуостывшим мездровым клеем. Крест на всякий случай он назвал Костей, но разговаривать с ним не стал.

7

В этот же день утром фельдшерница Нонна звонила в город, чтобы узнать, отчего умер Очкин. То, что она узнала, Нонна рассказала Кате Очкиной, но та никак не могла запомнить название болезни. Тогда Нонна написала ей название на бумажке. Болезнь называлась «инфаркт миокарда». Многие удивлялись. Лаврусенкова, прочтя написанное на бумажке, прямо сказала:

— Отродясь такого не слыхивала. Раньше, старики сказывали, люди помирали от холеры, от чумы. Ваську-аккордеониста прошлый год анги-на задушила. А такого... — она посмотрела на бумажку, — у нас еще не бывало. Видно, жил он не по-людски, потому и болезнь ему не людская вышла.

После обеда снова приехала санитарная машина. Два мужика внесли покойника в нетопленную избу и положили на стол, покрытый старой клеенкой. Девушка-врач дала Кате подписать какую-то бумажку и нетерпеливо ждала, пока Катя, всхлипывая и утираясь, дрожащими пальцами медленно выводила свою корявую подпись. Потом девушка взяла

бумажку и пошла к машине. Когда она открыла дверцу и встала на подножку, ее остановил Николай, принесший только что новый, покрытый красным нитролаком гроб.

— Девушка, а как насчет моего дела? — робко осведомился он. — Вы не забыли?

— Не забыла.— Девушка порылась в своем красивом саквояже и, вынув из него измятую открытку, протянула ее Николаю.— Вот нашла у себя в альбоме.

Николай не успел поблагодарить ее, потому что, пока он дважды пересчитал колонны, шофер включил скорость и машина уехала, оставив за собой шлейф желтой пыли.

Николай был прав. Колонн оказалось восемь. Он шел, не разбирая дороги, и заранее торжествовал, представляя себе в лицах, как будет ошеломлен его противник.

«Сейчас приду,— думал Николай,— и перво-наперво: «Беги, Тимоша, за пол-литром». А он мне: «С какой это радости мне за пол-литром бечь?» А я ему: «Сколько колонн у Большого театра?» А он мне, как обыкновенно: «Шесть!» А я ему: «Плохо, видно, ты считал. Пальцев, мол, не хватило для счету». Тут Тимофей обидится, полезет в бутылку: «Ты, мол, мои пальцы не считай, они, мол, на фронте потеряны. Мы, мол, не то что другие, мы кровь свою проливали». А я ему: «И мы, мол, не Ташкент обороняли...»

Размышляя таким образом, он неожиданно столкнулся с Марьей Ивановной, учительницей дочери. Марья Ивановна по обыкновению стала говорить ему, что Верунька и этот учебный год начала плохо. Не слушает, что говорят на уроке, и не выполняет домашние задания.

Николай терпеливо выслушал учительницу, а потом бухнул ни с того ни с сего:

— Слышь, Марь Иванна, а Тимофей-то мне проспорил пол-литру.

— Какие пол-литра? — удивилась учительница.

— Да какие ж? Обыкновенные...

Николай хотел рассказать ей всю эпопею с колоннами и показать открытку, неожиданно разрешавшую спор в его пользу, но вдруг увидел на ногах учительницы красивые танкетки из белой простроченной кожи, и вспомнил, что подарок жене он так и не купил.

Учительница, заметив, что Николай внимательно разглядывает ее ноги, смутилась и отступила на полшага назад.

— Где брала? — в упор спросил Николай.

— Чего? — испугалась учительница.

— Да танкетки ж,— нетерпеливо сказал Николай.

— А, танкетки.— Учительница облегченно вздохнула.— Это мне брат из Москвы прислал.

— Тьфу ты! — рассердился Николай.— Сумки в Москве, танкетки в Москве, братья в Москве...

— А в чем дело? — удивилась учительница.

— Ни в чем.

Николай махнул рукой и пошел дальше. Но после встречи с учительницей ход его мыслей принял совершенно иное направление. Он подумал, что надо будет на день рожденья жены созвать всех соседей, свою бригаду и хорошо бы кой-кого из начальства. Директор Андриолли, может, и откажется, но пригласить надо. Прораба Позднякова тоже. А чтоб не скучно было, можно пригласить Тимофея, будет хоть с кем поговорить и поспорить.

И тут Николай остановился. О чем же он будет спорить, если сегодня покажет Тимофею открытку? Он растерянно поглядел на открытку и еще раз машинально пересчитал колонны.

«Пол-литру выпить, конечно, можно,— размышлял Николай,— особенно если под хорошую закусочку. Огурчики у Тимохи в погребе больно хороши. Ну и сало, конечно, есть, поросеночка заколол на прошлой неделе. Только ведь пол-литру я и сам могу поставить. Не обедняю. А поговорить на дне рождения не про что будет...»

Он и сам не заметил, как оторвал от открытки один угол, потом второй... А когда заметил, изорвал ее всю и, вернувшись домой, выбросил ключья в уборную.

8

К вечеру небо заволокло тучами. Задул сырой ветер. Катя Очкина быстро управилась по хозяйству и как только стемнело, не зажигая огня, забралась на высокую постель под ватное одеяло. Она лежала и слушала, как дребезжат от ветра, задувавшего сбоку, оконные стекла, как разбиваются о стекла первые капли дождя.

«Надо промазать стекла,— нехотя подумала Катя.— И подтесать дверь. Разбухла, не закрывается».

Вообще это была мужская работа, но к мужской работе Катя давно привыкла. Этот дом построил ее отец в тридцать девятом году и оставил его дочери, когда умирал. Умер он в районной больнице после того, как его сонного переехал в борозде трактор. Катя одна осталась хозяйкой в новом доме. Перед самой войной она привела в этот дом своего мужа Афанасия. Ей тогда было восемнадцать лет, а ему девятнадцать. Они собирались жить долго и счастливо, но тут началась война и Афанасию через несколько дней принесли повестку.

Афанасий тогда работал на скотном дворе. Он пошел к себе на работу, чтобы поднять колхозного бугая и нажить грыжу. Бугая он поднял, но грыжи не получилось. Тогда Афанасий наточил топор, точно рассчитанным ударом отрубил себе указательный палец на правой руке и таким образом лишил себя возможности нажимать на спусковой крючок. На суде прокурор требовал расстрелять дезертира, но судьи были помягче — они дали ему десять лет. Десять лет Очкин сидеть не стал — его выпустили в сорок пятом году по амнистии в честь нашей победы. В тот день вечером, когда они легли на эту самую постель, Очкин долго расспрашивал жену о своих односельчанах, и она долго рассказывала ему о них. Рассказывала о том, как мыкались они все во время войны, особенно те, у которых были детишки. Рассказывала о том, как наехали сюда эвакуированные из Украины и Белоруссии. Им не хватало жилья, и их расселяли по избам. У Кати было две семьи, они вечно ссорились, но Катя привыкла к ним и потом, когда они уезжали домой, очень не хотела с ними расставаться. Из мужиков почти всех забрали на фронт, и многие не вернулись. Тимофею Конькову на войне оторвало три пальца.

— Вроде как у меня,— усмехнулся Очкин и спросил у Кати насчет своего дружка Федора Коркина. Им тогда вместе принесли повестки.

— Небось вся грудь в орденах? — спросил Очкин.

— Не вернулся он,— тихо пояснила Катя.

— Убили на фронте?

— Нет, он не доехал до фронта. Поезд их разбомбило по дороге.

Афанасий долго молчал, а потом вспомнил:

— Когда меня забирали, Федька говорил — дурак. А теперь он, умный, в земле лежит, а я еще хожу по ней.

После лагеря на работу он не спешил, все присматривался. И при-смотрел карточки в совхозной кассе. Ночью его поймал с этими карточками сторож, и Афанасий уехал в тюремном вагоне восстанавливать

Днепрогэс. Восстанавливать Днепрогэс он не стал. Вернувшись после амнистии 1953 года, он рассказывал Кате, что умному человеку и в лагере жить неплохо. Летом он спасался от жары в холодке под штабелем досок или под конторкой старшего оцепления, а зимой брал железную бочку, пробивал в ней много-много дыр и, наполнив ее дровами и кусками толя — того и другого на стройках всегда хватает, — устраивал «маленький Ташкент». У этого «Ташкента» был тот недостаток, что грел он неравномерно и к нему надо было поворачиваться то спиной, то грудью, но это было лучше, чем тюкать на ветру топором или возить тачку с раствором, который тут же покрывался ледяной коркой.

Кормили их в лагере не очень жирно, но зато бесплатно, а на воле за такую еду надо еще поработать. Кроме того, у них была своя баня, клуб, где три раза в неделю показывали кино и устраивали концерты.

В общем, судя по рассказам Афанасия, такая жизнь его вполне устраивала. Может, потому, что такая жизнь его устраивала, он разбил витрину в сельмаге и опять поехал в тюремном вагоне, на этот раз на великие сибирские стройки.

Последний раз вернулся он этой весной и на зиму опять собирался на великие стройки, да не успел, помер.

Может быть, все это вспоминала Катя Очкина, когда лежала одна в темной нетопленной комнате. А может быть, она ничего не вспоминала и просто лежала, прислушиваясь к завыванию осеннего ветра.

Ветер переменялся. Теперь он дул прямо в окна, и в комнате становилось все холоднее. Тогда Катя встала, сняла с гвоздя свой старый рабочий тулупчик и, не отдавая себе отчета в том, что делает, накрыла тулупчиком покойника.

9

Дождь принимался идти несколько раз, но тут же переставал и разошелся только к утру. Директор совхоза Матвей Матвеевич Андриолли сидел в брезентовом плаще за своим столом и занимался делами, какие обычно начинаются во время дождей.

Первым пришел прораб Поздняков. Он принес на подпись наряды наемных строителей, которые по случаю окончания сезона собрались домой. Директор бегло просмотрел наряды, заметил, что Поздняков слишком уж щедро платит этим шабашникам, но подпись свою поставил, так как наряды были оформлены в строгом соответствии с имеющимися расценками.

Потом пришла Филипповна и, сообщив, что она уезжает на родину, спросила, не купит ли совхоз ее хату. Директор посмотрел на Позднякова, и тот сказал, что он эту хату знает, брать ее нет никакого смысла, так как она уже разваливается.

— Разве что на дрова, — сказал Поздняков.

— На дрова мы брать не будем, — сказал Матвей Матвеевич, — потому что дров у нас своих достаточно. И дорого мы заплатить не можем, максимум сто рублей.

— Ну как хотите, — сказала Филипповна. — Я тоди продам Миколи плотнику, вин мени даст сто пядесят.

— А где плотник? — спросил Андриолли у Позднякова. — Он сегодня собирался рамы вставлять.

— Я ему тугу дал, — сказал Поздняков. — Гроб он делает Очкину.

О смерти Очкина директор как-то забыл и теперь вспомнил, что хотел сходить к вдове и хоть как-то утешить ее. Он знал Катю еще девочкой. Она еще в детстве работала на огороде, а потом дояркой на ферме. И работала очень хорошо, пожалуй, лучше всех. Ее фотографию вот уже

много лет не снимали с доски почета. А своих лучших работников Андриолли умел ценить и считал своей обязанностью проявлять к ним внимание. Тем более что, как правило, они попусту не беспокоили его ненужными просьбами.

И он, конечно, сходил бы к вдове еще вчера, но как ее утешить, не знал. Обычно в таких случаях о покойнике говорят, что он сделал то-то и то-то и память о нем будет жить во веки веков.

Андриолли стал вспоминать, что сделал Очкин, но ничего хорошего вспомнить не мог. Потом все-таки вспомнил. В этом году, когда проводили праздник доярок, надо было написать лозунг, а комсорг, который обычно занимался этими делами, как на грех заболел. Тогда неожиданно для всех вызвался Очкин. Он расстелил в конторе красное полотно и всю ночь ползал перед ним на коленях. К утру он написал лозунг, да, пожалуй, почище, чем это делал комсорг. Может, у него и талант к этому делу был. Но потом он снова ничего не делал, хотя ему и предлагали разные работы. Пока директор вспоминал, что еще делал Очкин, в дверь просунулась голова шофера Лехи Прохорова. Увидев, что Андриолли на месте, он медленно стащил с головы измятую кепку-восьмиклинку и, оставив на полу мокрые следы, прошел к столу.

— Вот заявление вам принес,— сказал он, доставая из кармана сложенный четверо листок бумаги.— Насчет отпуска без содержания.

— Зачем тебе отпуск? — спросил Андриолли.

— К матери надо съездить, крышу покрыть. Пишет: текет крыша-то. На недельку, Матвей Матвееч. В тот понедельник как штык на работе буду,— заверил он в слабой надежде.

Но директор неожиданно легко согласился.

— Ну чего ж, валяй,— сказал он.— Только сначала съезди к Кате Очкиной, покойника на кладбище отвези.

— Мы его мигом! С ветерком! — обрадовался Леха и побежал к дверям.

— Погоди,— остановил его Андриолли.— Ты, Прохоров, не дури. С ветерком будешь пшено возить, да и то не очень. А это покойник,— сказал он значительно.

— Покойник покойнику рознь,— возразил Леха.

— Покойники все одинаковые,— настоял на своем Андриолли, хотя и не был уверен в своей правоте.

10

Дождь не усиливался, не слабел, все так же монотонно шелестел по стеклам, по соломенным крышам, по облысевшим кронам деревьев. Бабы, накрывшись кто чем, толпились с кошелками возле сельмага: сегодня был день приема посуды.

Леха Прохоров забрался в кабину своего ГАЗ-63 и включил скорость. Машина забуксовала. Пришлось включить передний мост.

Кое-как машина дотащилась до очкинского дома. Леха остановил ее возле самого крыльца и прошел в хату, в которой собралось уже много народу. Вдова, прикладывая к сухим глазам чистый платок, стояла у изголовья гроба. Леха отозвал ее в сторону.

— Тетя Катя,— сказал он почтительным шепотом,— давай закругляться. Везть уж пора, а то дорога такая, того и гляди на оба моста сядешь.

— Успеешь,— хмуро ответила вдова и вернулась на свое место.

Леха, расстроенный этой волюнкой, вышел на улицу и встал под навес возле крыльца. Дело было, конечно, не в дороге. Его ГАЗ-63 и не по таким дорогам ходил. Просто Лехе надо было поспеть за три кило-

метра на станцию на пятичасовой поезд, а время было уже около четырех. Нетерпеливо поглядывая на часы, он стоял под навесом, курил и злился, глядя на людей, которые все шли и шли к дому покойника. «В такой чепуховой деревне столько народу — конца не видать,— думал он, раздражаясь все больше и больше.— И куда их несет? Будто тот покойник медом намазанный».

— Куда прешь? — сказал он толстой старухе, поднимавшейся на крыльцо.— Покойников, что ль, не видала? Вот погоди, скоро на тебя придем поглядеть.

Старуха ничего не ответила и, обиженно поджав губы, прошла внутрь. Леха пошел за ней.

В горнице шли разговоры о том, что покойник никому ничего плохого не сделал. А если сделал, то не так уж много. Правда, хорошего от него было еще меньше. А потом вполголоса стали разговаривать о своих делах.

Филипповна рассказывала Лаврусенковой, что у ее дочери, которая живет на Украине, родился ребенок и теперь ей надо ехать нянчить внука. Леха извинялся перед толстой старухой, объясняя ей, что обидеть он ее не хотел, а сказал так, потому что торопился. Тимофей, который слыл в деревне книгочием, пересказывал Николаю содержание рассказа Чехова «Каштанка». Рассказ Николаю понравился, и он сказал:

— Значит, Чехов правда хороший писатель?

— Это на чей вкус,— сказал Тимофей.— Вот Толстой Лев Николаевич его не любил.

— А чего это о нем такое мнение имел?

— Да кто его знает. «Плохо, говорит, пишешь. Шекспир, говорит, плохо писал, а ты и того хуже». Шекспир — это английский писатель был.

— А чего, он плохо писал?

— Да не то чтобы плохо — неграмотно. На нашем языке его, конечно, поправили, а в своем он слабоват был...

Все поднялись и пошли выносить гроб.

Дождь перестал. Тучи уже не сплошь закрывали небо: среди них намечался какой-то просвет.

Леха откинул борта, и мужики втокнули в кузов открытый гроб. У изголовья кто-то поставил крашеную табуретку. Клава устроилась на табуретке поудобней и снова завывала, но уже без тоски, без горя, а так — для приличия.

Леха сел в кабину и посмотрел на часы. Пять часов. Сейчас бы он уже сидел в вагоне. А через три часа сидел бы дома за столом, и мать суетилась бы, подавая ему закуску. Теперь придется ждать целые сутки, а отпуск идет. Надо будет сходить к директору, чтоб он этот день не считал. Лаврусенкова стукнула ему в кабину. Леха понял знак и медленно тронул машину.

Перед машиной шли Николай с Тимофеем. Они несли крышку гроба. Николай шел сзади и старался развернуть крышку то влево, то вправо, в зависимости от того, откуда подходил народ. Делал он это для того, чтобы люди могли посмотреть настоящую работу, а если надо, то и поучиться. И единственное, о чем сейчас жалел Николай, это о том, что работу его, которую по-настоящему надо было бы выставить в музее на всеобщее обозрение, сейчас зароят в землю и в скором времени ее источат черви и съедят грибки и, может быть, через год от этой его работы останутся только трухлявые доски, а через несколько лет и этого не останется.

Когда подъехали к кладбищу и сняли гроб с машины, снова заморос мелкий дождик. Поэтому Николай поспешно надел на гроб крышку

и приколотил ее гвоздями. Гроб на двух веревках опустили в могилу и засыпали размокшей, налипающей на лопаты глиной. Сверху Николай воткнул крест.

Андриолли, который подошел в это время к месту похорон, заметил на кресте потеки мездрового клея и подумал, что надо будет сказать Николаю, чтобы наружные рамы для конторы он ставил на казенном клею, он меньше боится сырости.

И еще подумал Андриолли, что этот крест теперь **сравнил** Очкина со всеми, кто лежит здесь с ним рядом. Потом он понял, что был не прав. Ведь память о человеке определяется не местом, где он лежит, а тем, что он сделал при жизни. Те, с кем лежал теперь Очкин, по-разному жили, по-разному работали, и разные расстояния лежали между днями их рождения и днями, когда их положили сюда. А Очкин, родившись в полукилометре от своей могилы, много поездил и много повидал и все-таки прошел только эти полкилометра, прошел за сорок лет расстояние, на которое нормальному пешеходу достаточно семи минут.



ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

★

АНДРЕ ФРЕНО

Мой дом

Я из сухих камней сложил
мой дом,
чтоб по душе котят был
мой дом,
чтоб стал мышатам тоже мил
мой дом,
чтоб голубь зерна находил
в нем,
и солнце шурилось бы там по всем углам,
когда мой дом
нем,
чтоб детвора играла в нем.
С кем?
Ни с кем! С веселым сквозняком!
И чтобы в радость был мой дом
всем.

Без крыши он и без огня,
мой дом,
и без тебя, и без меня
мой дом,
и нет в нем слуг, и нет господ
в нем,
и все совсем наоборот
в нем,
ни статуй нет, ни страха нет, ни стен,
нет ни оружия, ни угроз, ни взятых в плен.
В нем ни реликвий, ни религий днем с огнем
ты не найдешь. Вот почему он так хорош,
мой дом.

★

РЭМОН КЕНО

Искусство поэзии

Возьмите слово за основу
 И на огонь поставьте слово,
 Возьмите мудрости шепоть,
 Наивности большой ломоть,
 Немного звезд, немножко перца,
 Кусок трепещущего сердца
 И на конфорке мастерства
 Прокипятите раз, и два,
 И много-много раз все это.

Теперь пишите! Но сперва
 Родитесь все-таки поэтом.

★

ЖАН ТАРДЬЕ

Лояльный гражданин Вселенной

(педантичный и суховатый, но, в сущности,
 сговорчивый)

Мне этот мир, ей-богу, мил!
 Но я люблю его логично
 за все те истины, что лично
 в общенье с ним я получил.

Так, с неизменным постоянством
 люблю я время и пространство:
 в них все на месте... Но притом
 люблю я всей душой движенье
 за неизбежность изменений
 и соответствие во всем:
 когда явления и предметы
 имеют ясные приметы,
 и мы по форме и по цвету
 их без ошибки узнаем:
 у красного вина — цвет красный,
 у неба синего — цвет синий,
 у зелени — зеленый цвет;
 у твердых тел видна прекрасно
 статичность формы, четкость линий,
 а вот у жидких тел — текучесть
 и постоянной формы нет.

Но если бы наш мир логичный
 наоборот устроен был,
 скажу вам честно, я бы лично
 его по-прежнему любил.
 Да! Я любил бы, без сомненья,

и неподвижное движенье,
и ставший темнотою свет,
любил бы с прежним постоянством
я также время и пространство,
где ничего на месте нет
и где явления и предметы
в несоответствии своем
такие обрели приметы,
что ни по форме, ни по цвету
мы их совсем не узнаем:
у красного вина — цвет белый,
у неба синего — цвет красный,
у нив зеленых — черный цвет,
у жидких тел видна прекрасно
статичность формы, четкость линий,
а вот у твердых тел — текучесть
и постоянной формы нет.

Ну что ж! И это, несомненно,
готов принять я: кислых мин
не строит гражданин Вселенной,
ее лояльный гражданин.

★

РОБЕР МАЛЛЭ

Одним ударом

Страдая, другим причинять страданье —
это то же, что в гору идти... а другие теряют дыханье,
это схоже с падением дерева: ствол раздавил
человека, доверчиво спавшего рядом;
это щедрость колодца, когда его зной иссушил,
и пустыня вокруг, и дорога становится адом;
это нож, чей клинок обладает такою длиной
и такой остротой и силою странной,
что и нас он пронзает, и тех, кто у нас за спиной,
и ударом одним вдруг наносит две раны.
Это третья, последняя рана: она от сознания,
что, страдая, другим причиняешь страданье.

★

АНРИ МИШО

Тихий человек

Высунув руку из-под одеяла, Плюм удивился: стена пропала! «Что с нею стало? — подумал он. — Съели ее муравьи, должно быть...» И он опять погрузился в сон.

Жена начинает его тормошить: «Проснись, бездельник! Покуда ты спал, дом наш украли»... И в самом деле: над головою звезды горели,

а потолок и крыша пропали. «Если украли — значит, украли. Факты упрямы...» — подумал он. И тут же опять погрузился в сон.

Немного после грохот раздался. То поезд мчался. На них он мчался. «Скорость такую нам не развить. Это уж точно», — подумал он и погрузился немедленно в сон.

Затем он холодом был разбужен. Проснулся — и видит, что кровью измазан. Жена исчезла. И даже хуже. Она превратилась в нечто такое, чего он еще не видел ни разу. «Присутствие крови, — подумал он, — всегда создает неприятностей кучу. Конечно, было бы значительно лучше, если бы этот несчастный случай совсем не случался. Какой урон! Однако раз уж так получилось...» И он опять погрузился в сон.

«Странно, — сказал председатель суда. — С вашей женою случилась беда, ее потом по кускам собирали. Но как же вы объясните тогда, что, находясь с женой своей рядом, имея возможность беде помешать, вы о случившемся даже не знали? Вот чего не могу я понять».

«Действительно, трудно найти объяснение», — Плюм подумал и без промедления веки закрыл и уснул опять.

«Завтра приговор привести в исполнение. За вами, обвиняемый, последнее слово».

«За ходом дела, прошу прощения, я не следил», — отвечает он и тут же в сон погружается снова.

Перевел М. Кудянов.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ

★

СНОВА НА ЧУКОТКЕ

Анадырь — окружной центр Чукотки. А по другую сторону залива Комбинат — анадырский аэропорт и по совместительству районный центр. Когда-то ловили здесь рыбу и забивали морского зверя. Но по всяким причинам промысел сократился, и от рыбозверокомбината сначала отпало «рыбо», потом «зверо». Тогда-то здесь, в семи километрах от окружного центра, образовался районный центр со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сколько раз приходилось переправляться через этот залив на катере, на тракторе, на собачьей упряжке, на вертолете и просто пешком. Сколько раз приходилось и на том, и на этом берегу сидеть у моря и ждать погоды или транспорта.

«Пассажиры, следующие рейсом Магадан — бухта Лаврентия, приготовьтесь к посадке в самолет...» Это могут объявить через час или через сутки. Или через полмесяца.

Злость на авиаторов берет еще за то, что они разлучили меня с Капой. Быть в командировке с методистом областной библиотеки Капой Карасевой — прямая выгода: в дороге с ней, как правило, что-нибудь да стрясется, и обязательно что-нибудь рискованное, почти всегда выходящее за пределы безопасного. То, что в тундре на нее перевернулась груженная собачья нарта и чуть не сломала ей ногу, — это еще пустяки. Шел по колымской трассе пассажирский автобус, села в него Капа — и машина опрокинулась ночью на полном ходу. На следующий день кое-как упростила она одного водителя взять ее — все остальные отказались наотрез, — и машина опрокинулась опять. На этот раз среди бела дня. Снова синяки, ссадины и ругань: «Этак ты весь транспорт на Севере перекалечишь!» Но Капе неймется. Прошлой зимой «аннушка», вылетевшая из Анадыря с Капой на борту, обледенела за каких-нибудь двадцать минут и упала на сопку. Подломилось крыло, отлетел винт, разбилась кабина. Уцелел радиопередатчик и люди. Среди них пятеро детей — четверо совсем маленькие. Нашлось два меховых комбинезона. В каждую штанину спрятали по малышу. Всю ночь и весь следующий день жгли костер и пускали ракеты, пока не прилетела другая «аннушка».

Теперь всю дорогу от Магадана до Анадыря я шантажировал Капу: «Вот расскажу экипажу, что ты за птица». И поплатился: в Анадыре пересадка — Капу зарегистрировали на первый самолет, а мне места не хватило. Прежде чем я успел опомниться и воззвать к человеческой справедливости, была объявлена посадка, и Капа полетела дальше без меня: «Теперь вот догоняй! Встретимся в Лаврентии, не горюй...»

Озираюсь кругом — хоть бы один знакомый. Мужчина, подкидывающий толстошею карапуза. Женщина в цветастом азиатском халате поверх зимнего пальто. Совсем материковская, просто-таки домашняя старушка — ни на что не обращает внимания и спокойно думает о чем-то своем. Чернбровая красавица гордо восседает среди узлов и чемоданов в окружении солдат.

Знать бы точно, сколько здесь придется торчать, — перебрался бы на ту сторону. Там Анадырь, там мои друзья — Игорь Саркисян, Коля Мымрин, Тоня Кымытваль.

С Николаем я не виделся дольше всего... Летом пятьдесят пятого года ходил по Анадырю широколицый и широкоплечий парень в солдатской гимнастерке со следами недавно снятых погонов. Всех, кого только можно, он обстоятельно и дотошно расспрашивал о тундре: какие там условия, как там работают люди, что нужно взять из вещей и одежды, чтобы там жить — не побывать, не съездить, а жить — Николай собирался поступать учителем красной яранги, собирался основательно и надолго. И работает в яранге до сих пор. Как он сейчас там?.. И каким стал?

А с Тоней встречались недавно — в прошлом году, когда она приезжала на Всемирный форум молодежи. Кымытваль — первая чукотская поэтесса. Работает она в «Советской Чукотке».

А как поживает сам Игорь? С Игорем мы виделись недавно в Москве, но за это время накопилось много новостей.

Игорю я всегда завидую. Завидую его силе и энергии во всем — и в работе, и в его отношениях с людьми, и в настоящем стремлении и умении быть истинным романтиком. Амгуэма, остров Врангеля, бухта Роджерса — для него это не просто красивые названия, а очень знакомые места, где он побывал.

Жду долго. И наконец:

— ...Пассажиры, следующие рейсом Анадырь — бухта Лаврентия...

Но с этой секунды голос диспетчера идет мимо, как будто динамик выключили: у выхода — знакомая фигура в светлом китайском пальто с коричневым капюшоном, за плечами огромный рюкзак...

— Игорь!..

К сентиментам он не склонен, и мы просто стоим и смотрим друг на друга. Мне повезло. Он тоже летит на Север...

— Вы что, опоздать хотите? — Игоря берет за рукав высокая девушка в легкой куртке и меховом шлеме. Четкий профиль и голубые глаза. Очень редкое, почти неправдоподобное сочетание женственности и мужества. Именно таких рисуют на плакатах.

— Знакомьтесь: врач санитарной авиации Валя Семина...

— Это ваша персональная? — указываю в окно на вертолет.

— Да.

— И вы летаете прямо в бригады?

— Прямо в бригады.

— Меня возьмете с собой?

— Хоть сейчас.

Теперь Игорь хватает меня за рукав:

— Посадка уже кончается!

Самолет пошел вверх неуверенными, но настойчивыми рывками. За окном покачнулись вверх-вниз и исчезли Комбинат, мыс Обсервации, Анадырь.

Внизу проплывает ряд черных, чуть продолговатых точек — Уэлькаль. Слева остается залив Креста. Начинается территория Провиденского района...

Земли колхоза «Маяк Севера», где я заведовал красной ярангой. Скоро должен появиться мыс Беринга, у подножия которого стоит центральная усадьба Энмелен. Увижу ли отсюда? Поселок совсем небольшой — десять домиков и сорок яранг...

Жил я тогда в домике Андрея Кертовтагина и Марии Чайвуны. Летом Андрей уплывал далеко в море бить моржей, а зимой уходил далеко в тундру охотиться на пушного зверя. Мария летом с утра до вечера, а то и до ночи разделявала моржовые туши, а зимой работала на стройке под пронизывающим чукотским ветром и стужей.

Так неторопливо текли обычные дни. А праздники всегда проходили шумно и весело. Помню восьмое марта. Днем были организованы состязания по стрельбе

для женщин. Такое происходило впервые, и мужчины, конечно, пришли посмотреть. А так как в любой яранге всякого оружия полно, то каждый прихватил с собой малопульку, ружье или карабин. С молниеносной быстротой в «состязания» втянулся весь поселок. Поскольку двух мишеней было мало, каждый выбирал себе цель по душе и по глазу — дальний камень, воткнутый в снег карандаш, конец трубы над домом, жердь над ярангой... Лучше не вспоминать, каким путем удалось прекратить огонь и избежать кровопролития.

Вечером победителям вручали призы. А потом был концерт. Всем очень понравилась пьеса, которую артисты играли в масках. Написали ее сами колхозники. Особенно бурным успехом пользовался главный герой — веселый, неугомонный старик. Буквально каждая его реплика и жест встречались взрывом хохота. «Кто бы это мог быть? Этого старика я не знаю...» Старик снял маску — им оказалась наша Мария...

Андрею понравился словарь Ожегова. Большой, толстый, в синем переплете. Он часто читал его и что-то выписывал в свой блокнот. И однажды сказал:

— Подари словарь. А я тебе отдам Шитоу — моего передовика. Такого, как Шитоу, нигде не найдешь.

Пес действительно был замечательный. Широкая грудь, большой лоб, громадные литые лапы.

Во время наших ссор Андрей приводил Шитоу в дом: «Моя собака, куда хочу, туда и привязываю». И привязывал к моему топчану. С явной неохотой пес подчинялся хозяину. Лежал притихший, изредка поднимая виноватый взгляд: «Ты уж, брат, не сердись. Сам видишь — я тут ни при чем...»

В навигацию спиртного завезено было мало, и в поселке долго свирепствовал сухой закон. Андрею удалось раздобыть две бутылки вина. Одну они с Марией выпили, другую оставили до моего возвращения из тундры. Настала суббота.

— Давай выпьем немножечко?..

Выпили.

Прошла еще неделя.

— Давай еще немножечко...

А еще через неделю спохватились: этак ничего не останется. Как быть? Стали думать. Выход был найден — взяли листок бумаги и написали, что оставляют это вино для меня, а сами пить не будут. И поставили свои подписи. После этого каждый раз, наткнувшись на эту записку и не решаясь нарушить письменное обязательство, ставили бутылку на место. Такова сила документа.

Они мечтают иметь ребенка.

Когда я у них стал жить, Мария сказала:

— У нас нет пацана. Теперь ты будешь наш пацан. Хорошо...

Воспоминания, приходя одно за другим, магнитом притягивают меня к круглому окну самолета.

И вдруг в стороне, совсем не там, где предполагал, выросли знакомые очертания высокой зубчатой сопки. Больше ничего не видать, но это он!

— Смотри! Эймелен!..

Игорь улыбается одними глазами и спокойно переводит взгляд в ту сторону. Понятно — это если бы я в электричке заорал старому москвичу: «Смотри, Переделкино!..»

Морозным и безветренным утром прогуливаемся в ожидании самолета. Погода летная — скоро двинем дальше. С моторов нашего ИЛа снимают чехлы. Неподалеку в приземистую коротышку «аннушку» грузят ящики с яблоками.

— Далеко летите?

— В Эймелен...

— В Эймелен?.. А когда обратно?

— Сегодня...

— А завтра летите?

— И завтра и послезавтра...

А что, если махнуть туда?.. На полдня? Или даже на день?!

— Возьмите меня...

— Груз у вас большой?

— Рюкзак...

— Валяй...

Игорю лететь дальше. Расстаемся опять на неопределенный срок. Может, скоро встретимся. На Чукотке, или в Магадане, или в Москве...

* * *

И вот я в Энмелене. Выпрыгиваю из «аннушки» вслед за пилотом и ничего не понимаю: никого... Рядом, где на косе ютился весь поселок, — непривычная пустота — лишь только несколько знакомых домиков и ни одной яранги. Занятые своими делами, люди спокойно поглядывают издали в нашу сторону. Самолет теперь для них не редкость.

Закидываю за плечо рюкзак и направляюсь к одиноким домикам. Сейчас в них, судя по всему, никого нет. Вот здесь живет старый Аккай, здесь Эттувье, здесь Тыгринкеу. А вот и наш дом... Поднимаюсь на крыльцо. Дверь в сени закрыта на палочку. Та же самая палочка — один конец отпилен, другой отломан. Дверь в дом заперта на замок. Протягиваю руку влево — там углубление — и достаю ключ. Отокнув дверь, вхожу в кухню.

Стол и три табуретки, посудный шкаф, который мы сделали с Андреем из фанерных ящиков, печка... Все так же, как и три года назад. А посреди на полу лежит собака. Белая с черными и серыми пятнами. Большие дряблые лапы, широкий лоб. Шитоу? Да, Шитоу... В глазах — застоявшееся безразличие и усталость. Равнодушно поднял и спокойно опустил взгляд. Может, и узнал...

Вхожу в комнату. И тут все по-прежнему. Тот же топчан, покрытый синим одеялом, тумбочка из ящика, стол, кровать за ситцевой занавеской. На стене — красный коврик и репродукция из «Огонька» в неумело сбитой черной рамке.

Кладу рюкзак на старое место под топчан, подбрасываю в печь угля и выхожу на улицу. Напротив дом, где раньше было правление колхоза, сельсовет, клуб, бухгалтерия, библиотека. Все это помещалось в одной большой комнате и двух крошечных пристройках. Едва переступаю порог, как навстречу поднимаются и шумно окружают меня женщины. Комната теперь уже совсем тесная, завалена шкурами, кухлянками, торбасами. Толстая и невысокая Пупина стала еще толще и ниже. У Гали Тнантонаут все та же печальная и застенчивая улыбка. Два чертенка в глазах у Гали Тагрины прыгают все так же смело и весело.

— Долго жить у нас будешь?

— Нет. Завтра обратно. Вот только погляжу на вас и покажу себя.

Женщины смеются.

— А своих видел?

— Нет еще. Где они?

— Андрей на охоте. Мария на стройке.

— Ну, ладно, я побежал. Еще увидимся...

Навстречу, улыбаясь как старому знакомому, идут две девушки. Вглядываюсь, рывком подгоняя память, и узнаю. Так ведь это две долговязые тихони, две замарашки — Валя Тымлина и Люба Эйнены. Черные блестящие глаза, на щеках морозный румянец.

— Вы же совсем невесты!

Девушки смеются:

— Мы уже не невесты, мы матери...

Входим в большой, обшитый тесом дом. Девушки скидывают пальто. Я смотрю на белые халаты, на белозубые улыбки — и опять не узнаю их. Валя распахивает соседнюю дверь, и — господи боже мой! — полная комната ребятишек. Все, как один, одинакового роста, все, как один, темноглазые и толстощекие...

— Вот они — наши дети!..

Подхожу к крайнему малышу и протягиваю руку:

— Ну, здравствуйте, товарищ...

Карапуз деловито подает свою ручонку. Тут же подбегает здороваться другой. Остальные тоже побросали свои игрушки и столпились вокруг меня:

— Здравствуйте... Здравствуйте...

Валя и Люба тянут меня в другую комнату:

— Пойдемте посмотрим наших младших...

— Подождите, «мамаша», потом — мне же Марию надо увидеть...

— Она у склада работает! — кричит мне вслед Валя.

Иду в ту сторону, где должны быть новые домики. Поднимаюсь на пригорок и останавливаюсь, не веря своим глазам. «Домиками» это не назовешь — большой, красиво спланированный поселок. На том месте, куда я три года назад ходил зимой с санками за льдом, а летом между камней и кочек рвал тундровые цветы. Все еще не веря, что это наяву, спускаюсь к поселку. Вот высокий красивый дом, выкрашенный в зеленый цвет, — конечно, клуб. А вон там, за синим палисадником, школа. А там, под высокой антенной, почта. Здороваясь по пути со знакомыми и незнакомыми людьми и торопливо прибавляю шаг. И наконец вижу: от склада, неровно переваливаясь, навстречу мне в своей синей, теперь уже совсем выцветшей камлейке спешит Мария. Несколько секунд стоим друг против друга, протягиваем руки и здороваемся, потом Мария неумело обнимает меня.

-- Андрей скоро приедет, за ним уже послали...

Мы приходим домой, и Мария начинает хлопотать у печки.

А вечером вваливается Андрей — насквозь морозный и весь белый: в белых торбасах, рукавицах, камлейке; на смуглом, ничуть не изменившемся лице белые от инея брови и ресницы. Здороваясь, раздеваясь, греясь у печки, он не перестает улыбаться. Нет, наверное, такого чувства и состояния, которого не могла бы выразить его улыбка — она бывает добрая и злая, грустная и веселая, хитрая и открытая. Сейчас она радостная и удивленная.

Мы сидим за столом. Все готово — поджаренная моржовая печенка, разваренное оленье мясо, стrogанина, консервы. Впереди длинный вечер разговоров, расспросов, рассказов.

— За тебя, — поднимает стакан Андрей.

— За вас, — говорю я.

— Дай бог не последняя, — добавляет Мария.

* * *

Не буду подробно вспоминать, каким маленьким и заброшенным Энмелен был раньше, как долгой чукотской зимой было здесь холодно, уютно и взрослому, и старикам, и особенно детям. Как в непогоду поселок целыми неделями был отрезан от всего мира — не летали самолеты, не плавали пароходы, не ходили собачьи упряжки, молчало радио и не работал телеграф. Как хотелось порой излить в письме душу, но руки опускались, когда вспоминал, что вся твоя «излитая душа» будет лежать рядом в земляной избушке радиста бог знает до каких пор. Как душно и темно было в тесных низких пологах старых яранг и как завидовали их хозяева тем, кто живет в домах. Теперь же если не со всеми, то с многими лишениями покончено навсегда. И никто не удивляется — как будто так всегда было и должно быть. Вчера днем я побывал в новом интернате, в новом медпункте, в новом клубе, наугад заходил в новые дома колхозников. Если бы мне тогда сказали, что все это будет через каких-нибудь три года, не поверил бы никому и ни за что.

Но сейчас меня занимает не это. Вспоминается вчерашний разговор с Андреем и Марией, с Тнаратом (бывший парторг; теперь получает неплохую пенсию, понекому охотится сам, ни от кого не зависит и поэтому особенно смел на язык), разговор с другими колхозниками — о теперешнем председателе. Хозяйственный и властный мужик. Наладил дисциплину, расширил и укрепил экономику: при нем заметно улучшилось рыболовство, вновь организовалось звероводство и особенно поднялось строительство. Добросовестно блюдет интересы колхоза и государства. но не забывает и о своих собственных.

Утром я захожу в контору и прошу у счетовода годовую ведомость. Молоденькая девушка-чукчанка подает мне папку. Вынимаю записную книжку, переносу в нее соответствующие графы и начинаю по алфавиту переписывать фамилии и цифры: сколько у каждого трудодней, какая задолженность, сколько причитается при окончательном расчете. У меня есть точь-в-точь такой же список за пятьдесят восьмой год. Тогда трудодень составлял 56 рублей старыми. Сейчас 4 рубля 50 копеек новыми. Тогда каждый мужчина вырабатывал в среднем 120 трудодней в год, женщина — 50—60. А сколько сейчас? Мужчины — в среднем по 150—200, а женщины — по 100—120. Я помню очень хороших пастухов. Сколько у них?.. У каждого не больше 300. А где же маяки?.. Ага, вот они: кассир — 350 трудодней, заместитель председателя — 650, зоотехник — 500, бухгалтер — 600. Неплохо. Председатель колхоза — 3000. Молодец, здорово работает!..

В кабинете у председателя почти весь состав правления колхоза. За столом, ни на кого не глядя, сидит председатель. Рядом с ним бухгалтер. Бухгалтер встает, открывает собрание, оглашает повестку дня — о начислении трудодней председателю колхоза — и начинает излагать вопрос — подробно, сбивчиво и то-гопливо: от каждой отрасли председателю следует начислять столько-то трудодней, а так как от оленеводства, морзвербойного промысла, рыболовства, звероводства, охотопромысла, строительства, извоза, пошива и пр. получены такие-то доходы, то председателю положено столько-то и столько-то трудодней. Итого 3000. Но так как это слишком много, то правление считает нужным начислить всего 1900 трудодней. Правление колхоза считает также необходимым пересмотреть вопрос о начислении трудодней правленческому аппарату.

После этого все сидят молча. Я вынимаю свою книжку и не спеша переправляю 3000 на 1900. 1900... Все-таки он относится к себе чересчур положительно.

* * *

Снова лечу — на этот раз в Уэлен. Это самая дальняя окраина страны. Земля великих границ. Граница государственная: за Большим Диомидом Малый Диомид, принадлежащий Америке. Граница часовых поясов: за Беринговым проливом еще вчерашний день. И совсем рядом, у мыса Дежнева, граница двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого. Земля отважных и талантливых людей — зверобоев, полярников, косторезов.

Мы успели сесть вовремя — начинается настоящая чукотская пурга. Дальше лететь нельзя.

Захожу в косторезную мастерскую. Сейчас здесь никого нет: время обеденного перерыва. В широком застекленном шкафу выставлены работы местных мастеров, образцы замечательного древнего искусства. Всевозможные фигуры — от маленьких потешных божков-пелекенов до оленьих и собачьих упряжек, от костяных шпилек с крошечными собачьими головками до громадных расписных моржовых клыков. Чем пристальней всматриваешься, тем больше убеждаешься: чтоб создать такие вещи, мало одного трудолюбия, большого терпения, твердой руки, зоркого глаза, жизненных наблюдений — нужно еще обязательно то, что вбирает все это и трансформирует непостижимым образом, проявляясь в осязаемых и зримых предметах. Нужен большой талант. В этих костяных изделиях — жизнь маленького северного народа, его неустанный труд, неодолимый дух, его и крутой и мягкий нрав, веселый и озорной характер. В фигуре старого пастуха, бросающего чаут,— сила, стремительность и легкость. Юркая кожаная байдара плывет среди тяжелых и клыкастых волн. И люди в ней не просто сидят, в их позах — готовность в любую секунду предотвратить беду, откуда бы она ни обрушилась... Молодой приземистый парень пляшет танец ворона. Парню под силу без отдыха пробежать не один десяток километров, он может на полном ходу вельбота мгновенно вскинуть ружье и попасть в голову нерпы, на секунду-другую показавшуюся

из воды; он сумеет задержать остолом стремительно скользящую в пропасть собачью нарту. И уж что-что, а спляшет он сейчас так, что можете полюбоваться...

А граверные работы на кости... Удивительное настроение создают простые, даже примитивные сочетания линий и штрихов, четких и еле различимых, неброские размещения и комбинации красок обыкновенного цветного карандаша. На обеих сторонах полированных клыков умещаются целые сцены из народного быта, старинные сказки и предания с фантастическими сюжетами.

Имена этих сказителей, народных умельцев известны не только на Чукотке и Колыме. Заслуженные художники республики Вуквутагин и Хухутан, ушедший на пенсию знаменитый мастер Гемауге, гравировщицы Эмкуль и Тынатваль. Работы уэленских косторезов с неизменным успехом экспонировались на крупнейших выставках обоих полушарий — в Москве, в Париже, в Нью-Йорке...

А пурга тем временем разыгралась по-серьезному. Но мастерская быстро заполняется людьми, в большинстве молодыми. В окно вижу, как мужчина в большом малахае, судорожно опираясь на палку, рывками преодолевает порывы ветра. Это известный косторез Туккай. Вот он появляется в дверях, отряхивает снег с малахая и с ботинок; увидев меня, приветливо здоровается. Давний обычай северян — радушно приветствовать любого незнакомца. Туккай ходит на протезах — отморозены обе ноги... По мастерской он двигается, оставив палку, свободно и без видимого напряжения. В маленькой комнате показывает мне еще массу своих и чужих работ. Затем, извинившись, идет к ученикам и начинает им что-то объяснять.

Ночевать останавливаюсь у полярников — в светлой и теплой комнате, где живут два милых, симпатичных парня — Володя и Боря. Оба спортсмены, бывалые северяне. Оба заочно учатся на геофаке Ленинградского университета. Спать ложимся не сразу. Ребята рассказывают о своей мечте, которая понемногу превращается в конкретный, детальный план: вместе еще с одним товарищем пройти на моторной шлюпке в одну навигацию весь Северный Морской Путь от Уэлена до Архангельска.

Смотрю и прикидываю: сумеют ли? Молодые, здоровые, видать очень дружные. Хорошо разбираются в технике. И главное, понимают, что задуманное путешествие не просто рискованное передвижение по воде, не только интересный и трудный экзамен — это как бы заповедь на всю дальнейшую жизнь, активное расширение неведомых границ своего человеческого «я»... Смогут! Ведь юность — самая пора для таких дел.

Рассказываю им и о двух своих знакомых. Вадим Гарнага и Анатолий Воронов в позапрошлом году прошли на велосипедах от Магадана до Москвы. Шли по колымскому и якутскому таежному и болотистому бездорожью, в жару и холод, сквозь снег, дождь и тучи комаров. Однажды на них напал медведь, другой раз их обстреляли, приняв за бандитов. Через перевалы и чащобы на своих плечах протаскивали рюкзаки и велосипеды не одну сотню километров. Стартовали 11 июня, финишировали 6 ноября...

Вспоминаю еще один эпизод из довоенной жизни колымчан. Зимой тридцать четвертого года нужно было срочно доставить важнейшие документы из Средне-Колымска в Якутск. В распоряжении людей не было абсолютно никакого транспорта. И тогда вызвался гидротехник Ворсин. В шерстяном свитере, с двадцатикилограммовым рюкзаком, на лыжах он пошел сквозь трескучую якутскую тайгу через полюс холода. Весь мохнатый от инея, он входил в пастушеский чум. Отогревшись и выспавшись, сразу же собирался в путь. По ночам, когда не попадалось человеческого жилья, разводил костер на снегу и спал стоя, опираясь на палки, а утром шел дальше. И прошел. Один. Две тысячи пятьсот километров...

— Конечно, пройдем!.. Только трудность одна есть.

— Какая?

— Получить разрешение. Зона-то пограничная... А «соседи» — народ активный. Знаете однажды что случилось?.. Учителя из одного поселка говорят по радиотелефону с Магаданом: «Почему вы нам зарплату задерживаете? С голоду

нам умирать прикажете?» А на следующий день «Голос Америки»: в таком-то поселке учителя умирают с голоду.

* * *

Завидев присевшую на склоне стаю белых куропаток, упряжка рванула вперед. Не успей я схватиться за плечо Ванто, в тот же миг кубарем слетел бы с нарты. Метров сто отличного, стремительного бега — в лицо хлесткий ветер, нарта, словно глассер на волнах, упруго подпрыгивает на граненых застругах. Куропатки неторопливо отлетели в сторону. Собаки рванулись было за ними, но истощный крик каюра и дубовый остол образумили их. И они снова покорно и безучастно засеменили дальше, вдоль широкого русла занесенной снегом речки, навстречу темнеющей вдалеке неровной цепи сопок. Там, за ближайшими вершинами, кочует сейчас бригада Валерия Тынечейвына.

С Валерием я знаком с пятьдесят шестого года. С тех пор все время слежу за ним на расстоянии и вблизи. То, что мне известно о его жизни, говорит само за себя. Десятый сын в семье бедняка. До коллективизации, наступившей здесь намного позже, еще ребенком пережил голод, непосильный труд у кулака, смерть матери. Приобретенная кровью и потом закалка не раз помогала ему не только самому вырваться из лап смерти, но и спасать других. Несколько дней носило его со стариком охотником на оторвавшейся от припая льдине — без продуктов, без топлива и воды, в промокшей одежде. Хватило духу и мужества терпеть и неунышно бодрствовать и верить в спасение до тех пор, пока это спасение не пришло. Во время долгого перехода по тундре в пургу, обессиленный, тащил он на себе друга и донес его до стойбища. В прошлом году Валерий работал парторгом колхоза, он оставил эту должность и возглавил самую дальнюю и самую трудную оленеводческую бригаду.

Дорога сначала шла по неровному, скользкому припаю. Справа ледяные нагромождения Чукотского моря, слева оголенный ветром скалистый обрыв с молчаливыми и таинственными каменными глыбами, похожими на монахов и средневековых рыцарей.

Но любоваться всем этим мрачным, экзотическим великолепием приходится урывками. Нужно то и дело соснакивать с нарты, проворно оттягивать ее в сторону, бросаться на нее и поднимать ноги, чтобы не стукнуться о ропак, тормозить подошвами, мгновенно откидываться вбок, чтоб удержать равновесие. Очень напоминает гонки на мотоцикле с коляской.

Добравшись до устья, повернули вверх, и дорога пошла совсем не та. Можно спокойно думать о чем угодно и глазеть по сторонам (хотя глазеть уже не на что — унылая долина, окаймленная такими же унылыми сопками), можно вздремнуть. Пытаюсь даже заснуть, но не удается: очевидно, нужно быть слишком бывалым северянином... Зато у Ванто это получается отлично. К вечеру он все реже и реже кричал на собак, а когда стемнело — совсем затих. Разбудили его своими криками пастухи из второй бригады, случайно услышавшие, как мы проезжаем мимо. У них мы и заночевали.

Едем второй день. До конца не скоро. Собаки, еще не чуя человеческого жилья, бегут вяло. Некоторые тащатся, но натягивая лямки. Время от времени Ванто пристегивает то одну, то другую поближе к нарте и дубасит на ходу тупым концом остола:

— Учуге работать.

Подобные воспитательные меры применяют не только каюры. Бывает, во время стоянки на тунейдца набрасывается вся упряжка и устраивает ему персональное дело.

Смотрю на идущих впереди колонной по две собак и снова убеждаюсь, что все они абсолютно разные. У каждой совершенно отличная от других внешность, не говоря уже о характере.

Когда чукотские собаки гуляют на свободе, по добродушию и безобидности их можно сравнить с телятами. Но ничего нет опасней и страшней, когда они несутся

в упряжке. Если каюрг зазеваается, они могут загрызть попавшегося на пути человека. На Чукотке немало таких трагических случаев.

Привязанность их к своему хозяину прочна, постоянна, лишена всякой сентиментальности. Привязанность к случайным людям, не оставившим заметного следа в их жизни, случайна и недолговечна.

На Севере собачьи биографии складываются в основном одинаково: зимой напряженная, изнурительная работа, летом абсолютное безделье; непродолжительное детство и совсем короткая, иногда почетная старость. Меня как-то удивило, что прямо в пологе, вместе с людьми, чуть поодаль, сидит собака, чувствует себя как равная и спокойно, уверенно ждет, когда ей подадут очередной кусок. Тогда мне сказали:

— Она у нас на пенсии. Это все ее дети.

Под рэтэмом — шатром из оленьих шкур — в это время укрывалось от пурги несколько упряжек. И я тоже проникся уважением, когда подумал о том, сколько тонно-километров — и каких — проделала одна только эта собака за свою жизнь.

На протяжении всех времен почти равными партнерами собак были ездовые олени. Теперь у них появились мощные соперники — тракторы, вездеходы и авиация — от скромных «яшек» и «аннушек» до гордых серебристых ИЛов. Конкуренцию они выдерживают теперь только, пожалуй, внутри колхозов. Но и здесь еще есть где развернуться: колхозные пастбища Чукотки можно сопоставить с территориями Бельгии, Голландии, Дании. Есть на Севере колхозы намного больше. Теперь и здесь все чаще хозяйничают «аннушки», перебрасывающие грузы из районных центров прямо в бригады. Какое-нибудь десятилетие, от силы полтора — и собачья эра, благополучно длившаяся веками, подойдет к концу.

Вожак у Ванто симпатичный: небольшой, но молодой и крепкий. Под стать ему и напарник. Оба остроухие и гордые. Когда им случайно достается остолом, даже не оборачиваются, не хотят унижать своего собачьего достоинства. А дальше народ всякий. Вон тот, широкозадый, с ободранными лапами, — рубаха-парень, свой в доску. Будь он человеком — с ним и посидеть можно, и анекдоты потравить. Но работать не ахти как горазд, и попадает ему справедливо. А этот, с мохнатой мордой, — добряк. Последнюю рубаху отдаст. А рядом — пегий, с куцым профилем — не отдаст и предпоследнюю. Хитрый лентяй. На него только замахнулись, а он уже визжит. А ну, Ванто, наподдай ему!.. За ним вслед — серый, ничем не приметный пес. Бежит и бежит, слегка приоткрыв пасть и чуть высунув язык. Быстро нагнет шею — схватит снегу и бежит так же ровно и покорно дальше. Работяга...

О чем только не думается во время далекой однообразной езды... Впереди, совсем уже близко, покатые сопки, одетые неровным слоем снега. Местами белый покров прорван острыми гранитными выступами. За тем невысоким перевалом конец пути. Там Валерий.

Вспоминаются последние наши встречи. Как сидели у него в номере гостиницы «Центральная» до глубокой ночи. Как ехали по шумной, сверкающей магистрали улицы Горького. Как стояли утром на Красной площади у Никольских ворот, перед тем как ему идти на заседание съезда.

Начался подъем. Мы с Ванто соскочили и, держась за нарты, поднялись на перевал. Я сразу же обшарил глазами раскрывшийся внизу широкий распадок, но яранг не обнаружил. Очевидно, откочевали дальше. Темнота сгустилась. Собаки заметно устали. Да и мы тоже устали и проголодались. К самому нутру, не встречая сопротивления, через ноги и руки судорожными струйками стал подкатывать холод. А яранг все еще не было.

Вдруг совсем обессиленные собаки дернули нарты и, радостно взвизгивая, легко помчались влево. Мы тоже сразу же ободрились: вот он, отдых, еда, тепло. А главное — радостная встреча.

Из темноты на нас внезапно наплыл черный купол яранги, от него быстро отделилось несколько фигур, и среди других голосов я узнал глуховатый и мягкий голос Валерия.

* * *

И вот мы сидим в теплом, освещенном жирником пологе. Все-таки замечательная это штука — яранга. Пусть снаружи бесится любой мороз, любой ураган — здесь тепло. Без угля и без дров. Полог оленеводческой яранги обогревается человеческим дыханием. Когда в нем один или двое — холодно. Втроем немного теплее. Вчетвером — нормально. Сейчас нас семеро. Когда становится слишком жарко, кто-нибудь поднимает откидную стенку полога — и морозные клубы из чоттагина приятно осушают наши оголенные по пояс тела.

Мы едим и пьем все, чем нас угощают и что мы привезли с собой. Наша одежда — камлейки, кухлянки, стаканчики, торбаса, чижи выбиты, вывернуты и повешены сушиться у очага. Все это сделано неутомимыми руками Кымынтонуа. За это же время она успела приготовить ужин. Находится ее руками дело и сейчас. Она разливает чай, режет строганину, подкладывает из котла на деревянный поднос разваренные куски оленьего мяса.

Я привез Валерию кучу приветов из Москвы, Магадана, Лаврентия, Уэлена, Нешкана. Его знают очень многие. И все интересуются, как у него идет работа сейчас.

Валерий рассказывает.

Пока он был в Москве и Магадане, ездил по поселкам, встречался с горняками, рабочими, пастухами, в стадах проходила одна из самых ответственных кампаний — гон. В бригаде Валерия провели его плохо. Не успели вовремя произвести выбраковку, отпилить самцам рога, перегнать оленей на удобное пастбище. Народ у него работающий и опытный, но постоянная нехватка людей и особенно суровая в этом году зима сделали свое.

Валерий похудел. От его мягкой, лукавой улыбки отошла беззаботная легкость. Но улыбка осталась. Она появлялась по-прежнему часто во время разговора и почти не сходила с его лица, когда он читал письма, переданные мне в Нешкане его женой.

Пишут ему солдаты из войсковой части.

Из села Журженцы Черкасской области Лысянского района пишет Смих Мотья Ефимовна. Рассказывает о себе: «Мы большей частью выращиваем свеклу». И в конце: «Не посчитайте за трудность — отпишите мне».

Валерий задумывается. Потом, что-то вспомнив, смеется:

— Эх!.. Подвела меня «Комсомолка». Дала мою фотографию с подписью: покупаю в ГУМе подарки жене и детям. После этого девушки совсем писать перестали...

А вот некий Москаленко из Краснодара просит прислать пыжик. «У нас на Кубани таких шкурок нет, а имеется желание поносить такую шапку». Просит, чтоб шкурки были выделанные и что их нужно столько, чтобы хватило на три шапки...

За полночь, когда все письма прочитаны, новости рассказаны, чай выпит, укладываемся спать. Все семеро ложимся вповалку. Устанный шкурами пол служит общей постелью. Восьмому места уже не хватило бы. От всего этого я отвык и ночью почти не спал. Высуну голову наружу, глотну морозного воздуха — и снова окунаюсь в липкую, черную духоту.

Утром Валерий с пастухом Ванкато уходит в стадо принимать смену, а я остаюсь. Кымынтонуа хлопчет у очага, а старая Этытваль починает торбаса. Принимаюсь за женскую работу и я. Отыскав занесенную снегом наледь, начинаю рубить топориком лед и складывать его в мешок. На это уходит час. Не говоря уже о водопроводном кране, обыкновенный колодезный журавль почитался бы здесь за великое благо.

Потом иду заготавливать дрова. Никаких дров здесь нет — есть тоненькие, реденькие кустики под толстым слоем снега. Разгребаю снег, отыскиваю по одному, по два эти кустики и срубая их специальным костяным зубцом. От долгого сиденья на корточках немеют ноги, от быстрых движений руками под тяжелой кухлянкой потеет спина. Жидкая кучка кустиков растет очень медленно. Раньше

у меня это получалось быстрее. Через три часа последний раз стираю с лица пот — набралась охалка, с которой нестыдно показаться хозяйкам. Прежде чем чиркнуть спичкой, чтоб разжечь костер, женщине ежедневно нужно нарубить таких кустиков несколько охапок. Есть в яранге примус, но не всегда есть керосин. Сколько его нужно сжечь, чтоб для всех приготовить хоть какую-то пищу! О какой бане или даже стирке можно вести речь, когда топлива постоянно в обрез.

Поздно вечером с дежурства приходит Валерий.

— Завтра перекочевываем на другое место.

И вот утром начинаются сборы. Мы снимаем с яранг рэтэмы — тяжелые прокопченные покровы из оленьих жкур. Складываем пологи. Остается костяк из множества коротких и длинных жердей (всего их в каждой яранге шестьдесят), скрепленных сырмятными ремнями. Разбираем жерди. Затем все это свертывается, связывается, упаковывается, укладывается на громоздкие грузовые нарты, привязывается к ним веревками и тонкими лахтачьими ремнями. Для каждой яранги требуется самое малое полтора десятка таких нарт. Затем эти нарты ставятся друг за другом почти вертикально в форме незамкнутого кольца.

Тем временем остальные пастухи отбивают от стада ездовых оленей, приводят их и загоняют в импровизированный кораль из нарт. Северные олени — животные полудикие. Человека они боятся, и запрягать их очень трудно. Увертываясь и вырываясь, они ошалело мечутся внутри тесного загона. Отрывисто хрюкая и дико выкатывая глаза, налетают друг на друга, сбивают с ног людей.

Наконец справились и с этим. Караван, по-здешнему аргши, медленно трогается и вытягивается длинной цепью. Чтoб эта цепь не порвалась, каждого оленя привязывают к нарте, идущей впереди. Случается, на крутом повороте или спуске тяжелая нарта опрокидывается, увлекая за собой оленя, и он валится на бок с круто заломленной шеей, перетянутой тугой привязью, которая тащит его вместе с нартой дальше. Пройдет минута, а то и больше, пока человек не подоспеет на помощь обезумевшему животному.

А день стоит пасмурный и слегка ветренный. И кругом все бело. Мягкими торбасами ступаю по глубокому мягкому снегу. Идем час, другой. Если держаться за нарту, можно идти с закрытыми глазами. Вот так кочевали олениводы сто, и двести, и пятьсот лет тому назад. Так же собирали и укладывали свой скарб, так же ловили и запрягали оленей, так же медленно шли по такому же глубокому и вязкому снегу.

День начинает выдыхаться, и вместе с приближающейся темнотой подымается и усиливается ветер. Только этого еще не хватало. Летит прямо в глаза мягкий снег и все медленнее тает на остывающем лице. Постепенно он становится все тверже, и вот уже лоб и щеки чувствуют каждую снежинку, высунувшую свой коготок. Начинают стыть пальцы в рукавицах, и я сжимаю их в кулак.

Но до большого холода еще очень далеко. Чукотка заставила меня узнать, что такое холод и какой он бывает. Холод — не только сорок градусов ниже нуля и плохая одежда. Он бывает от усталости, от голода. Такой холод, что не поможет самая теплая кухлянка и быстрые движения. И холод от одиночества. Самый настоящий физический холод. Когда соединяются все виды холода, наступает смерть. Говорят, замерзший человек перед смертью испытывает жар — такой невыносимый, что начинает сбрасывать с себя одежду: от него уходит последнее тепло и вместе с ним жизнь.

Что такое тепло — я тоже теперь знаю. На Севере оно особенно нужно и ценно. Тепло от костра, от доброго глотка спирта, от хорошей вестн... Самое приятное и надежное тепло — от здоровой еды и хорошего дела. И, конечно, еще — душевное, от человеческой близости. Самое бесценное тепло то, которое дает человек человеку, люди людям. Оно вбирает в себя все, какие только есть, виды тепла. С ним приходит счастье, не всегда осознанное, но всегда ощущаемое.

А ветер тем временем стих. Но темнота отяжелела. Вдруг внезапно совсем рядом послышались знакомые звуки, похожие на скрип деревянных лопат, кото-

рыми зимой дворники очищают тротуары. Это олени разгребают своими широкими копытами слежавшийся снег.

Свозим нарты в одно место, распрягаем оленей, расчищаем площадки для яранг. Все это делается в сплошной темноте. Распаковав тюки, начинаем разбивать яранги. Через час-другой в чоттагине вспыхнул костер, а еще через час, сытые и разомлевшие, мы укладываемся спать.

Этой ночью я не просыпался.

Днем вокруг очага собирается вся бригада. Стадо пасется рядом, так что на какое-то время его можно оставить без присмотра. Я рассказываю пастухам о том, что интересного и нового в тех местах, откуда я прибыл. Слушают хорошо — задают вопросы, перебивают репликами, попутно рассказывают сами, часто смеются. Чукчи вообще всегда рады посмеяться любой самой незатейливой шутке, каждому мало-мальски удачному слову.

Хорошо бы сюда кинопередвижку. Но транспорт — самый больной вопрос для всей Чукотки, и особенно для красных яранг, обязанных обслуживать тундровиков. Чтоб показать оленеводам кинофильм, нужно везти к ним киноаппарат, пленки, движок, горючее. Понадобится самое малое три собачьих нарты. И когда председатель колхоза становится перед выбором: отправить на этих нартах пастухам хлеб, галеты, сахар, масло, чай, керосин или же «Убийство на улице Данте» и «Карьеру Димы Горина», то он призадумается. А скорее всего и задумываться не станет. По этой самой причине положение красных яранг почти везде аховое, и их заведующие, как правило, ведут неутраченную антагонистическую борьбу с председателями колхозов...

Мы не спеша едим строганину, пьем крепкий, горячий чай. Потом Валерий начинает рассказывать о том, как он участвовал в работе XXII съезда. Как он видел Гагарина и Титова, как разговаривал с Семеном Михайловичем Буденным. Как однажды во время перерыва ему пожал руку Хрущев. Само собою разговор переходит к делам и нуждам района, колхоза и бригады: подогнать стадо весной к склонам сопок — для отела лучше места нет; заранее, по снегу, завезти в тундру гидропульты и гексахлоран для летней противооvodной обработки оленей.

Вдруг Валерий прерывает разговор на полуслове и напряженно вслушивается. И тут же все срываются с мест и выскакивают из яранги, кто-то стреляет. Вслед выбегаю и я — по соседнему склону рывками поднимаются и скрываются за сопкой два огромных гривастых волка. Испуганные олени сбились в кучу. В стороне лежат две важенки. У обеих аккуратно перерезано горло. Дело сделано чисто, почти без крови.

Хорошо, что быстро спохватились. Бывает, за одни сутки от травежа гибнет до тридцати оленей.

На следующий день мы с Валерием ходим вокруг стада, которое уже заметно отделилось от яранг, подгоняем постепенно разбредаящихся оленей. Не прирученные человеком, они не признают ни окрика, ни клички. Инстинкт стадности срабатывает у них только во время движения — когда их гонишь в определенном направлении. Стоит их оставить хотя бы на два-три часа — они разбредутся во все стороны отдельными семьями по пять—семь штук. И собрать их одному человеку будет просто не под силу.

Каждое стадо насчитывает в среднем обычно 1200—1300 голов. Если в пургу отколетса хотя бы один олень — опытный, бывалый пастух обязательно обнаружит это: каждого оленя он обычно помнит «в лицо». И не только обнаружит — он определит, в какую сторону мог скрыться пропавший, пойдет и пригонит этого оленя обратно.

У Валерия стадо намного больше обычного — 2200 голов. Чтоб обойти его, нужно не меньше получаса.

— Север в какой стороне? — вдруг спрашивает меня Валерий.

Я смотрю на небо, подернутое ровной серой завесой, озираюсь по сторонам...

— Откуда я знаю...

— Вот север, — указывает уверенно Валерий вправо.

— Как ты определил?

— Сейчас по снегу, — указывает он на заструги под ногами, с которых он перед этим снял верхний слой. — Вот смотри... В нашей тундре хозяйничают два ветра. Северный наметает вот эти заструги, поветлей и помягче, а юго-восточный — вот эти. Видишь? Они темные и твердые. Вон как скрещиваются. По ним на ощупь можно определить, где север, где юг. Еще можно по кочкам: с юга у них снег снят, словно срезан...

Сделав очередной обход, мы присаживаемся на несколько минут, и каждый раз Валерий рассказывает что-нибудь интересное или забавное.

Однажды он наблюдал в бинокль, как к волчьей норе, где скрывались два волчонка, подошел бурый медведь и стал разрывать ее. Подбежавшая волчица присела поодаль и стала протяжно, надсадно выть, поднимая высоко морду и пригибая ее к самой земле. И вот на горизонте показалась серая точка. С каждой секундой она увеличивалась. Это был глава семьи. Он несся, не разбирая кочек, луж, кустов, и брызги искрами летели от него во все стороны. Казалось, что он летит по воздуху, не касаясь земли. И могучий грозный зверь был разорван в ключья. Волк и волчица спасли свое гнездо и своих детенышей.

Но обычно волк очень труслив. Даже на оленя он не решается нападать в открытую, опасаясь его рогов. Он подкрадывается сзади, хватая его зубами за ногу, а когда тот повернет к нему голову, вливается ему в горло. Этим приемом он владеет в совершенстве.

Вообще у каждого хищника есть свой, отработанный на практике и закрепленный инстинктом прием. Интересно охотится сова. Настигнув зайца, она одну лапу вонзает ему в спину, другой начинает тормозить, пока не зацепится за что-нибудь твердое. После этого, прижав его к земле, заканчивает свою расправу. Вытащить когти из своей жертвы она не может и освобождается, выклеывая из-под них мясо. Однажды сова вцепилась в спину собаки, но «жертва» оказалась намного больше ее самой. И сова приехала верхом, громко ухая и взмахивая крыльями. Под общий хохот всего поселка собака привезла ее прямо в ярангу своего хозяина.

Много еще всякой всячины узнал я от Валерия. Куропатки, например, очень плохо видят днем, поэтому и кажутся такими глупыми, когда в них стреляешь, а они, взлетев, садятся почти тут же. Многие звери, и особенно нерпы, очень любят музыку. Однажды нерпа отползла метров на триста от берега и добралась до самого окна дома, откуда была слышна радиолы.

Все это рассказываете между делом. А дело такое, что нужно все время ходить, не спуская глаз с оленей. И мы все время вместе и порознь ходим вокруг стада, месим глубокий скрипучий снег. Добротная меховая одежда, наглухо предохраняющая от ветра и холода, кажется порой нестерпимо тяжелой, словно кто-то горячий и потный обляпил всего тебя и не хочет выпускать.

Но все это еще ничего: зима — не самое напряженное время для пастуха. Когда кончается короткая чукотская весна, оленей гонят на летовку. Мужчины оставляют яранги, захватывая с собой самое необходимое: палатку, запасные летние торбасы, презентовую камлейку: из продуктов только чай, сахар, соль, иногда галеты или хлеб. Все это нужно таскать на своих плечах, делая ежесуточно в жару и сырость по двадцать — тридцать километров, постоянно заботясь, чтоб для всего стада было в достатке корма и воды.

Для вьючной, а тем более для верховой езды чукотский олень не приспособлен. В сравнении со своим якутским собратом он намного слабее, шкура на его спине быстро перетирается и, едва наступают первые холода, лопаются до самого позвоночника.

Вечером нас с Валерием сменяют, и мы возвращаемся в ярангу. Скидываем с себя почти все и блаженно растягиваемся на мягких, недавно выбитых шкурах, приятно отдающих прохладой. Вволю едим мясо и почти вволю пьем чай. Выпиваем вдвоем весь чайник, но кажется, что еще смогли бы выпить столько же. Ымынтонуа подает нам ужин, выворачивает и развешивает для просушки нашу

одежду, пришивает к торбасам новые ремешки, готовит лед и сырое мясо для завтрака. Между делом успевает кинуть кусок собаке и взять одного из щенков, приласкать его, как ребенка, и даже спеть ему что-то негромкое и веселое. И снова ее неутомимые руки в работе. Старая Этытваль помогает ей как может, они раньше всех встают и позже всех ложатся. Давний, до сих пор сохранившийся закон, диктуемый самой жизнью: мужчина все силы отдает тундре, женщина — домашнему очагу. Граница этого закона иногда нарушается: мужчина при случае приносит домой вязанку дров, заготавливает лед; женщина, если надо, после своего четырнадцатичасового рабочего дня идет на ночное дежурство. Положение женщины в тундре стало труднее из-за того, что семья оленевода теперь сплошь и рядом фактически разорвана. Большинство женщин, не говоря уже о стариках и детях, живет на центральной усадьбе. Структура оленеводческой бригады такова: шесть пастухов и две работницы яранги. Остальные считаются «лишними». Правда, во многих бригадах «лишние» живут, но это рассматривается как нарушение.

Перед сном мы с Валерием и старым Тэноургином смотрим и читаем журналы, прихваченные мною в колхозе. Кымынтону и Этытваль, управившись наконец со своими делами, присоединяются к нам. Потом Кымынтону берет меня за руку:

— Смотри... — Сгибая и распрямляя ногу, она кладет мою ладонь на свое колено, и я отчетливо чувствую, как под коленной чашечкой то тягуче, то отрывисто скрипит сустав. Ревматизм. Этот скрип я слышу, уже отняв руку.

На следующее дежурство мы отправляемся с Валерием вечером. Стадо отошло от яранги уже километра на три. Белый снег, серое небо и почти такая же ровная бесцветная тишина. Ни ветерка. Потом послышались скрепки копыт и показались олени. Попрощавшись с пасгухами, поднимаемся на пригорок, откуда видно все стадо. Животные спокойно разгребают снег, почти не двигаясь с места. Лежим с Валерием прямо на снегу и лениво поглядываем на них сверху.

— Давай пройдем, — предлагает он.

— Давай.

Спускаемся и начинаем обход. Подогнав к стаду несколько отбившихся важенков, возвращаемся на прежнее место. Поднимается легкий ветерок. Настолько легкий, что самый верхний слой свежего пушистого снега остается нетронутым.

— Давай еще раз обойдем.

На этот раз отбившихся оленей было заметно больше. Ветер тем временем начал взвихривать снег, отбрасывая его в сторону. В следующий раз оленей подогнать было еще труднее. А ветер, смешивая снег со сгустившейся темнотой и швыряя его в лицо, чувствовал уже себя хозяином и действовал бесцеремонно. Сперва мы обходим стадо вместе, потом порознь, уходя в разные стороны и встречаясь на другом его конце.

Мне показалось, что часть оленей стала отходить. Забежав сбоку, я погнал их к стаду. Когда их гонишь быстро, они всегда сбиваются в кучу и бегут, послушно меняя направление. Так было и сейчас. Слыша впереди все умножающийся мягкий стук копыт, я бежал, испытывая какое-то злорадное чувство превосходства. «Ага, удираете, гады!..» Бежал, подгоняемый ветром, до тех пор, пока на мое плечо вдруг не легла резко рука Валерия.

— Ты что? Их же нельзя гнать по ветру. Так они удерут черт знает куда!..

Мы собираем стадо вместе и начинаем гнать его в прежнем направлении. Спереди его теперь караулить не нужно — это делает ветер. Олени все время заходят друг за друга, прячась от ветра. Пока мы подгоняем одну часть стада, другая тем временем оказывается на прежнем месте. Подгоняем этих оленей — пятятся назад другие. Фактически стадо стоит на месте, и все силы уходят на то, чтоб сопротивляться ветру, который дует, незаметно усиливаясь и свирепея. Гоним час, другой, третий. Одежда уже давно в липком поту. Лицо горит. Острые снежинки, впиваясь в щеки, мгновенно тают, теряя свою силу, и холод их не

проходит дальше кожи. Хочется рвануть на груди кухлянку, тяжелую, как скафандр, и упасть лицом в снег.

— Давай отдохнем немного! — кричит, пересиливая вой пурги, Валерий.

Я падаю лицом в снег.

Минут через пять мы поднимаемся и начинаем колесить от одного конца к другому и обратно. Я уже ничего не различаю в темном ревушем месиве, упруго и стремительно плывущем на меня. В нескольких шагах перед собою чувствую живую подвижную стену и, как Валерий, криками и взмахами рук заставляю ее отдаляться.

Потом мы снова падаем. И поднимаемся опять. Валерий вдруг кричит.

— Ты тут без меня!.. Я сейчас пригоню!.. — И исчезает.

Ничего не понимаю: зачем ему понадобилось уходить? Минут через двадцать слышу в стороне дружный стук копыт, вливающийся в живую стену впереди. Только тут до меня дошло: олени откололись и Валерий заметил это. Не заметил, а почувствовал.

Часам к шести я устал окончательно.

— Теперь можно отдохнуть побольше! — слышу вблизи голос Валерия.

И мы ложимся рядом. Быстро нахожу удобную позу: правую руку вытягиваю вдоль тела, левую сгибаю и упираюсь лбом в запястье. Между ртом и снегом небольшое пространство; меховой рукав и капюшон кухлянки надежно закрывают лицо от ветра. Очень тепло и уютно. Где-то там, над головой, беснуется пурга, а я ее даже не чувствую — только слышу. Каждой клеткой мускулов, нервов, мозга отдаюсь отдыху. Время от времени протягиваю руку вправо. Валерий рядом; и снова меня плавно поднимает и стремительно уносит блаженное полузабытье.

Просыпаюсь оттого, что чувствую рядом какую-то перемену. Полежав несколько секунд, резко приподнимаюсь, выпрямив руки. Тугой жгут полоснул сперва по лицу, потом по глазам, когда я их раскрыл. Сквозь пробивающийся рассвет увидел, что олени залегли, сойдясь вплотную. Стадо похоже на бугристый остров, заросший толстым кустарником и занесенный снегом. Валерий лежит рядом. И я засыпаю снова.

Просыпаюсь, когда олени на ногах и Валерий тоже. Почти рассвело, ветер немного ослабел. Снова нужно обходить стадо. Во время одного обхода увидел вдруг совсем рядом с оленем большую серую собаку. Как она здесь очутилась? Заметив меня, собака побежала прочь, низко приседая и далеко выбрасывая вперед задние лапы. Прежде чем я успел сообразить, что это волк, и испугаться, его уже и след простыл.

И мы снова и снова обходим стадо. Медленно, но уверенно наступает прочная усталость. Совсем светло. И как бы робея перед утренним светом, ветер смягчает свои удары.

Наконец нас пришли сменять Тэноургин и Ванкато.

— Яранга вон там, — указывает Тэноургин в ту сторону, откуда ветер, только чуть правее.

И мы пошли. Продвигаться по глубокому снегу в тяжелой одежде с каждым шагом становится труднее. Примерно через полкилометра ложусь отдыхать. Валерий стоит рядом и ждет. Следующий «привал» делаю через пятьсот шагов.

Вспоминаю, как в университете отлынивал от физкультуры. Один раз меня протащили в «Филологе», другой раз заставили весной сдавать задолженность по лыжам. Таких, как я, со всех факультетов набралось порядочно. И по сырому, клейкому снегу на громоздких шершавых лыжах с изношенными креплениями и палками без колец мы прошли, проползли, протащились бесконечное количество раз. Финиш помню смутно. Перед глазами плыли круги, рот наполнялся слюной. Так было надо — иначе могли бы лишиться стипендии.

— Вставай, пошли, — говорит Валерий.

Встаю и иду. Ложусь через триста шагов.

— Вставай, пойдем...

Встаю, но ветер не хочет пускать меня дальше — он упирается мне в грудь, в живот, в ноги, в руки, в лицо. Падаю на снег через сто пятьдесят шагов.

— Вставай, пойдем...

«Чего он не дает мне отдохнуть?» Поднимаюсь, иду и жду только того момента, когда упаду на снег. Падаю через сто двадцать шагов.

— Вставай, пойдем...

«Какого черта он пристаёт!»

Падаю через сто шагов,

— Вставай...

«Чего ему надо? Пускай он катится к чертовой матери!..» Хочу попросить Валерия, чтобы он шел один, а я полежу часок и приду сам. Но молчу: все равно не согласится. А спорить без толку — только терять силы.

— Яранга близко, вставай...

Пошел редкий, но крупный снег, и ветер, почувствовав поддержку, подул сильнее. Ступаю рядом с Валерием и постепенно отстаю. Падаю опять. Валерий глядит из-под ладони по сторонам и поворачивается ко мне:

— Мы, кажется, сбились...

«Тоже мне утешил!..» Мы снова трогаемся. Иду поодаль чуть сбоку, не поднимая головы. Вдруг нога моя шагает в пустоту. Лечу вниз и секунды через полторы падаю в глубокий мягкий сугроб. Обрыв... Задираю голову — сквозь снежное сито вижу Валерия. Показалось, что он смеется. Можно притвориться, что ушибся, и немного полежать. Но его не проведешь: видит, как и куда я упал.

— Поднимайся... вон там не круто!..

Увязая чуть ли не по пояс в снегу и проклиная длинную тяжелую кухлянку, подбираюсь к отлогому спуску и вскарабкиваюсь по нему. Не успел отдышаться, а Валерий уже кричит:

— Идем! Яранга вон там! — И показывает влево.

«Уж молчал был.. Идешь — и иди...»

Но через несколько шагов я и впрямь вижу над невысокой снежной завесой макушку яранги, а немного дальше и другую...

И вот мы снова в пологе. Мои меховые доспехи вывернуты и лежат рядом. Их изнанка густо лоснится от пота. Когда прикасаешься к ее сырой, как тесто, поверхности, на ней остаются четкие углубления от пальцев. Теперь все это будет сушиться не меньше суток. Представляю, что было бы со мной, если бы я полежал в тундре «хотя бы часок»...

— Ну как себя чувствуешь? — смеется Валерий. Он тоже устал и тоже вспотел, но не так, как я.

Я улыбаюсь, вспомнив о своей злости на Валерия. Мне рассказывали, как в тундре один парень так же злился на своего друга, когда тот заставлял его идти дальше. Дошел до того, что полез на него с кулаками: дай отдохнуть... На драку его хватило, а на то, чтобы идти дальше, нет. Просто человек не верил в свои силы, не имея верного представления о них.

И я подумал: часто ли я выкладывался весь до конца или хотя бы вот так, как сейчас, чтоб добиться своего?..

Как часто человек из лени, из малодушия или по глупости преждевременно занижает свой физический и нравственный потолок, заранее отказываясь от своей победы, от своего счастья, от своего спасения...

На следующее утро Валерий пошел в стадо без меня. Скоро я вернусь к себе, а он со своими товарищами останется здесь, дома.

Через несколько дней снова перекочевываем на другое место. Погода на этот раз отличная. Можно идти без кухлянки: встречный легкий ветер осторожно освежает лицо; по синему небу тут и там бережно разложены чегкие, невесомые облака; бодрые солнечные лучи доносят не только свет, но и тепло до притихшей, отдыхающей от жестоких поединков с метелями и пургой земли.

Длинной ленивой цепью растянулся по тундре аргиш — человеческое жилище на толстых грубых полозьях. К нарте, где в небольшой корзине лежат щенки, привязана собака. Один из щенков вываливается на снег. Его мать хочет остановиться, но привязь тянет ее дальше, и она идет, беспомощно оглядываясь. Я оказываюсь ближе всех — бегу по плотному снегу, подбираю и кладу малыша в корзину к его братьям.

До наступления темноты успеваем подойти к стаду и разбить ярангу.

А вечером по нашим следам приехал Ванто — за мной, и еще один каюр — за Валерием. Его вызывают в Магадан, где скоро открывается совещание, в котором примут участие оленеводы всего Севера — от Мурманска и Архангельска до Чукотки, Камчатки и Сахалина.

Утром много едим и пьем: дорога дальняя, ближайшая столовая в трехстах километрах отсюда.

* * *

Я вспоминаю старого коммуниста Коровина, бывшего северянина, который, дожив до седин, остался человеком юношеской мечты. Вспоминаю свою первую командировку к пастухам семь лет назад, когда работал в «Советской Чукотке». У меня было задание сделать материал о том, как оленеводы одного колхоза принимают обращения ко всем труженикам сельского хозяйства Магаданской области. Со мной ехал заместитель начальника облсельхозуправления по оленеводству Михаил Александрович Коровин.

Собственно, в голове материал был готов и, самое главное, начало и конец были найдены: «Принимая на себя... Подсчитав свои возможности...» Возможности подсчитаны, обязательства известны, остается дополнить конкретными примерами.

Когда партторг колхоза Василий Этлену зачитал обращение, в яранге наступило долгое молчание. Потом поднялась пожилая женщина и начала говорить. Мой карандаш рванулся было к блокноту, да так и не дотронулся до него. Лицо Михаила Александровича, пока женщина говорила, оставалось неподвижным и спокойным. Только глаза были опущены вниз.

— От работы мы никогда не отказываемся и работать умеем. Вы это видите сами, — доносился в полумраке ее ровный, негромкий голос. — И мы, конечно, эти обязательства примем. Но как мы будем их выполнять? Людей у нас мало, молодежь в тундру идти не хочет — все хотят жить на усадьбе. Мы работаем и днем и ночью, без выходных дней и без праздников. Старики наши болеют, а заменить их некем...

Потом опять наступило молчание. Никто из пастухов больше не говорил. Добавлять было нечего — она сказала то, что думали все.

Да, изменения на Чукотке произошли большие.

Советская власть прогнала самое страшное наследие прошлого — голод. Дав сельскому хозяйству мощную основу — колхозы и совхозы, она дает ему и мощное оружие — социалистическую технику. Если раньше рыбаки и зверобон плавали на весельных кожаных байдарах, пользовались старинными орудиями и оружием, то теперь в их распоряжении вельботы, мотоботы, катера, сейнеры, добротные снасти, дальнобойные винтовки и карабины и в любом количестве боеприпасы. Люди на центральных усадьбах переселились из яранг в дома.

Это на берегу. Но в самой тундре условия труда и быта остались такими же. Отнять у земледельца трактор, комбайн, автомашину и заставить его ковырять землю сохой — что он скажет? В северном оленеводстве хозяйство ведется на уровне мотыги.

— Вот, смотри, — говорил мне Михаил Александрович, — олень ест ягель, человек ест оленя — весь экономический комплекс...

В целинном хлебе овеществлен труд тракториста и комбайнера, а значит, и металлурга, шахтера, лесоруба, химика. Земледелие является неразрывной частью всего общественного производства страны, подпирается могучим плечом

индустрии, и этим ему в значительной мере гарантирована максимальная устойчивость.

Оленеводство пока что не имеет такой опоры. До глубокой тундры доходит культура, торговля, медицинское обслуживание — насколько позволяют транспортные и бытовые условия. Но до нее не дошла современная, социалистическая техника.

Беспощадная природа Севера требует от пастуха постоянного, непрерывного напряжения всех его сил. Чтоб взять от оленеводства все, что оно может и должно дать сегодня, путь один — механизация.

— Механизация?! — искренне изумлялись многие. — Зачем она там нужна?

Еще несколько лет назад считалось, что для чукчей ездить на собаках такое же естественное дело, как ходить в шкурах, есть сырое мясо, жить в вонючей яранге. Многие отваживались на туристическую командировку к оленеводам. Проедется такой деятель по тундре — страшно, посидит в чоттагине — холодно, сунет нос в полог — душно. Вернется поскорее домой и начнет рассказывать всякие ужасы о Чукотке и чукчах. И глядишь, будет считаться (не только приятелями и женой) знатоком Севера.

На протяжении многих лет, и зимой и летом, бывал Михаил Александрович у пастухов не как гость, а как человек, способный хоть чем-нибудь им помочь — добрым словом, ценным советом, чаще хорошим делом. Если же помочь нечем — он не тратит бестолку слов, не успокаивает пустыми обещаниями. И люди тундры, оленные чукчи, хорошо его знают и очень любят. В свое время он долго жил в глухой тундре с женой, Анфисой Митрофановной. Двадцать лет работал он над проектом вездехода, не жалея своего времени, сил и средств. Сейчас эта машина запущена в серийное производство, но встретить пока что ее можно далеко не везде.

Наука, призванная оснастить хозяйство своими новейшими достижениями, делает здесь, на Севере, только еще свои первые шаги — робкие и подчас неверные. Есть хорошие специалисты и даже энтузиасты в сельскохозяйственной опытной станции. Но ее опыты так и остаются опытами, редко переходя на практическую почву.

Громадная, нелегкая и, видит бог, пока не решенная задача стоит перед землеустроительной экспедицией — определить не только запасы, но и размещение кормов, установить порядок эксплуатации пастбищ в зависимости от количества оленей в колхозах, от сезона, от климатических и микроклиматических условий... И вот на центральную усадьбу колхоза прибывают землеустроители — один или два. Поговорят с колхозниками, хорошо, если съездят в две-три бригады; колхозная территория фотографируется с самолета (для определения оленемкости); полученные данные соберут, обработают и двигаются в следующий колхоз. И наконец в районе, а потом и в округе вешается на стену карта (на основании которой бригадам предлагаются и навязываются маршруты выпаса), добросовестно раскрашенная в шесть цветов: зимние, ранневесенние, поздневесенние, летние, раннеосенние и позднеосенние пастбища. Землеустройство завершено. А пастух тем временем колесит по этим поздневесенним и раннеосенним: где найти место на время отела оленей, чтоб прогрелось солнцем, чтоб было защищено от ветров? Куда направить стадо летом? Куда перегнать его в гололед? И чаще всего бывает так, что на месте летнего пастбища оказывается голая сопка, на месте весеннего — осеннее, и наоборот.

Отставная идею механизации, с готовностью поддерживая все, что делается в этом и в любом другом нужном направлении, Михаил Александрович всегда без оглядки выступал против такой профанации. И еще один человек, о котором я часто думаю все это время. Этот человек — председатель колхоза имени Ленина Юрий Сергеевич Егоров — первым решил на деле осуществить механизацию оленеводства. И дела, насколько помнится, вначале пошли у него очень успешно. А потом? Как у него там? Если хорошо — об этом знали бы все. Значит, плохо. Усадьба колхоза имени Ленина, Лорино, — рядом, в сорока пяти километрах от бухты Лаврентия... Нет, я должен с ним встретиться!

* * *

И вот я в Лорино. Мой план — в первый же вечер запереться с Егоровым хотя бы на несколько часов и поговорить обо всем самом важном — провалился окончательно. По его и по моей вине.

Есть руководители, которые любят позаседать, так сказать теоретики. Сложные вопросы у них становятся более ясными, а простые отшлифовываются, обретая новые грани. А дистанция между словом и делом, решением и исполнением тоже незаметно увеличивается и загромождается новыми барьерами. В итоге — надобность в дальнейшем обсуждении обостряется.

Есть руководители — сугубые практики. Их девиз — вон из кабинета в гущу, толщу. День и ночь такой начальник мотается по своему участку, стремясь дойти до всего сам, вмешивается в любое дело. Вот он самолично просматривает и пересчитывает весь инвентарь; вот он, скинув пальто, лезет под трактор и начинает его ремонтировать; вот он, снова скинув пальто, хватая лопату и начинает откидывать снег из-под буксующей машины. Глядишь, вытащил машину, вытащил другую. А тем временем хозяйство буксует.

Юрия Сергеевича Егорова не сравнишь ни с тем, ни с другим. К своему многоотраслевому хозяйству он относится как к сложному, но единому, взаимосвязанному организму. В каком бы он месте ни был и чем бы ни занимался, он всегда знает и чувствует, что делается на всех остальных участках. Когда надо, он идет на звероферму, едет в тундру, летит в Магадан; когда надо — запирается в кабинете, чтоб не мешала ни единая душа, и не выйдет из него, пока до конца не продумает какое-нибудь трудное, важное решение. При этом он ни за что не станет за кого-то что-то доделывать и додумывать, если убежден, что без него здесь обойдутся ничуть не хуже. Готовых рецептов руководства нет, зато есть железные, проверенные и подкрепленные жизнью принципы: знать людей и отдавать себе трезвый отчет, что ты значишь для них как руководитель; постоянно учить их и неустанно учиться у них самому; не браться за какое бы то ни было важное дело, если есть другое, более важное и срочное; быть постоянно в форме и не выбиваться из ритма жизни колхоза, чтоб чувствовать малейшие его перебои.

Руководитель, всегда по горло заваленный работой, — плохой руководитель. Ох, как аukaется людям его постоянная занятость и благородная усталость. Нужно всегда уметь вовремя разогнуть спину, расправить плечи и взглянуть не только близко, но и далеко вокруг, присмотреться и прислушаться к тому, что творится вокруг тебя и в тебе самом. Юрий Сергеевич всегда находит время подумать о завтрашнем и послезавтрашнем дне своего колхоза. И не только одного колхоза. Он отлично знает, как идут дела у его соседей — Демидова и Зеленской, с которыми связан большой, многолетней дружбой. Он умеет сопоставить экономику своего хозяйства и всего района или округа и наметить какие-то вехи, видимые, может быть, пока только ему одному. В его привычку вошло чтение специальной литературы по сельскому хозяйству, любит он поразмышлять и поспорить о том, какую пользу принесли ему очерки Овечкина или последний роман Кочетова. Энергичный без суетливости, подтянутый и плечистый, знающий себе цену, он нередко повторяет: «А что? Мое дело маленькое — я крестьянин...» Восприимчивые сперва как шутка, эти слова каждый раз вызывают серьезные раздумья о том, каким стал сегодня подлинный колхозный вожак.

И он многого добился. Большой и, что называется, благоустроенный поселок с лучшим в районе клубом — дело его личной чести. Звероводство, которым лоринцы занялись первыми на Чукотке вопреки мрачным пророчествам и доходы от которого неуклонно растут, — тоже дело его чести. Едва на усадьбе стает снег, специально оборудованная спортивная площадка полна народу. А потом вскоре лоринские волейболисты едут на соревнования и во главе со своим председателем кладут на обе лопатки лаврентийцев и провиденцев.

— Это наша лоринская школа, — любит говорить Юрий Сергеевич.

Руководитель пошивочной бригады, мастерица золотые руки Таня Тынавана — «наша лоринская»... Неистощимый остро слов, многоопытный и бывалый

работник Федор Андреевич Янченко, у которого полон дом курносых белобрысых и голубоглазых чукчат, — тоже «наш лоринский». Тоненькая и хрупкая Зоя Кузьмина — заведующая зверофермой. Сосед Егорова Саша Демидов, еще молодой, но уже по-настоящему умелый председатель, как-то сказал о ней:

— Ты не смотри, что она маленькая, это ж такая зверюшница — цены нет. Была бы возможность — не задумываясь, украл бы ее у Егорова.

Сказано было так, что не оставалось никакого сомнения — при случае обязательно «украдет». И это тоже «наша лоринская». Через несколько дней, уже в Лаврентии, я познакомился с уборщицей столовой Лимой Сильверстовной. Она известна — и не только в районе — тем, что до недавнего времени в свои пятьдесят с хвостиком занимала призовые места на лыжных состязаниях и нередко ходила на лыжах из Лорино в Лаврентия и обратно. Когда в Доме культуры за хорошую работу ей вручали почетную грамоту, она поднялась на сцену и прочитала торжественные стихи собственного сочинения.

— Лоринская школа — чувствуешь? — сказал почти с мальчишеской гордостью Юрий Сергеевич.

Растить хороших людей, заботиться о них, быть с ними в дружбе — дело его личной чести.

Но самое важное и самое трудное его дело — механизация. Только одержимость высокого накала может заставить человека пронести свою упорную и активную веру в это большое дело сквозь тысячи других дел, требующих своего решения сейчас же, сию минуту. Многочисленные противники механизации, скептицизм которых нередко проявлялся в директивной форме, не унимались на протяжении всех этих лет.

— Трактор по тундре не пройдет!

По тундре прошли ХТЗ-НАТИ, ДТ-54, С-80. Блестяще показал себя при испытаниях С-80.

— Машины распугают оленей!

Животные сами без всякого страха пошли к машинам, когда люди стали выкладывать им соляную и минеральную подкормку. По ночам яркий свет прожектора отпугивает хищников, и олени, чувствуя себя в безопасности, обступают человеческое жильё.

— Механизация экономически не оправдывает себя — тракторы с потрохами сожрут колхозный бюджет!

Механизованная бригада в пять человек стала выпасать стадо вдвое больше обычного при меньших затратах труда. В 1959 году непроизводительные отходы сократились на 1400 голов, производство мяса на каждые сто оленей увеличилось на двенадцать центнеров, себестоимость снизилась на тринадцать процентов. Стоимость всей техники за два с половиной года окупилась вдвое. С увеличением производительности труда увеличились доходы колхоза и заработок пастухов.

Тех, кто не решался ехать в бригады, Егоров чуть ли не за руку подводил к трактору:

— Вот эта машина повезет сейчас в тундру груз, для которого понадобилось бы семьдесят собачьих нарт. Семьдесят каюров, восемьсот сорок собак, по килограмму мяса в день на каждую. Считайте, во что это может обойтись...

А те, кто добирался до бригады, видели, что впервые оленные чукчи зажили нормальной человеческой жизнью. Светлый, теплый домик на полозьях, движок, радиоприемник, печка, солидные запасы топлива, продовольствия, горючего, возможность легко продвигаться в любую минуту в любом направлении — все это неузнаваемо облегчило труд и быт пастухов. В самый дальний конец теперь можно легко доставить в любом количестве химикаты и опрыскиватели. Специальные валки с шипами разбивают твердый наст, и никакая гололедица теперь не страшна.

Несбыточная идея, еще совсем недавно казавшаяся до смехотворного отвлеченной, перестав быть только идеей, сразу же завоевала себе самого надежного сторонника — чукотского оленевода.

Сколько было в свое время потрачено (да и тратится теперь) сил, энергии и средств, чтоб улучшить ярангу — сделать ее светлее, просторнее, поставить на полозья! Но улучшение этого кочевого жилья и нарт так же невозможно и бесполезно, как усовершенствование лучины или модернизация лаптей. Нельзя их улучшить — их можно только заменить. С началом же механизации открывается широчайшее поле деятельности для инженера, строителя, проектировщика, изобретателя. Ведь Егоровым был использован обыкновенный трактор, не приспособленный специально для труднопроходимой чукотской тундры. А на строительство домиков пошли самые грубые, устаревшие стройматериалы, чуть ли не со слезами выпрошенные и чуть ли не с дракой раздобытые в Providении и Магадане. Но даже несмотря на все это, за три года существования механизированных бригад были достигнуты очень большие успехи и раскрыты перспективы, о которых недавно даже нельзя было и мечтать.

Но, к сожалению, дальше дело пошло совсем по-другому. Тракторы потребовали сначала текущего, а затем, естественно, капитального ремонта. И пастухи вынуждены были оставить обжитые домики и вернуться в свои старые яранги. Причина очень простая: нет запчастей, нет ремонтной базы; и очень сложная: не только отдельному колхозу или целому району, но и всей области, пожалуй, не под силу поставить дело механизации северного оленеводства на прочные индустриальные рельсы. Примитивизм и кустарщина, на какой бы энтузиазм ни были помножены, в лучшем случае продемонстрируют свою несостоятельность, а в худшем — опорочат замечательную идею, которая хотя и завоевала себе большой авторитет, но все еще кое для кого кажется котом в мешке.

Как часто на всевозможных заседаниях говорят о насущных делах оленеводства: разумное использование пастбищных угодий, охрана молодняка, истребление волков, ветеринарное обслуживание, снижение себестоимости, укрепление трудовой дисциплины, культурные мероприятия в бригадах, увеличение производительности труда, повышение рентабельности и многое другое. Предлагаются тысячи конкретных путей улучшения работы и устранения недостатков. И среди прочих мер иногда упоминается механизация. В то же самое время механизация одним махом кончает со всеми этими недостатками и выводит оленеводство на качественно иной, революционный путь. Старыми средствами, за счет износа людей, добиться сколько-нибудь заметных сдвигов теперь очень трудно.

Мощная машина высокой проходимости и большой маневренности нужна не только в чукотской и таймырской тундре, на Сахалине и Камчатке — она сослужила бы отличную службу и на отгонных пастбищах Казахстана и Средней Азии.

* * *

Третий день я живу в Лорино. Юрий Сергеевич охотно отвечает на все вопросы. Но чаще он занят своими делами и отключается частично или целиком от всего постороннего: хочешь — смотри и слушай, не хочешь — не могу задерживать.

По-моему, он мог бы сделаться большим путешественником — ведь недаром потянуло его сразу же после окончания техникума на самую дальнюю окраину страны. А может быть, он смог бы стать поэтом.

Самодельный хор поет здесь песню на его слова:

Нет здесь яблони и смородины,
Только диких льдов бурелом.
Посмотри кругом — это Родина,
Потому что мы здесь живем.

Жизнь суровая и опасная,
Только по сердцу нам она.
Слишком тихая, слишком ясная,
Слишком гладкая не нужна...

А если бы он остался в армии, из него наверняка бы получился отличный боевой командир.

Да он и так настоящий командир. Смело и решительно пошел он в наступление на гололедицу и пургу, на изнурительную усталость и преждевременную старость, на бюрократическое равнодушие и меднолобие.

Хочется думать, что главные испытания и трудности у Юрия Сергеевича позади. Трудно было подготавливать и осуществлять механизированный бросок в тундру. Но помимо противников у него было много союзников: цифры, факты и, главное, люди — от партийных работников и журналистов до рядовых колхозников... Намного было труднее десять с лишним лет назад, когда он месяцами колесил по Чукотке, гоняясь за последними остатками кулачья, и его постоянно подстерегали бесчисленные враги — бескрайняя тундра, ненасытная пурга, кулацкий нож или винчестер. Но тогда тоже рядом были близкие люди, и один из самых больших друзей — железная уверенность, что все это очень скоро придет к успешному концу... Труднее было гам, на фронте, — идти по родной разоренной и разграбленной земле и терять самое дорогое в жизни — своих боевых товарищей. Но вслед за всем этим пришло самое великое счастье — победа... Еще труднее было в предвоенную пору, когда он скитался беспризорным парнишкой и рядом были такие же голодные и вшивые оборванцы или способные на все матерые бандиты... Но самым тяжелым в его жизни был, наверное, тот праздничный вечер, когда за полчаса до Нового года в квартиру пришли двое в штатском. Отца тогда уже не было в живых. Они попросили мать пройти с ними: «Совсем ненадолго — минут на пятнадцать». Встретился он с нею через много лет. А тогда тринадцатилетний Юрий остался в опустевшей квартире со своим маленьким братишкой...

Все это теперь далеко позади. И глубоко в сердце. Трудности прибавляют трезвого упорства, удачи — юношеского азарта, и не выбивают из колен приливы и отливы чьей бы то ни было милости.

Механизация оленеводства — не единственная и, несмотря на всю важность и злостность, не самая главная проблема сельского хозяйства Чукотки.

— В Эстонии есть звероводческий совхоз, — говорит Юрий Сергеевич. — Получает отличную пушнину и большие доходы. А корм для него завозят знаешь откуда? Из Казахстана! А у нас, гляди — нерп, моржей, лахтаков летом можно стрелять даже вон — из окна моего кабинета. А птица. а рыба... А киты!.. Дальний Север еще станет основным поставщиком мягкого золота на всесоюзный и мировой рынок — вот увидишь. Таких возможностей больше нет нигде.

Сейчас эта золотая жила только-только начинает разрабатываться. В пятьдесят шестом году у лоринцев было всего сорок пять зверьков. А сколько теперь? С Юрием Сергеевичем и Зоей Кузьминой мы обходим просторные, вместительные корпуса зверофермы. На клетках обозначены номера: 1050... 1136... 1200...

— А почему же кличек не даете вашим воспитанникам?

— Сначала пробовали, а потом имен не хватило. Стали повторяться — лишняя путаница...

Я предлагаю использовать опыт уэленских звероводов. Серебристо-черные лисицы и голубые песцы носят самые неожиданные имена: Рукавичка, Заплатка, Квитанция...

* * *

Надсадно взревев, «аннушка» с трудом оторвалась от земли. Обычно летчики берут на борт десять человек. Одиннадцатому разрешают сесть после долгих просьб, двенадцатого впускают со скандалом, а о тринадцатом и говорить нечего... Сейчас летит, не считая экипажа, пятнадцать человек. Люди сидят и стоят среди мешков, ящиков и чемоданов, держась за железный трос, как в трамвае в часы пик. Юрий Сергеевич протирает перчаткой заледеневшее окно, поглядывает вниз.

— Скоро увидимся с Зеленской — она уже наверное в Лаврентии!..

Лидию Федоровну Зеленскую, председателя колхоза «Ленинский путь», я давно знаю по газетным материалам и рассказам знакомых. «Это наша — лорин-

ская», — говорит о ней Егоров. Несколько лет Лидия Федоровна работала заведующей красной ярангой в Лорино. Давно хотел с ней познакомиться...

И вот мы снова в бухте Лаврентия. Остаток дня прошел незаметно в хлопотах и мимолетных встречах. А вечером, когда райком опустел, мы втроем сошлись в одном из кабинетов. У Лидии Федоровны немного печальное и очень усталое лицо: может, из-за того, что еще не отдохнула с дороги или опять поспорила с начальством о своих делах и заботах, которых теперь, после укрупнения колхоза, стало еще больше.

Не так давно Лидию Федоровну наградили орденом Ленина. К ней пришла слава. Лидии Федоровне и в голову не приходит хоть каким-то образом менять свое отношение к повседневным делам и окружающим ее людям. Все время с утра до ночи проходит, как и прежде, в хлопотах, разъездах, деловых разговорах и стычках.

Мы беседуем о старых и новых северянах, вспоминаем разные истории.

Рассмеявшись, Егоров и Зеленская вспоминают и рассказывают, перебивая и дополняя друг друга, историю о том, как был потоплен в Лаврентии самый первый и единственный в то время на весь район трактор.

Добытый и доставленный с большим трудом, он сперва стоял без дела. Потом первый секретарь райкома Петр Герасимович Антушев, изъездивший в свое время на собаках всю тундру и понимавший важность и торжественность момента, под свою личную ответственность разрешил возить на тракторе бревна. Во время обеда тракторист, не выключив мотора, оставил трактор у самого берега и побежал домой на полчаса. Поселковые мальчишки только этого и ждали. Со всех сторон они облепили удивительную машину и стали на ней переводить и передвигать все, что передвигалось и переводилось. Кто-то включил скорость, кто-то дал газ, и трактор, лязгнув гусеницами, тронулся с места. Как горох, посыпались с него и пустились наутек злоумышленники. А трактор смело направился в воду, как будто ему это не впервой: сначала скрылись гусеницы, потом радиатор, кабина и выхлопная труба. Когда примчался ошалевший от ужаса тракторист, на берегу было пусто. Лишь две широкие гусеничные колеи вели прямо в море, которое плескалось как ни в чем не бывало.

На берег прибежало все районное начальство — партийное, советское, профсоюзное, комсомольское. Сбежался, как на пожар, весь поселок. Трактора не было. Секретарь райкома Антушев метался по берегу с побелевшими кулаками: достать трактор со дна моря! Кто-то из толпы высказал предположение, что на нем теперь катаются нерпы и моржи.

Как его обнаружить?.. Где-то раздобыли старый, еще довоенный противоприпный комбинезон цвета горчицы, такой же допотопный противогаз и несколько гофрированных трубок. Из всего этого соорудили самодельный скафандр. Влез в него усатый и долговязый инструктор райкома Суворов. Привязав веревкой, его сбросили с лодки в районе затопления. Но плотная морская вода не хотела его принимать. Тогда инструктора вытащили и стали привязывать к ногам камень.

Камень оказался маленьким, и инструктор опять, как бревно, плавал на поверхности. Стали разыскивать камень побольше.

— ...Человека утопить не можете! — потрясал кулаками и сам трясся от негодования Антушев.

Второй камень оказался впору, и инструктор с тяжелым всплеском скрылся под водой. И сейчас же веревка бешено задергалась. Добровольца вытянули и сорвали маску. Лицо бледное, рот беззвучно раскрывается, усы и глаза торчком — трубка оказалась дырявой...

Через несколько дней прилетели водолазы. Обговорили условия и заключили трудовое соглашение. После этого трактор нашли, привязали к нему канат и стали с помощью всех имеющихся механических средств — лебедки и грузовика — вытягивать на берег. Как ни бились, ничего не получалось. На вытаскивание были мобилизованы все мужчины — бесполезно. Им были приданы все женщины — утопленник еле сдвинулся с места. К канату было вызвано все население

районного центра от мала до велика. И только тогда — внучка за бабу, бабка за деду — вытянули трактор...

Давно ли, кажется, все это было. Спасенный трактор благополучно отслужил свой век, и на смену ему пришли другие. И нет теперь на Чукотке такого поселка, где бы не трудились эти сильные, работающие машины. А скоро настанет время, когда в каждой бригаде будут стучать их надежные выносливые сердца.

И мы снова говорим об этом большом и таком нужном деле и опять вспоминаем Михаила Александровича Коровина.

Расходимся в двенадцать — когда кончает свою работу поселковая электростанция.

* * *

Через несколько дней в бухте Провидения меня встречает Игорь и бесцеремонно и категорически заявляет: побудем здесь три дня.

На следующий день мы с утра сидим в тесном мрачноватом клубе строителей. Идет пленум райкома комсомола. Суховатый и длинноватый доклад, скучноватые прения. Сидим и слушаем час, три часа, пять часов. Начинаю досадовать, что поддался уговорам Игоря, и с каждой минутой все больше сомневаюсь в удаче его намерения.

Пленум окончился. Все приготовились расходиться, кое-кто направился к выходу. Игорь поднимается, подходит к столу президиума и, немного помедлив, начинает разговор: редакцию «Советской Чукотки» интересует, что лично каждый из присутствующих здесь думает о герое наших дней? Каким он должен быть, чем он отличается от остальных людей и могут ли быть героями эти «остальные»?

В зале тишина, неловкая и даже тягостная. Люди и так уже наговорились, они устали и хотят есть. При чем тут героизм?

Поднимается высокая худощавая девушка — первый секретарь райкома (дело официальное, товарищу надо помочь) — и начинает рассказывать о своей первой учительнице.

Снова наступает молчание.

Слово берет второй секретарь. Делая паузы разной продолжительности, обстоятельно и в то же время без всякой убежденности, как бы не веря самому себе, начинает излагать свою точку зрения. Героизм — это что-то выдающееся, сверхобычное. И очень редкое. На героизм способен, конечно, не каждый.

— ...Раз он герой, он должен быть человеком особенным. Лично я героя рядом не видел.

В рядах поднимается шум. Вижу, что одни с ним крепко не согласны, другие готовы присоединиться.

Но вот с задних рядов поднялась девушка с горящими, обветренными щеками — Валя Лубинцова.

— А о летчиках вы что — забыли? Ведь на земле и то сколько всяких опасностей, а эти люди летают по воздуху! Нашу здешнюю жизнь просто представить без них невозможно... Вы, конечно, все слышали о Петренко. Вот это летчик! Другие успевают в день сделать рейс или два, а он делает четыре рейса. Летает в любую погоду, и днем и ночью, может сесть даже в пургу. Сколько он людей спас! Если хотите знать, о нем чукчи песню сложили. И поют. Вот это герой!.. А взять радистов, диспетчеров, которые связь держат с самолетами, с разными поселками и городами, — это же так романтично! Я бы писала только об авиации. Нет, верно...

В зале заулыбались. Смутившись, улыбнулась и сама Валя.

— О Рубцове слышал кто-нибудь? — поднялся в углу невысокий лобастый парень. — Он простой рабочий. Высадили его в прошлом году одного на берег — маяк доверили. И он все лето был один. Палатку у него в шторм сорвало. Холод, ветер, дождь. Уставал он, конечно, как черт, отдохнуть и укрыться негде... А маяк все время, каждую ночь непрерывно горел и путь кораблям указывал. И так все лето. Разве он не герой? По-моему, настоящий герой!..

— Пьяница настоящий твой Рубцов, вот кто! И в «Гарпуне» ему не зря про-драй устроили...

— А ты знаешь, почему он тогда напился? Знаешь?..

— Не знаю и знать не хочу!

— А вот ты узнай!.. Ему запчасти к трактору нужны были. А ты вот попробуй запчасти достать, попробуй, тебе говорю! Вот он и выпил там с одним... Ну раз надо было! А потом... сел на трактор... и на крыльцо наехал...

— И дом чуть не своротил!

— Тоже мне, героя нашел!..

— Так ведь всякое же может быть! Не понимаешь ты, что ли?

Начинается свирепый спор...

Справа от меня сидит мой старый знакомый Вена Синицин. При мне в Эмелене он работал завмагом. Вместо магазина тогда было хилое строенье из старых досок и ржавого железа. Никакого отопления в нем не было. В холод и мороз, с утра до вечера отвешивал Вена масло и сахар, крупу и вермишель. Когда становилось невмоготу, он прибежал в правление и минут пять — в магазине ждут люди — отогревался у печки. Так он работал день за днем, месяц за месяцем не одну зиму. Слышал я о том, как недавно он вез в тундру на тракторе товары. Темной морозной ночью машина въехала в наледь и застряла вместе с санями. Мотор заглох. Несколько суток дожидался Вена с товарищами подмоги, перетащив груз в безопасное место и греясь у крохотного костра...

А слева от меня сидит молодой пастух. На его лицо я еще раньше обратил внимание. Удивительное лицо. Необычно широкое, но не круглое, а квадратное, со скупыми резкими чертами. Чуть расширяющееся книзу, оно как бы специально деформировано, чтобы подчеркнуть мужественность и зрелость. Таким оно будет через десять и через двадцать лет, время лишь добавит в него бронзы.

Я ничего не знаю об этом парне, но уверенно наклоняюсь:

— Расскажите о себе.

Он молча кивает головой. Когда наступает очередь, Михаил Нынагыргын, бригадир оленеводов колхоза «Ударник», встает и начинает рассказ. Голос у него негромкий, русским языком владеет он неважно. Но все его слушают очень внимательно.

— Сначала я был учеником, потом стал пастухом. В это время нас и оленей замучила гололедица. И каждый день дула пурга. Палатки не было. Кочевали мы далеко в тундре. Кроме строганины, никакой еды. Воды тоже нет. Одежда и обувь у нас промокли и промерзли. Так мы шли за стадом. Каждую ночь нападали волки. И вот не выдержал и умер мой дядя. Он был старый, и здоровье его подкачало. Так он и умер в стаде. Мы остались вдвоем. Нам стало еще труднее. Но мы помнили о дяде. Он умер спокойно. Не жаловался. Мы часто о нем думали, и это нам помогло. Вдвоем мы вынесли все и стадо сохранили. Вот и все.

После оленевода все долго молчали. Но это было совсем другое молчание — наполненное одним смыслом и большим общим чувством.

Заговорил строитель из Эмелена Петя Тнанкав.

— Эта история случилась давно. Герой ее жив, работает как ни в чем не бывало. Ничего особенного не делает. Трудится, как все. А тогда он поступил, как герой. Звать его Камчи...

Гриша Камчи?! Так я же его хорошо помню по тундре. И эту историю знаю тоже.

Это было в сорок восьмом году. В стойбище пришли бежавшие из лагеря бандиты. Пастухи не успели ничего сделать — беглые убили их всех. Они оставили только одного Гришу, чтобы он охранял стадо. Преступники жили в яранге — отъедались, отсыпались и зорко следили за тем, чтобы пастух не сбежал. Один Гриша мог бы легко убежать. Но как быть со стадом? Ведь это народное добро — бессонные дни и ночи, пот и кровь его погибших говарищей.

Наконец подула пурга. Когда уже трудно было что-либо разглядеть, Гриша погнал стадо. Он гнал его всю ночь и завел за дальнюю сопку. Пурга, стихнув, успела замести оленьи следы. Бандиты стали искать. Гриша из-за сопки наблюдал за ними. Обессиленное стадо легло, и его трудно было заметить.

Но главное было еще впереди. Гриша не знал, в какую сторону двигаться дальше. И вот, надеясь только на свое чутье, он повел оленей. Одному приходилось очень трудно. Одежда сносилась. Гриша обматывал ноги шкурами. И все гнал и гнал стадо. Гнал до самой весны. Пока не нашел своих. Если бы не олени, все было бы гораздо проще. Но Гриша думал не о себе...

Не случайно бандиты оставили в живых именно его. Он низенького роста и совсем не сильный. Мы с ним как-то бегали наперегонки по глубокому снегу, и я запросто его обогнал. Однажды мы мчались по тундре на оленях. Легкая нарта беспрестанно подпрыгивала на кочках. Я сидел сзади Гриши и не решался покрепче ухватиться за его плечи — такие они узенькие и хрупкие.

И снова в который уже раз наступила тишина. Ее прервала Валя Лубинцова:

— **Вот** вы здесь говорите о героизме моряков, пастухов, геологов. Я говорила о летчиках. А сейчас подумала: просто такая работа.

* * *

Очень нравится мне этот поселок. Нравится за свое красивое название. Каждый раз его повторяешь с удовольствием: бухта Провидения. Романтично не только название. К его причалу до поздней осени пристают многоэтажные гордые великаны, и для всех находится много горячих дел. Если подольше потолкаться в порту, в ресторане, в клубе, то наверняка можно познакомиться с обветренными, просоленными людьми, побывавшими во всех частях света. Окружен он неприступными каменными сопками, а по его улицам ходят красивые, нарядные женщины. Всю жизнь они встречают, провожают и ждут своих мужей, женихов, любимых. И сам поселок стоит на берегу широкой задумчивой бухты Эмма, с которой обручен теперь навеки. А еще он мне нравится за одно тихое, но примечательное место. Если пойти вверх по дороге в сторону моря, то можно подняться на широкую пустынную площадку. С нее хорошо виден сверкающий своими окнами поселок, открывающееся вдаль за мысом Пlover Берингово море. В глубине площадки стоит маленький домик, а с краю, у самого обрыва, на толстой перекладине висит громадный старинный колокол. На его позеленевшем цоколе крупной вязью отлито: «Благовестуй земле радость велию...» Как это хорошо звучит — под стать таинственным гранитным сопкам, широкотрубным морским красавцам и величавым взмахам порталных кранов: «Благовестуй земле радость велию...»

* * *

И вот настала пора прощаться с Анадырем, куда мне удалось завернуть всего на один день.

Выходим с Игорем и Николаем Мымриным на берег лимана. Николай пойдет со мной — ему нужно в Комбинат.

Вездеход мы проворонили. Идем пешком по ровному тугому снегу. Тяжелый морозный встречный ветер обжигает лицо. У Николая кожа дубленая. Смахнет со щек и с подбородка белые ворсинки инея — и хоть бы что. А я, как когда-то, прибегаю к старому способу — иначе бы по моему носу давно справлялись поминки — обматываю лицо шарфом так, что остаются только одни глаза. Пусть дует и морозит как угодно — теперь не страшно.

У мыса Обсервации, как раз на середине пути, нас нагоняет «козел». Нам предлагают садиться.

— Да нет, мы теперь уж сами...

Шофер, посмотрев на нас как на чокнутых, презрительно хлопнул дверцей. «Козел» пустил нам дым и снежную пыль в глаза и укатил.

Почти не разговаривая, быстро шагаем дальше. От ходьбы стало тепло. Вот уже и другой берег. Смотрим на часы и прибавляем шаг: малость не рассчитали.

Комбинат проходим почти бегом. Шарф с лица я давно уже сорвал. Выходим на последнюю прямую — метров пятьсот занесенного снегом подъема. Позади восемь километров бодрого марша. Слышим, как под ногами скрипит снег, а наверху ревут моторы моего самолета. В это время навстречу давешний «козел». Шофер, замедлив ход, вертит пальцем у виска: охламоны! Не волнуйся, друг, мы уже подобрали для себя словцо...

А дальше было, как в кино: от громадного серебристого хвоста, торчащего из-за стены, рванул снежный вихрь, и на наших глазах хвост стал медленно заползать за угол здания аэропорта... И вот уже самолет несется по взлетной дорожке и взмывает вверх...

— Девушка... А когда будет следующая телега на Магадан?..

— Что-о-о?! — Девушка берет мой билет, заодно требует паспорт и несет его к своему начальству. Потом зовет меня. Начальство сидит за абсолютно пустым столом и держит в руках мои документы.

— Будем штрафовать.

Что-о-о?!.

— Вот так, гражданин, — говорит мне начальник. — Следующий рейс в четыре часа. А если вам нужна телега — ступайте ищите ее в другом месте.

Мы спускаемся в поселок, заходим в магазин, оттуда к Колиному приятелю. Хозяин на работе, и мы располагаемся вдвоем. Торопиться нам некуда.

— Рассказывай, как ты охрип.

И Николай рассказывает. Его красная яранга обслуживает громадную территорию. Нужно много кочевать. Месяц назад их с каюром застигла пурга в ста километрах от Анадыря. Собаки легли. Пришлось перевернуть нарты и лечь самим, укрывшись припасенной на всякий случай шкурой. Их сразу же стало заносить снегом. Прележали еще сутки, а может, и больше. С каждым часом нестерпимее мучила жажда. Каюру, еще молоденький мальчишка, совсем ослаб. Тогда Николай выкарабкался из-под снега. Еще подъезжая к этому месту, он заметил невдалеке ровную низину. Возможно, это озеро. И Николай пополз в ту сторону. Пурга за это время еще усилилась. Скоро он ощутил под собой твердую, выскобленную ветрами шероховатую поверхность. Достал нож и стал долбить. Лед оказался прочным и очень толстым. С каждым взмахом силы уменьшались. А если озеро промерзло до дна? Но Николай все долбил и долбил — другого выхода не было. На месте лунки была уже широкая и глубокая воронка, а вода все еще не показывалась... Тогда, переведя дух, Николай размахнулся и вложил в последний удар весь остаток сил, чувствуя, что больше уже не сможет поднять страшно отяжелевшую руку. И в этот миг из-под ножа упругим фонтаном брызнула вода и стала быстро заполнять воронку. Николай приник к ней и, не чувствуя, как студеная струя ломит зубы и превращает горло в ледяную трубку, стал пить. Он утолил жажду за все эти сутки и напился про запас. Когда из котелка дал напиток каюру, тот сразу же ожил и стал быстро отвязывать что-то от нарты. Это оказалась небольшая вязанка дров. Николай еще сползал за водой — каюру выпил еще котелок; сползал снова...

— Представляешь, горит огонь, варится мясо, а он кричит: «А соли надо?» — «Конечно!» А потом кричит: «А лавровый лист надо?» — «А есть?» — «Есть!» — «Давай лавровый лист!..» Представляешь? Пурга вовсю, а мы в нашей пещере лежим, мясо едим, бульон пьем!.. Потом спать завалились... Просыпаюсь от тишины. Вылезаю — звезды кругом. Откопали собак. покормили чем было и двинулись. Приехали в Анадырь, спросили, какое число — оказывается, восемь суток пурговали...

Пора идти. Николай провожает меня до аэропорта. На прощание мы уточняем наши адреса. В это время я вижу высокую, стройную девушку в летной куртке и меховом шлеме, с мягким и мужественным лицом. Врач санитарной авиации Валя Семина. Узнав меня, она подходит и здоровается.

— Вы ведь хотели слетать со мной в бригаду?..

— Хотел... Конечно...

— Так летим?..

Ну как ей все объяснить?.. В ответ я начинаю что-то бормотать насчет всех моих сроков, которые давно сорваны.

— Понятно.

В окно мы видим, как ее «персональная», судорожно вздрагивая, медленно поднялась и стала быстро удаляться.

— Вот это девушка!— восхищенно глядит Николай вслед вертолету.— Вот о ком стихи-то писать...

А на меня накатывает чувство досады и нечаянной, но большой потери. Не успел узнать интересного человека. Знаю только из газеты «Советская Чукотка», что в этом году Валентина Семина налетала пятьсот тысяч километров. Полмиллиона. Санитарные тундровые километры — они так не похожи на километры гвезэфовские, освоенные и проторенные. Я представляю, с каким благоговением встречают ее люди в ярангах, куда она, словно добрая богиня, спускается с неба, чтобы своими руками отвратить беду и принести радость...

Поздно вечером объявляют посадку. Ночной старт — раньше здесь этого не было. Девушка-диспетчер — с ней мы за эти часы познакомились,— прощаясь, сказала:

— Вас пригласят в кабину — я с летчиками поговорила...

Когда самолет взлетел и набрал свою высоту, в передних дверях показался высокий пожилой человек в темно-синем кителе, с большими значками-крыльями на груди. Он позвал меня, и я, испытывая чувство неловкости, вошел в низкую, тесную кабину и встал за спиной первого пилота, не зная, что делать дальше и о чем говорить. «Зачем это? Ведь я никого ни о чем не просил...»

Я хотел поблагодарить всех и вернуться на свое место, но меня что-то удерживало. Что?.. Я посмотрел на пилотов, на штурмана, на радиста. Перевел взгляд на штурвал, на приборы, на стекла кабины. И вдруг я посмотрел вперед и увидел легкое, бескрайнее небо, до отказа наполненное темно-голубым воздухом и большими остроконечными звездами. Звезды были везде — по бокам, впереди, вверху и даже внизу. И я почувствовал, что стою сейчас на громадной высоте и громадная сила стремительно несет меня навстречу этому небу. Сколько раз это самое небо проплывало мимо и оставалось позади. А сейчас оно мощным бесконечным порывом надвигается прямо на тебя. И все оно переливается невидимым, но очень ярким и густым светом.

От этой четко ощутимой реальности необычного верится, что могут произойти самые фантастические вещи. Стоит только захотеть. Кажется, стоит задумать эту землю такой, какой ты ее хочешь видеть — свободной, честной, прекрасной,— такой она и предстанет в лучах восходящего солнца пред тобой и пред всеми людьми. Земля. Она такая большая — таящая в себе бесконечные запасы еще не разбуженных сил и уже породившая самую великую силу — человеческую мысль. Очень маленькая Земля — человек может теперь облететь ее за девяносто минут, и очень беззащитная — со своими ромашками и березками, с журавлиным пением и воробьиным щебетом.

Подо мной проплывает небольшая частица этой земли — Чукотка. Мне говорили, что на Чукотке у каждого человека есть своя песня. Но разве только на Чукотке? Каждый человек рождается со своей песней. И какое это счастье, когда у него есть силы быть верным ей до конца.



ПУБЛИЦИСТИКА

К. ЖУКОВ,
кандидат архитектуры

★

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ И БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

(Заметки о крупнопанельном домостроении)

В мире, наверное, извечно не хватает жилья. Но в разное время, в разных странах люди по-разному ощущают этот недостаток. В зажиточной капиталистической Швеции, стране, столетиями не участвовавшей в войнах, об этом будут говорить довольно спокойно — по официальной статистике, на каждого взрослого шведа приходится по комнате. Благополучно обстоит дело с жильем и во многих странах демократического лагеря. Например, в Чехословакии уже взят курс на то, чтобы через четыре года каждая семья, включая молодоженов, была обеспечена отдельной квартирой. Во Франции же, да и в Италии для очень и очень многих недостаток в жилищах сегодня приобретает трагическую окраску.

Однажды мне случилось в туристском автобусе переезжать Сену по одному из старинных парижских мостов. Этот мост имеет два уровня: нижний — проезжая часть, верхний некогда служил акведуком — водопроводом древности. Обе части моста возведены из камней, сложенных в часто поставленные квадратные столбы, поддерживающие своды.

Автобус медленно катился через мост. На другом берегу нижний ярус перешел в мостовую, а столбы акведука зашагали дальше по земле вдоль проезжей части. Указывая на его своды, гид как о некоем забавном случае рассказал нам историю бездомных семей, пытавшихся поселиться под ними, забив чем попало промежутки между столбами. Он рассказывал, как дошедшие до отчаяния люди отбивались от полиции, которая в конце концов вышвырнула их вон. Я смотрел на неровные плиты мостовой под акведуком, на грубо отесанные поверхности каменных столбов и мысленно представлял себе людей, для которых эти каменные чуланы были единственно доступным кровом.

Между тем автобус повернул направо и покатил по бульвару вдоль опушки Булонского леса.

— А вот это, господа, — сказал гид, — самые лучшие в Париже квартирные дома. — Он указал на аккуратные белые трехэтажные кубы с зеркальными стеклами в окнах, стоящие на ярко-зеленых газонах. — Лифт поднимает на второй и третий этажи, вода подается трех температур: обычная, горячая и ледяная... Изумительное местоположение, но, господа, эти дома пустуют — уж очень дороги здесь квартиры. Даже обеспеченные люди не могут позволить себе жить в них. Они по карману лишь очень богатым.

Наш гид не отличался прогрессивными воззрениями и совсем не собирался демонстрировать социальные язвы Парижа. Но более наглядного урока о состоянии жилищных дел во французской столице преподать было бы трудно, да еще в течение считанных минут. Вышло это у него, по-видимому, совершенно случайно, так как факты всегда есть факты...

Если заговорить о жилище с советскими людьми, то и от них можно услышать жалобы на тесноту и неудобства. Советские люди хотят иметь современное, комфортабельное жилище поскорее, они торопят. Говорят же, что аппетит приходит во время еды... А ведь еда уже на столе: семьдесят пять миллионов человек переехали в новые дома за последние шесть лет. Подумать только — третья часть людей нашей страны отпраздновала новоселье!

Впервые в истории человечества в таких масштабах и так полно решается жилищная проблема. Люди въезжают в новые квартиры, не задумываясь над тем, а по карману ли им они: квартплата у нас самая низкая в мире. Что-то, а деньги на квартиру у нас заработает каждый — работы хватает на всех.

На наших глазах осуществляется предвидение основоположников марксизма-ленинизма о том, что жилищный вопрос, как огромный социальный вопрос, получит свое полное решение только в подлинно демократическом социалистическом обществе.

Притом в нашей стране в самом строительном деле свершилась техническая революция. Возникла самая настоящая строительная индустрия. Построены и строятся сотни заводов сборного железобетона, изготовляющие части перекрытий, стен, лестниц, фундаментов. Они действуют уже по всей стране — от Владивостока до Вильнюса. Их продукция — современные, комфортабельные многоэтажные дома. Работа на этих предприятиях ведется по специальной технологии, позволяющей обеспечить непрерывность производственных процессов.

Теперь строительство ведут люди самых разнообразных профессий, связанных с современной техникой. Не каменщик, не плотник, а механик, монтажник — ныне центральная фигура на стройке.

Нашим строителям приходится не только налаживать производство и наращивать темпы. Любое современное производство обязано непрерывно совершенствовать свою продукцию, периодически обновлять ее. Точно так же должны действовать и домостроительные предприятия. Тем более что конструкции сборных домов и сооружений все еще проходят стадию окончательной доработки и жизнь неизбежно вносит свои поправки. Возникли и с каждым днем продолжают возникать, словно действуя по цепной реакции, все новые и новые вопросы и проблемы — начиная от организационных и кончая теоретическими. Все эти вопросы и проблемы надо решать оперативно, буквально на ходу — ведь заводы и предприятия действуют, дома и сооружения уже монтируются!

К некоторым, с моей точки зрения, наиболее важным вопросам и проблемам мне и хочется привлечь внимание.

НОВОЕ И СТАРОЕ

Контрастное сочетание нового и старого — одна из характернейших черт нашего времени. И в строительном деле, как нигде, переплетается новое, передовое и древнее, отсталое. Совершенные механизмы изготавливают бетон, перевозят и монтируют детали. Но, к сожалению, работа современных умных машин обязательно дополняется у нас тяжелым, до пота, ручным трудом человека, вооруженного лопатой, мастерком, ломом, кувалдой. С их помощью он действует и на заводах, и при транспортировке и монтаже сборного железобетона. Прямо диву даешься, почему эти древнейшие инструменты неизменно сопутствуют современной технике. Если лопата и мастерок продолжают существовать в качестве полезных вещей так же, как при сильно развитом транспорте сохраняется пешеходное движение, то лом и кувалда — предметы явно вредные. С помощью кувалды и лома не только открываются затворы бункеров с бетоном и неизбежно портятся при этом; ударами кувалды откидывают борта форм панелей наружных стен и перекрытий. С помощью того же лома и кувалды вынимают железобетонные изделия из кассетной формовочной установки. О какой миллиметровой точности формы можно говорить после этого!

Представьте себе огромный формовочный цех. Легко скользят под потолком громады кранов, переносят многотонные сборные железобетонные детали, вспыхивают цветные лампочки на пультах управления, и... слышится грохот кувалды и удары лома,

без которых не срабатывает кассетная установка, без которых нельзя ни раскрыть, ни закрыть бортовую оснастку горизонтальных форм.

Не лучше обстоит дело на строительных площадках при сборке домов. Подъемным краном, собственно, начинается и кончается перечень монтажных механизмов. Второе после крана монтажное приспособление — лом и та же кувалда. С их помощью окончательно «рихтуют», как говорят монтажники, то есть делают точную посадку панелей. Прикосновения этих инструментов нередко оставляют на теле панелей следы, похожие на те, что остаются от осколков снарядов.

Пусть не думает читатель, что такое состояние среднего звена механизации в современном производстве и монтаже сборного железобетона возникло сегодня по вине каких-то отдельных нерадивых руководителей, что таково положение только на каких-то определенных заводах. Это не тот случай, когда надо обвинять кого-то персонально. Каждый, кто хотя бы немного знаком с положением дел, знает, что такое получилось в результате соединения нового со старым. Нельзя даже допустить мысли, что, например, главный инженер Минского домостроительного комбината В. В. Минкевич не хотел бы избавиться от ручных процессов или же директор Вильнюсского завода сборного железобетона С. И. Любецкис не стремился бы к полной механизации на своем заводе. Лом и кувалда стучат в цехах сборного железобетона совсем не потому, что в этом виноват тот или иной директор либо главный инженер. Причина этого — просто в отсутствии надежных и простых механизмов и приспособлений. Их вообще нет или почти нет. Они отсутствовали с самого рождения крупнопанельного строительства, их нет и по сей день, хотя они должны быть обязательно. И не так-то просто их создать, когда в жизни еще ничего подобного не существовало.

Мне достаточно отчетливо представляются трудности создания и внедрения простых и надежных приспособлений для освобождения изделий от опалубки и для монтажа панелей. Конечно, писать об этом несравненно легче, чем создать, но тем не менее чем скорее будет восполнено отсутствие «средних звеньев» механизации в панельном производстве, тем скорее появится желаемая точность, а рабочие избавятся от утомительного ручного труда.

В большинстве капиталистических стран нет даже ничего похожего на наше механизированное производство сборного железобетона — ни по размаху, ни по технике. Там частным предпринимателям просто невыгодно вкладывать капитал в механизацию. Боязнь спада производства, а чаще всего просто неуверенность в получении заказов — масштабы-то строительства не наши! — заставляет их широко использовать ручной труд, тем более что свободных рабочих рук сколько угодно. Поэтому проблемы механизации, стоящие перед нами так остро, там не возникают вовсе.

Когда по дороге мчится панелевоз, нагруженный гигантскими железобетонными деталями, сколь ни обыденным стало для нас это зрелище, не только одни мальчишки провожают его восторженными взглядами. Мы все с уважением относимся к нашей транспортной технике. Но достаточно ли совершенна она? Увы, и здесь наталкиваемся на неприятные контрасты. Сейчас на вооружении у нас существует не одна, а несколько систем панелевозов, и почти у всех панели никак не защищены от дождя, дорожной грязи, мокрого снега. Удерживающие или прижимные устройства панелевозов не всегда гарантируют сохранность изделий. И они нередко, еще не побывав на стройке, уже покрываются царапинами, околами или пятнами.

Однажды я присутствовал при споре главного инженера одного домостроительного комбината с архитектором, жаловавшимся на плохую организацию перевозки панелей.

— Уж не в упаковке ли перевозить? — иронически заметил главный инженер.

Но если серьезно отнестись к делу, то, собственно говоря, почему бы и нет? Перевозят же в упаковке мебель, радиоприемники, телевизоры... Почему-то в этом случае никакого сомнения в целесообразности этого ни у кого не возникает. А вот крупные панели стен и перекрытий, стоимость которых ничуть не ниже стоимости шкафов или диванов, почему-то можно перевозить ничем не прикрытые под дождем или снегом и потом сваливать в кучу прямо на землю, покрытую льдом, снегом или грязью!

Разработаны и давным-давно существуют правила, подробно толкующие, как устанавливать и хранить на заводских и припостроечных складах материалы, сборные

железобетонные элементы, различные конструкции и изделия. Правила эти, в сущности, весьма просты, но выполнение их почему-то считается делом необязательным.

На одном из владивостокских заводов железобетонных изделий я собственными глазами видел в минувшем году хранившуюся навалом под открытым небом большую партию оконных переплетов с коробками. Какого же качества могут быть эти уже испорченные небрежным отношением и непогодой изделия? А ведь жильцам нужны добротные, плотно закрывающиеся окна, не боящиеся зимнего, холодного ветра.

Кстати, об окнах в крупнопанельных домах вообще. Здесь используют принципиально ту же конструкцию, что и в домах с кирпичными стенами. А это вынуждает применять далеко не совершенные технологические приемы, требует применения ручного труда. Однако уже много лет известна конструкция окон без деревянных коробок: створки навешиваются непосредственно на бетонный профиль. На такие окна расходуется вдвое меньше древесины, экономится металл, и обрабатывать панели можно простейшими приспособлениями. Почему же сейчас не применяются такие конструкции? Встретятся большие трудности? Да нет... Просто этим никто по-настоящему не занимался. Применение обычных стандартных окон — дело более привычное, внедрение же нового всегда сопряжено с риском.

Сомнительна, как мне кажется, и правильность наиболее распространенной сейчас формы прямоугольной наружной стеновой панели с окном — «панели на комнату». Такая форма, безусловно, пришла в крупнопанельное строительство по инерции от кирпичных стен, состоящих из простенков и перемычек. А ведь эта форма создает трудности при заделке швов, неудобна в изготовлении и транспортировке. Не проще ли образовывать наружные стены из сплошных прямоугольных панелей, без оконных проемов? В этом случае проемы окон и балочных дверей совпали бы с границами панелей и количество швов на гладкой стене резко сократилось бы. Кое-где уже так делают.

Впрочем, вопрос конструирования и поисков наилучших решений, несмотря на свою важность, все же вопрос номер два.

Сегодня в крупнопанельном домостроении вопрос номер один — это качество, качество того, что уже освоено и выпускается заводами.

ПРИЗНАК НОВОГО — ТОЧНОСТЬ

Разделение процессов на предварительную заготовку частей зданий и последующую их сборку — вот в чем огромное преимущество современного сборного строительства. Заготовку ведут на весь дом сразу, не дожидаясь, пока сделают детали фундамента. Именно в этом и заключается «секрет» сборного строительства. Именно в этом главное условие совершенствования производства. И не только потому, что изготовление частей будущих зданий происходит не на строительной площадке, а в цеху под крышей, а прежде всего потому, что части эти многократно повторяются. Именно в поточности производства и заключены возможности для совершенствования выпуска строительных изделий и конструкций. Для работы архитектора массовость и поточность создают совершенно новые условия, требуют от архитектора совершенно иного подхода к решению своей задачи. Теперь ему приходится «добывать красоту» не из кирпича и не из штукатурки, не из штучных деталей, кропотливо обрабатываемых руками мастеров, а из изделий массового машинного производства, к тому же весьма и весьма крупных. Техническая революция в строительстве в корне изменила эстетику архитектуры. Хотим ли мы этого или нет, но современные здания должны быть красивы именно той красотой, какой обладают лучшие образцы самолетов, автомашин, холодильников, электроприборов — словом, всего того, что создается на основе современной машинной техники и поточного производства.

Поэтому усилия архитекторов и строителей должны быть направлены на разработку современных пропорций, на то, чтобы добиваться выразительности зданий с помощью контраста материалов, отличного качества обработки и окраски поверхностей.

Если еще недавно за штукатуркой, за сверхмерной орнаментовкой и лепкой, покрывавшей здание, мы могли скрыть неточность формы его конструктивных частей, то

теперь точность — основа всего архитектурного решения. Да и вообще точность — это основа всего.

Всем высоким произведениям искусства всегда присуща высокая точность. Неповторимая красота Парфенона основана прежде всего на точности выполнения, соединения и сочетания его частей и деталей, такой точности, которая учитывает даже оптические поправки на особенности восприятия человеческого глаза.

В современном строительстве точность означает прежде всего высокое качество всех изделий, материалов, работ, а в современной архитектуре — гармоническое сочетание высокого качества сооружения с общим композиционным замыслом. Но всегда ли может архитектор этого добиться? **К сожалению, нет.**

О КАЧЕСТВЕ

В некоторых городах качество крупнопанельных домов все еще низкое и не может не вызывать серьезных упреков. Когда мы говорим о качестве, то речь идет не столько о прочности крупнопанельных домов, сколько об их долговечности, удобстве, внутренней и наружной отделке, внешнем виде зданий и их благоустройстве.

Многие не сведущие в строительном деле люди нередко задают вопрос: прочны ли современные крупнопанельные дома, если так много говорят об их качестве? Ответ может быть только один: **в подавляющем большинстве крупнопанельные дома более прочны, нежели кирпичные, но в части отделки и внешнего вида порой уступают им.**

Прочность и долговечность крупнопанельных домов — это уже решенные проблемы. В массовом заводском производстве оставлены только те типы панелей и блоков, прочность и надежность которых не вызывают сомнения. Долговечность зданий увеличивается за счет внесения некоторых дополнений в их конструкции, например более надежной защиты от коррозии металлических креплений.

Совершенствуется удобство крупнопанельных домов, улучшается их планировка. **И все же кое-где вызывает серьезные опасения качество сооружаемых зданий.**

От чего же зависит качество сборного домостроения?

Прежде всего оно зависит от проекта. В последние годы, на мой взгляд, в проектах крупнопанельных домов допущены ненужные упрощения. Под флагом «борьбы с излишествами» неправомерно и неправильно исключены многие далеко не лишние, проверенные временем архитектурные детали. Исключено, например, такое полезное и нужное устройство в жилом доме, как эркер.

Подавляющее большинство зданий лишено таких необходимых деталей, как карнизы и междуэтажные пояса, которые веками так практично и надежно защищали наружные стены домов средней этажности.

Непомерно протяженные, гладкие, зачастую совершенно невыразительные стены панельных домов крестообразно пересекаются открытыми швами. При длительном дожде и ветре влага накапливается в этих открытых швах и случается, что проникает даже внутрь. Естественно, что при таких условиях либо панели и их сборка должны быть самого высокого качества, либо необходимо срочно решать «проблемы стыков», «вопросы герметизации швов» и прочие трудности, о которых не знали при строительстве кирпичных зданий.

Правда, все эти «беды» — отнюдь не обязательная принадлежность крупнопанельного строительства, а чаще всего связаны именно с излишними упрощениями конструкций, с неразумной погоней за высокими производственными показателями. В первых панельных домах, где предусматривались и предупреждались возможные осложнения со стыками, эти неприятные проблемы не возникали.

Зачастую неудовлетворительное качество строительства зависит от плохого выполнения заводских изделий и деталей и прежде всего от сборных железобетонных изделий. Даже небольшое отклонение от проектных размеров или искажение заданной формы неизбежно ведет к осложнениям. Разве можно хорошо смонтировать дом из кривых панелей?

Это не кирпичная кладка, где можно как-то «разогнать» ошибку, исправив ее за

счет швов, напусков рядов или последующей штукатурки. Каковы детали, таково будет и целое. Но, к сожалению, до сих пор еще многие заводы выпускают панели с искажением формы, с неровной поверхностью. Такие панели приходится штукатурить, вручную подправлять, подгонять. Это, конечно, увеличивает сроки и удорожает стоимость строительства. Нередко какая-нибудь одна неверно выполняемая операция на заводе влечет за собою целую цепь осложнений. Так, например, неправильная подача бетона и плохая подготовка форм для панелей перекрытий на рижском заводе приводят к тому, что потолки домов приходится потом, после сборки, штукатурить на месте вручную. Поэтому хотя крупнопанельные дома в Риге в конце концов получаются хорошего качества, но достигается оно за счет дополнительных, не предусмотренных сметой работ.

Нередко низкое качество отделки зависит от того, что строители не располагают нужными материалами, в частности красителями. А без них как без рук. Тут счет предъявляется химикам. Где они, давно обещанные яркие, стойкие и недорогие красители? Они позарез нужны строительству. Ждать больше нельзя. Ведь современную архитектуру, основанную на простых формах, гладких поверхностях и контрасте фактур, без высококачественных красителей создать нельзя. Сочетание серого бетона конструкций стен с яркими деталями оконных переплетов, балконов, ограждений, входов, цоколей — наиболее современная и в то же время самая недорогая отделка жилых зданий.

Такое архитектурное решение позволяет не красить, не облицовывать чем-либо и не покрывать декоративной штукатуркой наружную поверхность панелей. К тому же оно не только долговечнее и дешевле других, но и намного проще в производстве. Однако архитекторы к такому приему прибегают довольно редко, только тогда, когда они вполне уверены, что цветные детали останутся в течение длительного времени действительно цветными, а не выгорят, не полиняют и не превратятся в серые. А дом с серыми стенами и серыми деталями будет во всех отношениях «серым» и вряд ли кого устроит. Яркие, стойкие и недорогие красители не только значительно улучшат качество, но и удешевят наше строительство.

Ярко окрашенные пластмассовые детали (лестничные поручни, линолеум, цветной паркет и другие) для внутренней отделки панельных домов, уже применяемые в Минске, Москве и других городах, очень радуют, и хотелось бы видеть их повсеместно. Но и здесь следует неустанно заботиться о качестве и самих этих деталей, и их установки. Одними распоряжениями и приказами этого не достигнешь. Это дело совести и чести самих рабочих и специалистов, они должны точно, беспрекословно выполнять все технологические условия и правила. А ведь то, что я видел на Владивостокском заводе железобетонных изделий, где между корпусами валялись многие сотни оконных блоков, — это не единичный случай. И не заметить это было просто невозможно. Наверное, и директор В. П. Лещевский, и главный инженер А. В. Лепетуха, и представители общественных организаций, да и просто рядовые рабочие десятки раз в день проходили мимо этих блоков. И каждый из них проходил спокойно, считая, очевидно, такое положение вполне нормальным. Вот это равнодушие и есть главный враг хорошего качества.

БЕРЕЧЬ ЗЕЛЕНЬ

Еще совсем недавно строительство ежегодно поглощало многие миллионы кубометров древесины, из которой изготовлялись балки перекрытия, стропила и прочее. Теперь этот прожорливый потребитель почти полностью отказался от нее: сборный железобетон позволяет экономить лесоматериалы. В нашей стране сейчас, как никогда, создались благоприятные условия для жизни леса. Сохраняет жизнь деревьев, причем деревьев, растущих в городах или в пригородах, и газификация, которая ведется у нас в крупных масштабах. Она избавляет зеленые насаждения от главного врага — пыли и вредных примесей в воздухе. За последние годы в наших крупных городах количество пыли в воздухе уже уменьшилось в шесть раз, а сернистого газа — втрое! Воздух Москвы, Ленинграда, Минска, Риги сейчас чище, чем воздух Парижа и других

столичных городов Европы. Много делается и для озеленения городов. Тем обиднее то непонятное равнодушие, с которым губят деревья и кустарники на месте возведения новых домов. Сперва мы губим, а потом с завидным терпением начинаем воссоздавать все заново.

Гибель зелени начинается еще в момент, когда проектировщик составляет план застройки.

Но вот он утвержден и начинает осуществляться. Согласно проекту вырубается только небольшая часть зелени, которая действительно мешает работам, а основная часть должна быть сохранена. Вот тут-то и начинаются черные дни для остальных деревьев и кустарников. На них наезжают самосвалы и бульдозеры, они служат подпорками многотонных железобетонных деталей, к ним прикручивают растяжки из тросов или тонкой арматурной стали, прибавляют гвоздями объявления, обрубают или перерезают корни при рытье котлованов и траншей.

Правда, проблему сохранения зеленых насаждений в районах новостроек нельзя сводить только к аккуратности. Порой бывает трудно, а подчас и невозможно сохранять эти насаждения даже при полном соблюдении всех правил. Происходит так потому, что при застройке неизбежно меняется уровень грунтовых вод (как правило, понижается), меняется влажность и состав воздуха. Другими словами, изменяются природные условия, при которых тут выросли деревья и кусты.

В академическом городке в Новосибирске были тщательно сохранены участки леса, но они очень скоро начали увядать из-за того, что изменился уровень грунтовых вод. Сохранение ценных пород деревьев на месте новостроек — серьезная проблема, над решением которой нужно думать всерьез.

«Лес рубят — щепки летят» — гласит народная поговорка. Сейчас, когда мы имеем возможность рубить лес по-хозяйски, щепки могут и не лететь. Мы можем и мы обязаны беречь зелень. Сохранением леса близ крупных городов и в местах новостроек должны заниматься не только ученые и специалисты. Бережное отношение к зеленым насаждениям должны прививать в школе, в передачах по радио и телевидению, и делать это нужно не «кампанейски», а каждодневно и годами.

ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ НАУКЕ

С 1955 года, когда партия и правительство вынесли постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», наша архитектура идет по новому пути. Ее основное стремление — наиболее полным образом удовлетворить требования советского общества.

Архитектура — понятие широкое. Это — создание искусственной среды, или, как говорят теоретики, материально-организованного пространства — помещений или мест, где люди живут, работают, учатся, отдыхают, развлекаются, занимаются спортом и т. д. Одностороннее эстетское понимание архитектуры как «архитектурного оформления» или как «выражения идей» получило осуждение и было отвергнуто.

«Период излишеств» в нашей архитектуре был обусловлен достаточно сложными причинами. Культ личности Сталина — одна из них. Вторая — это слабость нашей архитектурной науки. Правда, обе они тесно связаны между собой.

Казалось бы, что укрепление теоретического фронта, всемерное усиление Института теории и истории архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР — дело неотложное. Однако по непонятным причинам этого до сих пор не произошло, наоборот, одно время даже стали поговаривать о возможной ликвидации этого института и целесообразности передачи всех теоретических дел в отраслевые институты.

Таким образом, получив верное общее направление, архитектор-практик по-прежнему лишен возможности находить в своих творческих исканиях поддержку теории.

Архитектура всегда зрима и конкретна, поэтому и архитектурная наука не может быть сводом общих положений. Архитектурная наука, как и любая другая, не может также посвящать себя только изучению отдельных деталей. Однако по сей день архи-

тектурная научная мысль практически рассередоточена, разработкой ее занимаются многочисленные отраслевые институты. В них изучают только части целого: отдельные типы зданий (один институт — жилые здания, другой — общественные, третий — промышленные), материалы, строительные механизмы, технологию изготовления отдельных изделий и конструкций и тому подобное. Институт же теории и истории архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР, который должен стать центром научной мысли и объединять в себе все теоретические поиски, занимает такое же скромное, а бы сказал, малозаметное место, как и до 1955 года.

В стенах Академии строительства и архитектуры СССР, объединяющей все эти институты, собрано немало специалистов и знатоков своего дела. Они очень много сделали для создания и внедрения в нашей стране крупнопанельного домостроения и оказали огромное влияние на развитие этой отрасли за рубежом. Однако вклад академии мог бы быть еще большим, если бы она имела свой опытный домостроительный комбинат или завод, а также более широкие возможности для издания трудов. Ведь до сих пор, как только научная работа подходит к стадии практического опробования (если это проектное предложение) или же к стадии издания (если это теоретическая работа), научным сотрудникам приходится сталкиваться с «чужим ведомством», а, как известно, «своя рубашка ближе к телу», и оно не очень-то печется о «бедных родственниках». Это серьезная преграда на пути внедрения в практику научных работ. Ругнуть при случае и академию и научных работников, ругнуть за дело, а то и просто так охочих есть немало. Но мало кто задумывается над тем, что нелегко приходится академии и ее научным работникам, если они лишены экспериментальной базы и не могут достаточно оперативно издавать свои труды. Но вернемся к теме.

Итак, архитектор-практик и сегодня в части теории архитектуры по-прежнему располагает лишь самыми общими установками.

Но только на одних общих установках далеко не уедешь. Архитектор-производитель не может ждать: сама жизнь вынуждает его на ходу решать множество больших и малых проблем — ведь он строит сегодня! Именно поэтому вопросы современной теории архитектурной композиции, проблемы стиля и конкретные вопросы эстетрики разрешаются прежде всего архитекторами-практиками. Общеизвестно, что главный смысл и ценность науки заключаются не столько в том, чтобы объяснить уже происшедшее, сколько в том, чтобы указать верный путь в будущее. К сожалению, архитектурная наука в будущее заглядывает весьма робко; мало того, она не вмешивается в настоящее там, где уже давно пора сказать свое веское слово. В последнее время отчетливо выражено прогрессивное стремление к ясной композиции, к простым и четким формам и решительный отказ от «фасадничества». Это очень радует.

Однако увлечение сплошными остекленными поверхностями, бесконечными железобетонными козырьками несколько настораживает. Это становится модой. Особенно сильно проявляется эта новая мода в архитектуре общественных зданий, во внешнем решении жилых домов и целых кварталов. Невольно возникает сравнение с недавним прошлым. Тогда общественное здание не мыслилось без колоннад, портиков, карнизов, «классические» детали обильно оснащали здания, возводимые от Воркуты до Сочи. И теперь «новомодные» атрибуты непременно сопутствуют зданиям, строящимся в самых разнообразных географических условиях. Невольно возникает сомнение в правомерности такой всеобщей пригодности этих архитектурных приемов в нашей многообразной и многонациональной стране. Пусть не подумает читатель, что я против больших козырьков или стекла. Возражение встречает не сам прием, а безудержное повторение этих приемов где надо и где не надо. Большая остекленная витрина магазина — это хорошо, но, когда такую же по размеру витрину делают, к примеру, в конструкторском бюро и там задыхаются от духоты летом и мерзнут зимой, ясно, что это плохо, и уже не требуется никаких доказательств. Следует иметь в виду, что огромные стеклянные поверхности, которые, казалось бы, так хорошо соединяют внутренность помещений с окружающей природой, конструктивно лучше всего получаются наглухо закрытыми, когда воздухообмен в помещении осуществляется с помощью кондиционеров. К тому же остекленные проемы (но не само стекло, как думают некоторые) всегда добоже глухих участков стен и в строительстве и в эксплуатации здания.

Указать на ошибки практики, отвергнуть непригодное — дело современной науки. Она призвана правильно нацелить творческие искания практиков.

Чуждый, а порой и дурной вкус проникает именно туда, где образуется пустота, когда мы отвергаем старое, но ничего не даем взамен. Вот тут-то и должны прийти на помощь проектировщику наши теория и история архитектуры. Надо популяризировать лучшие образцы советской и зарубежной архитектуры, находить достойное для творческой переработки в истории, в памятниках архитектуры, поощрять опыты и открывать широкую дорогу новаторам. Способов и приемов решать эту задачу есть немало, только ее надо решать, а не просто отвергать старое и уходить в сторонку, оставляя пустоту, которая может оказаться лазейкой для ошибочных или чуждых взглядов.

Весьма отраднo, что в последние годы в ведущие творческие мастерские и на руководящие должности пришло немало молодых архитекторов. Кому, как не молодым, возглавить поиски нового, но кто, как не они, нуждается в мудром направляющем совете архитектурной науки, в знании истории нашей архитектуры? Кстати, что-то, а именно история советской архитектуры могла бы немало подсказать тем, кто ищет в области простых форм. Тем более что многое из этого было уже пережито в первые годы революции, и много, очень много примеров из нашего прошлого уже могут стать классикой для молодых.

Обращаясь именно к архитекторам, Ленин сказал: «Новое может возникнуть только на основе всей суммы знаний, накопленных человечеством». Эти мудрые ленинские слова записал во время беседы с Владимиром Ильичем в 1918 году крупнейший советский зодчий Иван Владиславович Жолтовский.

Было бы наивно думать, что архитектурная наука может все подсказать — и направление нового, и его формы. Хорошо, если она вовремя хотя бы только укажет верное направление поисков и предотвратит ошибки. Архитектура-наука — лишь старшая сестра архитектуры-практики, а творчество принадлежит младшей сестре. Поиски нового — дело всего творческого коллектива, и оно связано с временем, с удачами и неудачами.

Результаты поисков определяются и закрепляются не только законченными постройками — в этом случае за неудачи приходится расплачиваться очень дорого. Но ведь могут быть еще творческие дискуссии — устные и печатные, это и благоразумнее и дешевле. К сожалению, и тех и других у нас очень мало.

Видимо, поэтому нередко появляются на свет гладенькие, прилизанные, пресные, беззубые статьи и книги. А такую смелую дискуссионную работу, как книга А. К. Бурова «Об архитектуре», Госстройиздат маринoвал целых пятнадцать лет, несмотря на то, что много отдельных глав из этой книги, опубликованных в журналах, было встречено с большим интересом.

Хорошо, что в последнее время наши газеты и журналы уделяют все большее внимание вопросам архитектуры, да иначе и нельзя. При нашем размахе строительства мы обязаны обсуждать и выносить на суд общественности многие вопросы. Без этого не будет подлинного движения вперед.

Творчество архитектора, как никакое другое, связано с материальными ценностями, с жизнью людей — их трудом, бытом, отдыхом, учебой. И он должен как можно меньше ошибаться, потому что результатами его труда пользуется не одно поколение.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ЧУДАКОВА, А. ЧУДАКОВ

★

ИСКУССТВО ЦЕЛОГО

(Заметки о современном рассказе)

Мод искусством рассказа подразумевают часто искусность его построй-ки, новизну и выразительность деталей, стиль, язык.

Не узко ли такое понимание?

Критик может, конечно, восхищаться или негодовать по поводу отдельных удачных или неудачных деталей, фраз и выражений, но, однако, главным всегда будет иное.— соотносение мира, творимого писателем, с миром действительным и исследование единства замысла и исполнения.

Известна скромность Чехова. Но одну заслугу он за собой признавал. «Пути, мною проложенные...» — написал он как-то. Он имел в виду именно то, что утвердил в литературе рассказ — «малый жанр», журнальное чтение. Это означало, что после Чехова (а он завершил длительно подготавливавшийся в литературе процесс) в рассказе уже нельзя искать лишь частный случай, происшествие или вовремя подхваченную «тему». От него нужно ожидать того, что и делает рассказ искусством — общего знания писателя о жизни, о мире.

Иными словами, в рассказе мы ищем такую авторскую точку зрения на описываемое, за которой стоит цельное и прочное писательское мироощущение. Об этом хорошо сказал когда-то Горький: «У Чехова есть нечто большее, чем мирозерцание, — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения».

Эта «высшая точка зрения» необходима в любом рассказе. Она обязательно присутствует и в тех рассказах, где события и герои «не горазд такие значительные, как,

конечно, хотелось бы»... В них она может быть, особенно важна. Она-то и превращает «житейские мелочи» в слово о жизни.

1

У молодого писателя Л. Давыдычева есть довольно тонко написанный рассказ «Архип». Ленка с отцом покупают на рынке снегиря Архипа.

«— Пятнадцать за все удовольствие! — крикнул продавец.— Почти бесплатно отдаю Архипа!

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой.— Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду день и ночь.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы.— Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?»

У продавца «выжили» снегиря «злые люди — соседи». У новых хозяев Архипа тоже была соседка — Анастасия Емельяновна. «Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку». Архип пел в комнате, а в кухне кричала соседка: «Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!» Ходили комиссии. Писали акты. Уговаривали Анастасию Емельяновну не клезуничать. Но она все кричала.

«Первой не выдержала мама-Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова болит.

— Надо шить шапки с большими ушами,— прошептал Ленька,— и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим».

Выпускать Архипа зимой было жалко.

«— Слушайте,— ласково сказал я Анастасии Емельяновне,— давайте перестанем. Пожалейте нас. Что вы нам плохого сделали?»

Презрительно посмотрев на меня, соседка проговорила:

— Я издеваться над собой не позволю. Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол...

— Я вам покажу! — кричал я.— Окна перебью, ноги переломаю, все провода оборву!

Что это со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина. Запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем всё громче и громче.

Анастасия Емельяновна смотрела на меня с уважением, даже с почтением; улыбнулась и стала подметать пол».

Это веселый рассказ. Хамство побеждает остроумным и не слишком сложным способом. Рассказ настраивает читателя на волну сочувствия к авторской точке зрения. («А что? — говорим мы, увлекаясь.— Вот и у нас в квартире тоже...») Нам уже хочется вспоминать, хочется приводить «случаи»...) Легко подчинившись автору, мы по-хозяйски расположились в этом быте, безмолвно приняли его законы как нечто неизбежное и уже ищем способы борьбы с его крайностями в его же собственных пределах. Точка зрения самого автора нигде не выходит за рамки квартирной практики.

Между тем эта столь знакомая ситуация неоднократно встречалась в нашей литературе и, бывало, решалась глубже.

Самые смешные рассказы М. Зощенко на «коммунальные» темы никогда не остаются в пределах частного случая — хотя его рассказчик обычно дает стилизованное оформление именно случаю возникшего рассказа о происшествии («Один знакомый парнишка рассказал мне эту занятную историю» или «Презабавная история произошла со мной на транспорте этой осенью»). Коллизия «забавной истории», частного случая, лишённого существенных причин и следствий, — лучший материал для юмористики.

Но, веселясь над страницами книги Зощенко, мы всегда ощущаем некоторое душевное неудобство, потому что за благодушным рассказчиком мы слышим голос автора, человека другого мира.

«Для примеру, у нас 9 семей. Один провод. Один счетчик. В конце месяца надо к расчету строиться. И тогда, конечно, происходят сильные недоразумения и другой раз мордобой».

Ну, хорошо, вы скажете: считайте с лампочки.

Ну, хорошо, с лампочки. Один сознательный жилец лампочку-то, может, на пять минут зажигает, чтоб раздеться или блоху поймать. А другой жилец до 12 ночи чего-то там жует при свете. И электричество гасить не хочет. Хотя ему не узоры писать».

«Один у нас такой был жилец — грузчик, так он буквально свихнулся на этой почве. Он спать перестал и все добивался, кто из жильцов по ночам алгебру читает и кто на вилках продукты греет». «Он, я говорю, буквально ночи не спал и каждую минуту ревизию делал. То сюда зайдет, то туда. И все грозил, что топором разрубит, если найдет излишки».

Рассказчик так запросто обращается к нам, он так уверен, что все мы — люди этого же самого быта и, так сказать, прекрасно друг друга понимаем, он так просто-душно утверждает нашу причастность к этому быту, нашу с ним общую веру в нормальность его законов, что именно эта доверительная интонация («Ну, хорошо, вы скажете: считайте с лампочки») действует на нас сильнее всего, обнажает уродливость привычного.

Л. Давыдычев в своем рассказе находит веселый и всех нас «устранивающий» выход из «коммунальных» неурядиц в рамках этого же самого быта. У Зощенко — охлаждающая насмешка над самой мыслью о такой возможности: «Конечно, в дальнейшем, когда наша промышленность развернется, тогда можно будет каждому жильцу в каждом углу поставить хотя по два счетчика. И тогда пушай сами счетчики определяют опущенную энергию. И тогда, конечно, жизнь в наших квартирах засияет, как солнце».

Так за случаем сугубо частным, «анекдотическим» видится цепь широких размышлений автора. Так обнажается абсурдность всего мира героев рассказа с категоричностью, доступной лишь подлинному худож-

нику. Художнику, владеющему своим представлением о жизни.

В литературе связь времен не прерывается, не должна прерываться. Можно ли подходить к современному рассказу как к чему-то молодому, незрелому, искренне радуясь «серьезности избранной темы», «глубокому проникновению» и т. д.? Будто не было в нашей литературе ни Бунина, ни Куприна, не было Вс. Иванова, Лавренева, Платонова, Олеси, не было, наконец, Чехова, и наши рассказчики делают первые шаги в неведомом жанре.

Обращаясь к современному рассказу, незачем отступать от критериев, давно уже выработанных великой нашей литературой. Смысл именно этих критериев нам и хотелось бы в какой-то мере выяснить на материале некоторых современных рассказов.

Оригинальное художническое представление о мире — это, в сущности, неременное условие всякого творчества. О том, каково это представление, мы судим по тем законам, по которым движется жизнь в рассказе. Мы понимаем, что особый мир, замкнутый в нескольких страницах словесного текста, — это не слепок с реального мира. Но главное в том, говорят нам эти страницы правду или ложь, находим мы в них постижение жизни (пусть только через малую ее долю!) или ее забвение.

В рассказе С. Никитина «Гости» (сб. «Голубая планета», Владимирское книжное издательство, 1962) к хозяину дачи приехал порыбачить старый друг генерал Пухов со своим семейством — светлыми, беспорядочными людьми. Теперь Андрей Поликарпович, любивший иногда до рассвета поработать, подумать в одиночестве, каждую ночь выслушивает бесконечные разговоры генерала. «Его речь, состоявшая из вялых восклицаний: — А под Ельней! — А под Смоленском! — А под Брестом! — была невыносимо однообразной — менялись только географические названия, — и, с тоской вслушиваясь в нее, Андрей Поликарпович думал: «Боже, неужели эта пытка продолжится еще хоть одну ночь?»

Когда мы уже догадываемся, к чему ведет писатель, и в общем-то соглашаемся с ним, и сознаем глубину пропасти, которая пролегла между прежними друзьями, в рассказе возникает вдруг одна картина: «...Кто-то ходил по саду с фонарем. Когда глаза привыкли к темноте, Андрей Поликарпович

узнал генерала. Он собирал выползней, готовясь утром идти за лещами на остров. Было что-то невероятно трогательное в том, как, приседа, ставил он в пятно света баночку, как стараясь взять червя непослушными пальцами, и в том, что по пятам за ним ходила Люстра, и, когда он приседал, она тоже садилась и начинала смотреть ему в лицо, а он что-то тихо, с ласковой укоризной говорил ей».

Художественно достоверно, что именно в этот момент Андрей Поликарпович «с внезапным состраданием к этому человеку вдруг ощутил то, быть может, неосознанное самим Пуховым одиночество, в котором тот жил». Не оправдание, а сострадание! Это сказано точно. На этом мог бы и окончиться рассказ. Вернее, на этом кончается художественное в рассказе.

Дальше все «сложности» искусственно упрощаются. «И не надо, не надо ему уезжать отсюда!» — решает Андрей Поликарпович.

Зачем это? Ведь уедет генерал, все равно уедет!.. Правда, в мгновенном порыве самоотречения Андрей Поликарпович может искренне желать оставить его у себя. Но вряд ли чувство это будет стойким. Зачем выдавать случайное движение души за решение основательное, способное повлечь за собой какие-то поступки?

Вот мы читаем заключительную фразу рассказа о том, как неожиданно прозревший Андрей Поликарпович «схватил из ящика письменного стола фонарь и бросился к двери»...

Конечно, мог некий Андрей Поликарпович, побуждаемый смутным чувством вины, схватить фонарь и броситься к своему другу. Но ведь речь идет не о реальном жесте. Речь идет о жесте, ставшем художественным фактом. О жесте, который всем смыслом предшествующих фраз предлагается как символ перелома в жизни героя. На самом деле оснований для перелома в рассказе нет. На самом деле духовное, моральное напряжение просто подменяется чисто «мускульным», бездумным, внутренне неоправданным. С души читателя и героя снимается тяжкий груз раздумий. Совесть облегчается торопливой «утешительной» развязкой

Вместо строгого анализа явлений — знаковый трафарет: раскаяние и искупление.

Отчего это происходит? Видимо, оттого, что у рассказчика, нащупавшего какие-то серьезные жизненные ситуации, не всегда хватает решимости пойти до конца по пути

их беспристрастного исследования. Тогда выводы, на которые наталкивает жизненный материал, как бы перечеркиваются в угоду схеме. Эту печать связанности находишь часто и у совсем молодых авторов, и у опытных рассказчиков.

Именно по таким искусственно сконструированным законам развивается, например, действие в известном рассказе Ю. Нагибина «Человек и дорога».

Сначала шофер Бычков грубо обижает женщину, которая едет с ним в кабине, а потом... потом он начинает говорить ей «о своей любви, об измене, о боли, сломавшей ему душу». Говорит он много, долго.

А женщина тем временем, успокоившись, засыпает. Бычкову видится в этом «знак доверия», и это умиляет его. «И тогда из самых глубин его существа всплыло нежное, горячее, опалющее, надежное, заветное слово». И выстраивается длинная лесенка «облагораживающих» героя эпитетов, по которой он должен, по мысли автора, подняться от пьяной бесцеремонности к высотам человечности.

«— Жена!..— произнес он одними губами.— Жена!..»

Одинокая слеза обожгла ему щеку». (Разрядка здесь и далее наша.— М. Ч. и А. Ч.)

Машина приходит в поселок; женщина предлагает Бычкову деньги «за провоз».

Шофер не взял денег. Да, не взял, и они упали в грязь. Это должно, видимо, поддействовать на читателя: падают в грязь две пятирублевки, да еще «смятые в комок» «этой женщиной». Но нет, не действует. Не помогают даже очень «психологические» толстовские обороты (женщина «что-то протягивала ему, и Бычков хотел взять это что-то»). Не действует, потому что читатель, направляемый опытной рукой автора, все-таки внутренне упирается. Что-то мешает ему признать естественным, правомерным изменение взгляда писателя на своего героя; может быть, слишком легким, иллюзорным кажется это превращение обидчика в обиженного.

Дело в том, что около литературы постоянно существует некий круг проблем, ставящихся на разнообразных «диспутах», в фельетонах, письмах в редакцию и часто живьем пересаживаемых в рассказы «на темы морали». Всегда заметно, когда писатель колеблется на грани художественной правды и полуправды летучих «тем».

Литература живет во времени, и у читателя-современника тонкий слух. Он может пойти на диспуты «о дружбе и любви» и, увлекшись, даже выступить и с жаром поговорить о том, должна ли девушка позволять платить за себя в кино. Прочитав в газете горячее письмо некоей официантки, он может сам поверить на минуту, что давать чаевые позорнее, чем брать их. Но с искусства у него иной спрос.

И когда шофер Бычков кричит «в отчаянии» женщине, протянувшей ему деньги: «Да как ты можешь?» — то нам мешает сознание того факта, что Бычков, несомненно, брал эти «смятые пятирублевки», брал не раз. И мы не слишком верим герою.

Инерция схемы притупляет чувство меры, художественного вкуса даже у такого опытного рассказчика. Последние фразы рассказа приобретают уже явно пародийный оттенок. «Огромный грузовик, уверенно шедший к своей цели, вдруг затормозил, шипя тормозами, круто свернул, дал задний ход, и, брызнув мощным светом фар в освещенное окно забегаловки, развернулся и покатил назад». Здесь тоже, кстати говоря, была попытка дать обобщение, символ какого-то перелома. Но за торжественным периодом легко угадывается довольно простенькое сообщение: шофер хотел заехать в забегаловку, но раздумал и повернул назад.

Мир творимый не повторяет мира действительного. Художник не стремится к имитации. Литературное произведение всегда имеет дело с некоей условностью. Условность эта прежде всего в том, что мир рассказа, повести — всегда результат отбора. Он имеет границы, его явления исчислимы.

Но законы реального мира должны соблюдаться в созданном силой художественного воображения мире произведения.

Для того, скажем, чтобы поверить в изменение характера, необходимо выполнение простейшего условия: сила, изменяющая героя, должна быть по крайней мере равна той, которая удерживала его до сих пор в прежнем состоянии. Но слишком часто бывает, что, хотя, с одной стороны, на человека действуют цепкие привычки, сложившийся уклад, а с другой — лишь легковесное слово убеждения, побеждает все-таки второе. И как бы убедительно ни был написан герой до этого момента, вся постройка рассказа рухнет.

Как важно соблюдение этого условия,

видно на примере рассказа М. Ганной «Настины дети».

У Федора умирает жена. В какие-то два-три дня на его плечи опускается то бремя, от которого он упорно уходил всю жизнь, — дети, забота о них.

Федору нет и тридцати, но инерция существования уже так сильна у него, что никакие слова, никакие благие пожелания не могли бы ничего изменить. Изменить Федора может лишь реальная сила, соизмеримая с силой этой инерции. И это верно чувствует автор. Когда Федор входит в опустелую избу и видит своих детей, которых он толком и не знал до тех пор, видит плачущего голодного Ваньку, видит своих «старших» — семилетнего Леньку и шестилетнюю Машу, то эта картина взывает прежде всего не к разуму героя и даже не к его совести. Она взывает к глубинным человеческим чувствам, таким же изначальным, как чувство голода или жажды.

М. Ганина доверяет ходу самой жизни и даже сознательно подчеркивает это доверие. Весь рассказ ведется почти без объяснений, с одним только подробным описанием обстоятельств, новых забот, обступивших Федора плотной стеной. И Федор делает только то, что заставляют его сделать те же «обстоятельства», проще говоря — быт. Он ищет детям няньку, потом переходит работать ближе к дому. Теперь он может ходить с Ленькой на охоту, говорить с сыном, привыкать к нему. Но при этом медленно, постепенно расширяется его душа, принимая в себя неожиданно новые чувства.

Федор действительно не делает ничего сверх того, что диктовалось бы простой жизненной необходимостью. Поэтому создается впечатление, что жизнь в рассказе течет не только без подсказки автора, но как бы и вообще без его участия. Простой и естественный мир рассказа порой кажется прямо «перенесенным» из действительности. Но это всего лишь иллюзия. На самом деле Ганина избирает строго очерченный круг явлений и определенный метод их познания.

Перед читателем рассказа предстает всегда лишь часть — иногда очень небольшая — какого-то явления. Выразить его во всей глубине рассказ может лишь тогда, когда явление это понято автором в его целостности, сложности всех его связей. Иначе неизбежна искусственность, нарушение жизненной и поэтической логики.

Вот рассказ Э. Шима «Ливень», который некоторые критики относят к лучшим его рассказам.

«Девочка была очень красива. Скорей всего напоминала она цирковую гимнастку — такой была загорелой, стройной, тоненько-крепкой, и даже легкое платье ее, казалось, посверкивало блестками. Короткие волосы падали ей на лоб небрежными прядями, глаза под четкими бровями смотрели ясно, весело и очень уверенно.

Она стояла в свободной позе, сунув руки в кармашки пестрого платья, покачиваясь на носочках...»

Мы вряд ли удивились бы, если бы она еще потряхивала дневником с круглыми пяттерками — так стянуто в это описание все, что можно сказать о героине хорошего.

Первая же фраза «Девочка была очень красива» подчеркнута бесстрастно. Рассказчик словно намекает на некую недоговоренность, на то, что он знает о героине больше, чем для начала может сообщить нам.

Потом эта девочка из южного города предлагает Тимке и его матери комнату. Она «легко, не напрягаясь», несет их чемодан, она ведет их мимо очереди у автобусной остановки к табличке с надписью «Посадки нет».

«Женя вскочила на подножку.

— Вы разрешите? — громко спросила она и, когда небритый, уставший кондуктор зло повернулся к ней, вдруг расцвела в улыбке, почти засмеялась, прямо и доверчиво глядя на него».

Детали «с подтекстом» следуют одна за другой, не раскрывая истинную сущность характера, а просто небрежно маскируя заданную его схему.

«— Салют! — сказала Женя так, будто ударила хлыстиком». Чтобы показать, как резко окликнула она собаку, подобрано уничтожающее сравнение. Мы даже не понимаем толком, как звучал этот окрик «в натуре», потому что вместо художественной детали нам дан откровенно рассудочный намек на то, что, мол, от героини всего можно ожидать.

Описывается девочка будто бы с точки зрения Тимки. Но восприятие Тимки везде механически смешано с подсказками автора. Характер разворачивается перед нами не в живой своей логике, а как бы путем нанизывания заранее подобранных «разоблачений».

И вот кульминация рассказа. Ветер, дождь, буря. Женя спасает свое хозяйство

от разрушения. Тимка тоже помогает ей, как может. И наконец «сделалось тише, даже ливень как будто ослаб. И тут из сада, из дымящейся его темноты долетел глухой и сдавленный стон» (все испытанные драматические эффекты налицо!). Оказывается, Женя забыла отвязать Салюта и поток покалечил его. И Женя говорит: «Ах, как жалко... Триста рублей мы за него уплатили... Да теперь и не достанешь такого щенка. Может, еще поправится?»

Но разве собственническая философия проявляется лишь в таких крайних формах?

Писатель сам любит яркостью, театральностью созданного им контраста — радушия и эгонизма, жестокости и красоты. Для Э. Шима все дело в том, что, произнося неестественно жестокие слова, героиня была «все-таки прекрасная, и еще продолжала улыбаться, и глаза ее были ясны, как у ребенка». Эта последняя фраза рассказа выписана с чувством, с нажимом. Будто что-то изменилось бы, если бы девочка не улыбалась, не была так красива. Этот довольно поверхностный контраст мог поразить разве Тимку (сколько ему — двенадцать, тринадцать лет?). Когда же Тимка «с наслаждением» говорит Жене: «Ну и тварь же ты... Ну и сволочь же ты!» — слова эти звучат в полную силу авторского голоса. Прибавить к ним автору нечего. Они исчерпывают смысл образа и замысел рассказа.

Что ж, автор четко и определенно выразил свое отношение к героине, «оценил» ее словами Тимки. Разве этого мало?

Но дело в том, что рассказчик, в сущности, не понял глубины жизненной ситуации, краешка которой он коснулся. Размышления о частнособственных инстинктах, о той почве, которая все еще продолжает порождать их, — дело серьезное. Естественно, что это интересует и молодого писателя (об этом свидетельствуют его рассказы «Последний день», «Полдома» и другие). Но для того, чтобы художественно воспроизвести какой-то «факт жизни», надо глубоко понять его природу, его социальные связи, надо, кроме того, хорошо представлять себе то конкретное жизненное явление, которое стоит за ним, и передать его читателю в живой, осязаемой форме. А красивая девочка из рассказа «Ливень» — бесплотна, призрачна. Связи ее с миром иллюзорны: она появляется перед читателем как некое порождение фантазии, кажется причудой

автора, вдохновляемого рассудочными идеями. А ведь цель художника иная — творить свой собственный мир по законам самой жизни.

2

Рассказ никогда не будет подлинным искусством, если он построен по законам умозрительным — идет ли рассказчик от литературной моды, или от примитивно понятой общественной «злободневности», или следует даже глубоко и точно понятым законам жанра, законам «литературного мастерства». В этом последнем случае правда о жизни тоже не будет сказана. Во всяком случае она будет неполной.

В этом отношении интересны рассказы Ю. Казакова. Лучшие из них те, в которых писатель открывает явления «мира действительного». Таков рассказ «Кабасы», где, как нам кажется, писателю удалось уловить нечто значительное и характерное.

Главный герой рассказа — молоденький завклубом Жуков. С самого начала рассказа мы чувствуем, что, например, даже в споре со сторожем Матвеем он, при всей видимой правоте, не прав в чем-то более глубоко, коренном.

Матвей рассказывает Жукову о каких-то «кабасах», которых он видит по ночам.

«— Ну, повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабасы?.. Черти, что ли?»

Матвей опять покосился на него.

— Такие, которые — неопределенно буркнул он. — Черные. Которые с зеленой...»

«— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо!

— Кого? — спросил Матвей.

— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешьешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабасы! Сам ты кабас!

— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно — А вот мимо лесу пойдешь?

— Ну? И пойду!

— Пойдешь, так гляди — навряд ли до мной придешь.

Матвей отвернулся, ничего более не сказав, но простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность».

Тут не одно голько суеверие, как думает Жуков.

В том, как Матвей с удовольствием прячет «наговоренные» патроны, в презрении его к непонятливости Жукова, в том почти дружелюбном спокойствии, с которым относится он к загадочным «кабиасам» («А я им: «Ах вы, под такую мать... Брысь отседа!»), — есть и врожденное чувство природы, чувство слитности с ней. Неприязнь к Жукову возникнет у Матвея оттого, что Матвей смутно ощущает его самоуверенность и бедность, отгороженность от всего живого, сложного, не подвластного трафаретным объяснениям. Не в силах выразить это ощущение, он только грозит ему: «Пойдешь, так гляди — навряд ли домой придешь».

Неосознанное раздражение Матвея постепенно проясняется в рассказе в очень определенное и глубокое авторское отношение к Жукову.

«Темный у нас народ! — думал Жуков... Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.

Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же по своему обыкновению стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе... а в Москве и что хор у него в сто человек — академическая капелла.

Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу...»

Жуков привычно не замечает ни леса, ни звезд. Он слишком озабочен; слепо сосредоточен на привычном круге мыслей («Суеверия надо искоренять!») и не способен к той раскованности чувств, о которой говорил поэт: «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай...»

И вдруг на этот раз в лесу им овладевает страх. То ему кажется, «что на него смотрит кто-то сзади», то вдруг он увидел, как «крыша сарая висела в воздухе». Когда же, едва отдышавшись от бега, он «глянул вперед по дороге — мороз продрал его по спине: впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и

ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о... О-о...», а третий крикнул перепелиным победным голосом:

— Подь сюды! Подь сюды!

Жуков стукнул зубами и помертвел.

Какая, в сущности, ирония в том, что он, Жуков, деревенский парнишка, вдруг испугался темного леса, испугался до того, что, «как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы», а потом, «повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью!» Он ошарашен природой, потому что, родившись в деревне, проведя в ней и детство и юность, не чувствует природы, не привык жить с ней, понимать ее, осознавать чем-то своим, частью своей жизни.

Так знакомая по многочисленным рассказам «о молодежи, не желающей оставаться в колхозе», проблема поставлена здесь совсем в ином, более глубоком, психологическом плане.

В конце рассказа точно передано состояние души Жукова: все происшедшее взбудоражило его, вызвало какое-то совсем новое, горячее чувство к ночи, к звездам, к тихой и величественной жизни окружающей его природы. Все это не могло, конечно, неожиданно «научить» Жукова широтой дать ему что-либо взамен привычных и таких жалких разговоров «о культурном, о высоком». Что знает он, человек, лишенный понимания реальных ценностей мира, о культуре человечества, об истинной высоте?.. Но это не слово приговора — скорее сожаление о неосуществившихся человеческих возможностях.

Рассказ «Кабисы» целен, органичен. Но вот другой рассказ Казакова — «Осень в дубовых лесах». Автор зачарован лесом, его «своей» жизнью («Я представил себе эту лису с сединкой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы слудь с носа пух»), рекой, осенью и тем, как все это слилось в ту осеннюю ночь. «И я подумал тут же, что главное в жизни не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или семьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей».

Сила убежденности в том, как это важно, необходимо человеку видеть такую красоту, заражает читателя. Он чувствует, что эта

поэзия есть в душе автора, и он готов поверить ей с той безраздельностью, которой требует искусство.

Но что-то мешает этому. Что же? Вот, казалось бы, частная деталь. В самом начале рассказа описывается, как зажигается фонарь. «Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча не разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными». Это написано точно. Но вот мы встречаемся с этой деталью еще раз, через несколько страниц. Человек встретил у катера девушку, которую ждал. «Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла».

Есть, видимо, какой-то умысел в этом подчеркнутом повторении. Какой же? Вот еще одна фраза: «У нее всегда был сиплый, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность». И еще одна: «Заснули мы часов в семь утра, уж окна поголубели, и проспали долго, потому что никто не будил в нашем доме». Во всех трех случаях — один общий «прием»: многозначительный стилистический нажим на детали и мысли рядовые, вполне обычные. И сразу вспоминаешь: это уже было в литературе — повторение, усиленное подчеркивание простых действий. Даже нельзя сказать у кого — слишком у многих было...

Казакову будто бы «мало» той поэзии, которая возникает в рассказе из его собственного восприятия. Он боится довериться ей целиком и добавляет «надежные», уже проверенные литературой детали. Это становится даже как бы приметой его стиля.

В рассказе «Поморка» появляется вдруг такое размышление о старухе Марфе, прежней красавице: «Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины?» Да ведь с первых же слов ясно, что дело тут не в северном солнце и даже не в белых ночах, а просто в старости. Ведь Марфе, слава богу, девяносто лет.

Но Казаков делает вид, что не знает этого. Он продолжает свои искусно построенные вопросы, он ведет с читателем условную игру, приглашая его поразмыслить: действительно, что же утишило сердце девяностолетней старухи и не солнце ли, правда, выпило ее кровь? Красивость? Безусловно. Но зато проверено временем. Риторические вопросы — испытанное средство «лиризации» повествования.

Так писатель оглядывается на литературу, пользуется уже добытым в литературе, все проверяет меркой литературы. Хорошей литературы, но все-таки не жизни.

И этим он часто губит все. В том же рассказе «Осень в дубовых лесах» искусственные детали плохи не только тем, что сами не выражают подлинного чувства, но главное — они заставляют подозревать неподлинность, неискренность и в том действительно поэтическом, что как будто намечалось.

Расказ ведь не слепишь из плохих и хороших кусочков; сцепление частей в нем напоминает скорей химическое соединение, где каждая составная часть влияет на качество целого.

Рассказ «Вон бежит собака!» написан кусками просто великолепно (ночное шоссе, шофер). Замысел его — выразить уже знакомую по рассказу «Кабнасы» душевную скованность, человечность, будто погашенную на время в герое его оторванностью от природы, а проще говоря — от леса и луга, от обычной реки, где можно пожить два дня в палатке, посидеть с удочкой и незаметно оттаять, облегчить душу и потом поразиться своей недавней ожесточенности, равнодушию.

«Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь три дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала.

— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание... Ему стало душно и мерзко...»

И все-таки «московский механик Крымов» мог быть и не механиком, и не московским, и вообще совсем другим человеком, так же мастерски «приспособленным» к очень чуждой мысли писателя. Все-таки мысль эта сама по себе, а факты, жесты, восклицания и детали, выражающие ее, сами по себе. «Вон бежит собака!» — повторял он как заклинание. Что же, это, может быть, здо-

рово найдено: машинальная, бездумная фраза Крымова, «дорвавшегося» до реки и торопливо готовящего спиннинг. Но чего-то здесь нет — живой интонации, что ли. Да, в литературе делают так, и Казаков это знает. Но он не настолько знает своего героя, чтобы даже за «пропусками» угадывалось несказанное. Его Крымов — это все же носитель симпатичной читателю идеи, а не живой характер, схваченный цепким художническим взглядом. Тут даже не видение — скорее знание того, о чем и как надо написать.

У Казакова-рассказчика очень точное ощущение жанра. Может быть, оно слишком рано пришло к нему. Ведь «правильный», соответствующий всем законам жанра рассказ может быть одновременно беден художественной мыслью — если писатель больше шел от традиции жанра, чем от живого облика увиденного. Быть может, и правда, в «Северном дневнике» Казакову удалось передать свое мироощущение в чем-то сильнее и шире, чем в рассказах, именно потому, что он не ограничил себя ни рамками жанра, ни какими-либо другими рамками, писал свободно, «в той форме, в какой оно выразилось».

3

Если прислушаться к спорам в критике, то ведутся они в основном вокруг героев. Каким должен быть герой? Чем герой одного писателя «лучше» героев другого писателя? Часто при этом герои приобретают какую-то странную самостоятельность.

Между тем герой — это ведь только малая часть произведения.

«Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение» (Л. Толстой).

Больше и чаще всего критики говорят как раз о «замысле», о «действующих лицах». Но при чтении произведения мы всегда узнаем об «описываемом». В нашем сознании возникает образ автора. Это понятие, хорошо известное в литерату-

ведении, подразумевает не конкретный облик писателя, родившегося тогда-то, умершего тогда-то, не определенную личность с ее симпатиями и антипатиями. Образ автора — носитель всего мира произведения, идейный и художественный его центр.

И чем больше заинтересовывает нас герой, тем больше мы думаем об авторе.

Мы ищем ясной и определенной его точки зрения на героя, последовательно проникающей весь рассказ. При этом мы неминуемо обращаемся к словесной форме, к самому повествованию, то есть к той единственной реальности, с которой имеет дело читатель книги, которая «поставляет» ему материал о герое, о событиях, об авторском взгляде на мир.

Литература как вид искусства словесного отличается от изобразительных искусств — это показал еще Лессинг в своем «Лаокооне» — тем, что в последних картинах действительности даны нам в пространстве, а в литературном произведении они разворачиваются во времени. «Все виды словесного поэтического и прозаического изложения, — писал знаменитый русский филолог А. А. Потебня. — сводятся к одному повествованию, ибо оно превращает ряд одновременных признаков в ряд последовательных восприятий, в изображение движения взора и мысли от предмета к предмету, а рассуждение есть повествование о последовательном ряде мыслей, приводящих к известному заключению».

Это означает, что в литературном произведении описание местности, интерьера, психологического состояния героя непременно должно вестись с какого-то вполне определенного «наблюдательного пункта», с точки зрения какого-то зрителя — в силу самой специфики искусства слова. Наиболее простой пример соблюдения этого закона — в одном из пушкинских стихотворений: «Кавказ подо мной. Один в вышине стою над снегами у края стремнины... Здесь тучи смиренно идут подо мной... Там ниже мох тощий, кустарник сухой; а там уже роши, зеленые сени... А там уж и люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным стремчинам...»

Более сложный пример в таком, скажем, рассказе Чехова, где все реалии даются в восприятии одного героя: не только интерьер, пейзаж, но и время, и портреты, психология других персонажей и т. д. «Очевидно, фельдшер спал всю ночь, не разде-

ваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежда стесняла его. Он... страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой» («Неприятность»). Здесь говорится лишь о тех чувствах фельдшера, о которых может догадаться главный герой — доктор, и ни о чем сверх того.

Разумеется, совершенно необязательно строить повествование рассказа именно так — «вокруг» главного героя. Но если писатель в рассказе избрал именно эту манеру, то необходимо подчиниться ее законам.

Понимание этого литература завоевала не сразу. Еще у Тургенева можно встретить нарушение перспективы — например, в его пейзажах, которые построены иногда как описание «вообще», ниоткуда. Но для теперешних литераторов это должно бы уже стать чем-то вроде азбуки. Однако можно было бы привести множество примеров «невыдержанности» повествования у современных рассказчиков.

Но как бы ни было повествование и пространственно и психологически выдержано в восприятии героя, отношение автора к изображаемому всегда должно ощущаться ясно и недвусмысленно (это не значит, что оно будет элементарным). В подлинно художественном произведении в любом куске текста, в любой фразе всегда видна заинтересованность автора, его взгляд, его мысль. Поэтому слово там всегда объемно; там просто нет нейтральных фраз, играющих роль чисто информационной; там даже фраза-сообщение: «Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там» (Чехов, «В враге») — своим ритмом, расположением слов создает настроение, что-то говорит об авторском отношении к изображаемому.

Конечно, такой случай — это уже самое тонкое, едва ощутимое выражение «образа автора». Есть иные манеры повествования — например, вторгающаяся в рассказ стихия так называемой «несобственно-прямой» речи, сплав стилей героя и автора. В ней особенно легко «затеряться» ясной авторской мысли о герое. И здесь особенно важно присутствие этой мысли.

Валерий Кирпиченко в рассказе В. Аксенова «На полпути к луне» летит в Москву. «Не для того в кои-то веки берешь отпуск, чтобы торчать в душной халупе на грибах да на голландском сыре». «Тихо! В Москве

он купит три костюма, зеленую шляпу и поедет на Юг, как какой-нибудь ИТР. В кальсонах у него зашиты аккредитивы, денег — вагон. То-то будет весело на Юге. Все нормально. Нормально — и точка!»

А в самолете ходит бортпроводница Тания — «женщина, каких на самом деле не бывает, до каких тебе далеко, как до луны».

«Он встал и пошел ее искать. Куда она подевалась? В самом деле, у пассажиров горло пересохло, а она стоит и треплется по-английски с каким-то капиталистом...

Капиталист стоял рядом с ней, высоченный и худой, с седым ежиком на голове, а сам молодой. Пиджак у него был расстегнут, от пояса в карман шла тонкая золотая цепочка. Он говорил раскатисто, слова гремели у него во рту, словно стучаясь о зубы. Знаем мы эти разговорчики.

Он: Поедем, дорогая, в Сан-Франциско и будем там пить виски.

Она: Вы много себе позволяете.

Он: В бананово-лимонном Сингапуре... Понятно?

Она: Неужели в самом деле? Когда под ветром клонится банан?

Он: Забрались мы на сто второй этаж, там буги-вуги лабает джаз.

Кирпиченко подошел и оттер капиталиста плечом. Тот удивился и сказал: «Ай эм сори», что, конечно, означало: «Смотри, нарвешься, паренек».

— Спокойно, — сказал Кирпиченко. — Мир — дружба.

Он знал политику.

Как он нравится, он, этот Кирпиченко, автору.

Сразу увлекает законченность героя, яркое проявление им своего характера и то свободное отношение писателя к сюжету, которое позволяет Кирпиченко с подчеркнутой обыденностью проделывать раз за разом свои фантастические рейсы. В основе этого — оригинальное писательское осмысление нового жизненного материала, несконванное влияние чужой литературной традиции, нашедшее свою форму.

«Он знал политику». В этой фразе скрещиваются самоуверенная интонация героя и уверенный голос автора. В ней — ощущение точно увиденного явления и безошибочно найденного слова, неожиданно развертывающего свое уже забытое семантическое богатство («политика» как политика и «политика» как политес).

«Мир — дружба». Кирпиченко знает, как

обходиться с «капиталистами». Не думайте, что он питает какую-нибудь особенную злобу ко всей «загранице». Он не так прост. Есть у него любимая пластинка, где три французских парня поют на разные голоса «о том, что они прошли весь белый свет и видели такое, чего тебе и не увидеть никогда». И если всякий иностранец для него «капиталист», то это просто потому, что множество понятий и слов живет в его сознании, так сказать, в эмбриональном виде, сохранившись в неприкосновенности с первых школьных лет, а может, и еще раньше — с тех самых времен, с которых, наверно, застряла в памяти Кирпиченко строчка Корнея Чуковского: «Неужели в самом деле?»... Да и сам «капиталист», нахально болтающий по-английски («Знаем мы эти разговорчики»), чем-то напоминает нам «мистера Твистера, миллионера», который великолепной своей почти плакатной четкостью так легко укладывался когда-то в детском сознании.

Конечно, тогда, в детстве, все эти понятия, все эти слова звучали, жили; теперь Кирпиченко произносит их без особых эмоций, как какое-нибудь крепкое словцо. Есть в его памяти еще строчки о «бананово-лимонном Сингапуре» — сигналы неизвестного ему мира. «Кирпиченко очень любил такие песни».

Груз элементарных понятий за долгие годы слежался в его сознании. Надо бы перетряхнуть, посмотреть — что оставить, что выбросить. Но было ли время и надобность думать об этом? «Что он делал: тянул прищепы на перевал, а потом вниз на всех тормозах, пил спирт, смотрел кино, летом ездил на танцы в рыбокомбинат. Жил он в общежитии. Всегда он жил в общежитиях, казармах, бараках. Койки, койки, простые и двухэтажные, нары, рундуки...»

При всей своей внешней раскованности и независимости поведения и мысли, на самом деле Кирпиченко скован, «запеленут» условиями всей своей предшествующей жизни, ограничен в своих связях с миром.

В Валерии Кирпиченко мы угадываем черты нового литературного героя. В сущности, в этом рассказе Аксенова, как и в рассказе «Папа, сложи!», видны поиски какого-то, в определенном слое бытующего типа с его «средней» психологией (задача, которую уже когда-то ставил перед собою Зошенко — и тоже стремился к описанию этого персонажа в категориях его собственной мысли и

языка). В рассказе ошутима творческая радость «называния» впервые увиденного, введения в литературу нового материала, новых — современных — обстоятельств, ситуаций, деталей (от новейшего самолета до коробки папирос «Сорок лет Советской Украинны»...) Иногда, однако, как бы сминается определенность самого «образа автора», нарушается единство авторского отношения к герою. Оно есть, это отношение. Оно проявляется в том, как глубоко обоснован характер Валерия Кирпиченко очень обычными жизненными обстоятельствами, как бы заново увиденными и заново осмысленными писателем. Оно ощущается и в языке рассказа: «Он не считал своих лет и только недавно понял, что через несколько месяцев ему минет тридцать. Тихо!.. Все нормально. Нормально — и точка!» Сквозь слова героя слышится голос автора, который говорит нам, что не все так нормально в жизни героя, как кажется иногда ему самому.

Но писатель как бы не всегда отграничивает то, что он знает о герое, от того, чего он о нем не знает. В рассказе показан очень определенный человек. То, что в нем есть — то есть. Мы его видим, чувствуем — вот он, «большой и сильный, в пальто и тулупе, в ондатровой шапке, в валенках, ишь ты вышагивает». Но в конце рассказа мы, кажется, должны поверить и в то, что Кирпиченко — на полпути к луне, и не просто остался на этом полустанке, а, пожалуй, в движении к ней. Даже сам тон последних страниц рассказа, приподнятый, почти радостный, какой-то ожидающий, как будто говорит именно об этом. «Он очень много читал. Никогда в жизни он не читал столько. Никогда в жизни он столько не думал. Все это как-то связывается с бортпроводницей Таней, с его чувством к ней. Но ведь вся эта любовная история, так необычно уместившаяся между границами анекдотического и романтического, только сильнее обнажает неразвитость чувств, мыслей, знаний о мире человека будто бы зрелого, «самостоятельного», в сущности неплохого. И это в рассказе особенно достоверно. Поэтому, когда в конце нам обещают какие-то серьезные перемены в жизни героя, то не так просто поверить в это.

И все-таки в рассказе «На полпути к луне» нет ощущения застылости явлений и характеров — очень обычного порока «малого жанра». В нем — ощущение жизненного

простора, которое дается В. Аксенову, быть может, естественней, чем кому-либо другому из современных рассказчиков.

Но это все — о рассказе, где авторское отношение выражено косвенно, в самой художественной ткани произведения. Казалось бы, всё обстоит проще, когда мы имеем дело с «субъективным» или «лирическим» стилем, когда автор открыто вторгается в повествование со своими оценками, мыслями. Тут уж вроде бы нельзя говорить о неясности образа автора. Ведь каждый кусок текста дан «от автора» и, значит, передает нам авторскую мысль. Но так ли это? Всегда ли повествование, внешне исходящее «от автора», даже от автора-рассказчика, содержит авторский взгляд на мир, его страсть, его чувство?

У Юрия Нагибина во многих его рассказах («Костыли», «Ранней весной», «В апрельском лесу», «Веймар и окрестности», «Вечер в Хельсинки» и особенно в самых последних, которые критики называют «венгерскими» и «марокканскими») повествование ведется от имени рассказчика. Дело даже не в искусственности их ситуаций, позволяющих рассказчику слушать самые личные разговоры героев и угадывать самые сокровенные их мысли, а в явной неоправданности участия в этих рассказах «автора» в роли рассказчика.

Один из рассказов «венгерского» цикла Ю. Нагибина «Чудо под землей» начинается так: «Теперь мне кажется, что эта подземная купальня приснилась мне в одном из моих венгерских снов. По возвращении из туристской поездки мне каждую ночь снились сны о Венгрии». Мы можем даже отвлечься от очевидной «автобиографичности» этих фраз и искать особую, более высокую авторскую точку зрения за голосом рассказчика. Но найти ее мы не сможем. «И все же так было. Мы бродили по водному лабиринту, по пояс в живой, как газировка, от бьющихся в ней источников, голубоватой, прозрачной воде...

Да, это было, и была еще Катя, студентка-первокурсница, получившая туристскую путевку в награду за какие-то учебные подвиги.

Туризм очень приближает людей друг к другу, все достоинства, слабости и странности человека удивительно быстро раскрываются путевому сообществу. Мы все знали, что Катя мучительно стесняется своего непомерно высокого роста, стесняется до

боли, до отчаяния. Эту столь приметную свою материальность она пыталась умалить тихостью и неприметностью повадки.

Цитировать бы можно было и дальше, но уже видно, что рассказ этот очень разнообразен. То появляются словечки неожиданно фольклорного («приметная», «повадка») или старокнижного звучания («сообщество»), то вмешивается вдруг подчеркнуто душевный, значительный, сугубо личный тон: «Да, это было, и была еще Катя...», хотя дальше эта Катя не имеет к рассказчику никакого особого отношения. То появляется довольно безобидное, но глубоко тривиальное, уместное разве в легкой, ни к чему не обязывающей беседе выражение «в награду за какие-то учебные подвиги».

Впрочем, стилистическая пестрота речи рассказчика сама по себе может служить сильным художественным средством. Но это только в том случае, если, читая, мы все время чувствуем (делю писателя, как он даст нам это почувствовать), что это мог сказать только рассказчик, но не автор. Тогда сквозь любые банальности слога рассказчика особенно тонко просвечивают формы авторского мировосприятия. Когда же этого нет, то нет в рассказе и авторской мысли. Потому что подлинный «автор», носитель высокой точки зрения, не может вдруг появиться в рассказе только для того, чтобы сообщить, что «туризм очень приближает людей друг к другу»...

4

Часто пишут об «учебе» у классиков. Действительно, кое-что из опыта нашей литературы растеряно современными рассказчиками. Поражает, например, в рассказах русских писателей широта и многообразие тем, художественных ракурсов, даже отдельных психологических наблюдений. Герою современного рассказа, скажем, становится грустно непременно лишь тогда, если он увидит опадающие листья или «жалобно, протяжно кричащих» журавлей, летящих «в холодной утренней сини» («Бубенчик» С. Никитина). Будто людям не бывает грустно и от вещей совсем нейтральных — хотя бы даже от бочки с квасом и унылого блеска бидонов в руках у хозяек...

Нельзя сказать, что современные рассказчики совсем забыли опыт классиков. О нем даже пишут статьи, его изучают. Но вместо следования великой традиции в чем-то глу-

боком, коренном писатели порой подходят к жизни с литературной меркой, даже просто поддаются влиянию большого таланта, не обретая самостоятельного голоса.

Когда появились первые рассказы Никитина и Казакова, критика были единодушны в двух мнениях: 1) что молодые Никитин и Казаков «не робкие ученики», а мастера, 2) и что при этом на обоих сильно влияют Чехов, Буфин, Пришвин и даже Тургенев.

Никитин действительно очень тонко усвоил чеховскую манеру повествования, вжил в его стиль. Причем это сходство воспринимается чисто непосредственно, так сказать, на слух, потому что оно проявляется в главном — в самом синтаксическом строении, то есть в том, что у нас принято называть словом «ритм» или «интонация».

Яснее всего это видно там, где совпадает и сам предмет изображения.

«В старом деревянном доме все располагало ко сну и лени: его четыре окна по фасаду выходили на тихую немощеную улицу, на заросшем дворе мирно **квохтали** куры и гремел в конуре **черный пес Жук**. Всякий раз, когда кто-нибудь хлопал **калиткой**, он вылезал, начинал чесаться, гремя цепью, и было видно, что цепь давно уже не нужна ему: так стар, что нигде не уйдет, ни на кого не бросится. И когда Галя просыпалась утром в своей комнате...» (Никитин, «Бубенчик»).

«В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, **во дворе** пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом...» (Чехов, «Ионыч»).

Можно возразить, что при описании одной и той же ситуации у пишущих на одном языке могут встретиться похожие конструкции фраз, ибо это сходство объясняется просто некоторыми особенностями синтаксиса русской письменной речи. Это, конечно, верно. Слишком много, однако, у Никитина таких кусков, которые похожи на одну лишь чеховскую прозу — и ни на что более.

Но, может быть, это все-таки исключения, отдельные случаи сходства? Чтобы проверить это, возьмем цельный отрывок из рассказа «Бубенчик» — всю вторую половину последней главы рассказа.

«И Егор с чувством глубокого сожаления вспомнил теперь свою жизнь у Талантовой, вспомнил красивое лето с цветами, вспомнил свою комнату и то, что на столе у него, завернутая в серую промокшую бумагу, лежала селедка, и как однажды он угорел от дырявой печки, выбрался еле живой **на** улицу и долго стоял там, держась за фонарный столб... И теперь в воспоминаниях эти неприятные мелочи почему-то **волновали** его, и становилось жалко и грустно **от того**, что их уже нет».

Если оставить в стороне слова «с чувством глубокого сожаления», бессознательно взятые из официально-делового стиля (чего уж никогда не могло быть у Чехова), то это типичная чеховская «прозаическая строфа» с «и» в начале, с анафорическим повторением одного слова (вспомнил... вспомнил... вспомнил) и завершающим ее обычным чеховским присоединением с «и теперь», которое в свою очередь состоит из двух частей. Вот два примера из Чехова:

«И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого» («Ионыч»).

«Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, **свою** чудесную науку, свою молодость, **смелость**, **радость**, звал жизнь, которая была так прекрасна» («Черный монах»).

Следующий абзац у Никитина также напоминает Чехова и типично «чеховской» цепочкой простых действий, и замыкающей их фразой, передающей оттенки субъективного восприятия героя. «Он вышел и стал без цели бродить по вечернему городу, как любил делать раньше. Незначай очутился он возле института, подергал запертую дверь, потрогал ладонью прохладную колонну, вообразил запах институтских коридоров, и ему было приятно, что скоро уже сентябрь и он опять окунется в любимую работу».

Читаем дальше. «Потом ему захотелось выпить. Было уже поздно, и достать вина можно было только на вокзале. Там как раз пришел московский поезд. Егор с удовольствием толкался возле буфета среди возбужденных, деловитых пассажиров, и ему хотелось самому куда-то ехать, высказывать на

станциях с чайником, пить в купе чай с незнакомыми людьми». Это Никитин.

А вот из чеховского «Учителя словесности»: «И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать...»

Можно еще отметить, что первая, не приведенная здесь половина той же главки рассказа Никитина целиком построена «по Чехову». Она очень напоминает конец второй главы и начало третьей «Дамы с собачкой» — и там и здесь разговор перед отъездом, лирические осенние пейзажи; в обоих рассказах очень похоже описание приезда, ощущение, что дома все то же, что ничего не изменилось. «Дома в Москве уже все было по-прежнему, топили печи и по утрам, когда дети...» и т. д. (Чехов). «Дома все было по-прежнему, и когда Егор...» (Никитин). И наконец сам сюжет рассказа в основной своей части повторяет коллизию чеховского «Учителя словесности».

Впрочем, о том, что это повторение, мы и узнаем именно потому, что видим знакомые детали и знакомую композицию главок, слышим знакомый гул чеховского ритма. Ведь только тогда и можно говорить о заимствовании, когда у писателей, кроме общих сюжетных линий, совпадает и «наполнение» — построение сцен, деталей, структура фразы. И чем более дробно такое совпадение, тем больше оснований говорить об этом. Повторение одной сюжетной схемы еще не обязательно указывает на влияние. Похожий сюжет может лишь отражать повторяемость жизненных ситуаций. Мало ли случаев, когда человек видит только потом, что его чистая и наивная невеста в семейной, обыденной жизни становится законченной мещанкой? Но почему-то читатели сразу заметили, что «Бубенчик» схож именно с «Учителем словесности».

Впрочем, сюжетное заимствование — вещь не такая уж редкая в литературе. Ведь сама «сюжетная схема» — это еще не явление искусства, она только заявка, материал. Никому не придет в голову оценить менее высоко пушкинский романс «о бедном рыцаре» («Жил на свете рыцарь бедный») потому, что сюжет его заимствован из средневековых фавль. Ибо Пушкин дал совершенно «новый узор по старой канве», ибо язык, стих — все это здесь свое. И новым,

пушкинским, стал сам образ «рыцаря бедного».

Сюжеты «Свидания» Тургенева и «Егеря» Чехова совпадают почти во всех деталях, и до сих пор литературоведы спорят, знал ли Чехов эту вещь Тургенева или нет. Но это не мешает чеховскому рассказу оставаться оригинальным художественным произведением — поэтика этого рассказа совершенно отлична от тургеневской.

Несмотря на то, что «несамостоятельность» Никитина была замечена — во всех рецензиях на его рассказы обязательно говорилось о мастерстве. И это понятно. Усвоить чеховскую манеру не так-то просто. Это предполагает известную культуру повествования. И критиков поразила именно эта культура фразы, детали, композиции, та большая культура русского классического рассказа, которая чувствовалась у молодого писателя и которая особенно выделялась на фоне многих и многих рассказов, начисто порвавших со всякой традицией.

Однако повторение может обладать всеми достоинствами оригинала, кроме главного: в нем нет «открытия мира».

Чеховский «ритм» при всей своей определенности очень разнообразен. Сохраняя единую основу, он постоянно изменяется, варьируется — и от рассказа к рассказу, и нередко от главы к главе внутри одного произведения. Этим, видимо, объясняется то, что Чехова почти не пародировали: он никогда не повторяет себя, у него нет той сгушенности манеры, которая представляет благодарный материал для пародиста. Каждый рассказ Чехова выполнен в своем собственном синтаксическом ключе. (Для внимательного читателя «Душечка» и «Анна на шее», например, или «Дама с собачкой» и «Архиерей» различаются, как стихи с разным метром.) Ибо ритм у Чехова не самоцель, а средство. Он — тоже один из способов познания мира. Нужное настроение в рассказе во многом создается именно им.

Что же у Никитина?

В рассказе «Старики» вторая его часть напоминает «Скрипку Ротшильда». И там и тут тема «пропащей» жизни, жизни, которая прошла без пользы и радости. Чеховский Яков вдруг понимает это после похорон жены. Как же это вышло так, недоумевает он, «что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядоч-

ная, не пустячная... Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за поношку табаку... И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков?.. Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно?.. Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки!.. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?»

С какой силой, страстью говорит об этом писатель! И как точно все выражено. Как изменился ритмический строй повествования по сравнению с началом рассказа («Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно»).

Никитинский старик (его тоже зовут Яковом) после похорон соседа идет по лесу, в котором «не был с детства», и тоже думает о своей загубленной жизни.

«Вся его серая, однообразная, безрадостная жизнь, загубленная по его собственной вине, предстала перед ним, озаренная этим светом. Он подумал, что мог бы, как Игнат, стоять над рекой и смеяться, любить, ласкать детей, работать и, заслужив этим почет, быть с честью похороненным. Но дело даже не в этих загробных почестях, а в том, чтобы прожить интересно и красиво. От него же все зависела копейка. Добывая ее, он никогда не задумывался, что живет не так, а вот теперь, когда жизнь подходит к концу, вдруг задумался, но уже поздно и изменить ничего нельзя».

Ужас перед напрасно прожитой жизнью не сожмет здесь сердца читателя.

Здесь, как и вообще в этом рассказе, вполне чеховская интонация. Но это одна и та же постоянная, взятая напрокат интонация, которая равно «обслуживает» у Никитина любое содержание. И изложение этой трагической истории «выравнивается» под общий ритм рассказа. Для сцены не найдена «своя» интонация, а обычное, спокойно-лирическое никитинское повествование кажется здесь холодным, рассудочным, и простота оборачивается бесстрастием.

Иногда — этого, видимо, не замечает Ни-

китин — попытка приложить чеховскую лексику, синтаксис к совершенно другому содержанию приводит к тому, что слова, сказанные всерьез, звучат как ирония: «Чувствовалось в нем что-то непобедимое—здоровое, земное, первобытное» («Гроза»). Ведь это же совсем как любимая присказка Ольги Ивановны из «Попрыгуньи»: «Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье?» Это почти то же, как если после «Ионыча» начать повесть со слов: «Мороз крепчал...»

Случаи же очень заметной близости детали Никитина к чеховской только острее обнажают ту мысль, что деталь сама по себе не имеет силы.

«На пожелтевшей, с потеками карточке почему-то не выцвели только зрочки... К стихам, выведенным каллиграфическим почерком, была сделана корявая приписка: «Сынок, мы тебя никогда не позабудем». И в сравнении с пошлостью стихов эти слова глубокого искреннего горя были так трагически просты, были так трогательны своей непосредственностью...» — объясняет Никитин.

У Чехова («В овраге») это выглядит так: «Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжело». И это все!

Ну и что, скажут,— это же учеба у классиков. Но это не учеба. Это ученичество. Деталь, интонация в произведении великого писателя найдены один раз и потому неповторимы. Учиться у Чехова мелодике фразы — это значит не копировать ее, а, лишь учась ее совершенству, создавать с вою мелодию, учась необычайной емкости чеховской детали, искать свою деталь.

У Никитина в рассказах последних лет такие детали есть. Например, в рассказе «Чужие» (напоминающем «Скучную историю» по стилю и конфликту) его герой — старый профессор, замечает о знакомом дочери, что он был «в красных носках».

Для старого профессора красные носки — это символ пошлости, новомодной пошлости этой «банды Эриков»... Бывают символы «ложные». Но этому символу мы верим. Что скорее всего может броситься в глаза старому профессору в «низкой, наподобие канотье» шляпе? Что может быть более чуждым ему?..

Не удивительно, что эта деталь так понравилась первому критику рассказа — Л. Якименко. Это же «чеховская» деталь. Но она

не подражательна. Это деталь чеховского масштаба и точности.

Нельзя, конечно, «учиться деталям» — и только. Деталь живет лишь в целом, и, оценивая ее, мы просто не можем не думать: а что она для целого?

Когда в марокканском рассказе Нагибина «Покупка велосипеда» писатель говорит: «Глаза сапожника мрачно сверкнули, он резко встряхнул сумку — тяжело, тускло звякнули монеты», — то мы просто не можем сказать, хорошо это или плохо. Может быть, даже хорошо. Но дело в том, что эта деталь безотносительна. По существу она пропадает. Мы чувствуем, что автор скользит поверхностным взглядом по жизни чужой страны и, не зная ее быта и многого другого, стремится в мгновенно увиденной сценке открыть четкую классовую расстановку сил и вызвать у нас сочувствие к сапожнику, в котором ему уже видится гордый и униженный бедняк. Но мы не верим на слово. Нас еще не заинтересовала личность героя, мы равнодушны к его судьбе. А потому нам по существу все равно, как звякнули его монеты. Конечно, мож-

но задержать взгляд на этой детали, задуматься над ее точностью. Но это будет уже не сочувственное внимание к художественному слову, а, строго говоря, рассудочное любопытство к словесному трюку.

У Чехова таких деталей нет. Мало того, можно даже сказать, что у него, открывшего новые способы видения мира, деталь все-таки не главное. И даже у изощреннейшего мастера детали — Бунна таких великолепных «мерзлых кабанов», о которых теперь часто вспоминают в статьях о мастерстве, привозят не в каждом рассказе.

Главное — в неслучайности каждого камешка и в совершенстве всей постройке. У классиков надо учиться чувству целого.

Есть хорошее слово «традиция», которым последнее время приспособились обозначать любую подражательность. И есть самая главная традиция — гармония целого, присущая совершенному, классическому рассказу; ей и надо следовать. Но без глубокого авторского миропонимания произведение не может быть гармоничным. Обмануть читателя здесь нельзя.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Арутюнов. Открытие правды. — **В. Портнов.** По былинам сего времени. — **А. Кондратович.** Две повести. — **П. Краснов,** **В. Шевелев.** Книги возвращаются в строй. — **Е. Полякова.** «Пером быстрым и пламенным...»

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Кадишев. Люди легендарной эпохи. — **Ю. Шаропов.** Жизнь, отданная революции. — **А. Черняк.** Путь к чудесам техники. — **И. Иноземцев.** Первооткрыватели. — Герой Социалистического Труда, профессор **Ф. Петров.** Образ великого революционера.

Литература и искусство

ОТКРЫТИЕ ПРАВДЫ

Аксель Бакунц. Повести и рассказы. Перевод с армянского. Гослитиздат. М. 1962. 288 стр.

У Акселя Бакунца есть рассказ, который хочется назвать программным: два горожанина, исследуя развалины древнего замка, набрали в горах на дымок пастушеского шатра. Они сидели у очага — археолог, погруженный в нергаментное прошлое, и художник, полный увядающих воспоминаний, слушали шум реки и наблюдали за молодой хозяйкой, которая казалась жрицей, гадающей по клубам дыма над треножником. Художник достал альбом и набросал портрет женщины. Потом они ушли к своим городским заботам и интересам, и все после них осталось так же, как было до них; только крестьянский мальчишка стал играть пестрыми банками из-под консервов...

Но в этих суровых нагорьях, среди этих простых людей побывали не только художник и археолог — побывал и писатель, удивительно умевший растворяться во всем здесь живущем; он улавливал тончайшие движения души своих героев и видел, как ревность, гочно молния, блеснула в глазах крестьянина, когда он узнал, что

чужой человек унес с собою изображение его жены, видел слезы этой женщины и видел, как погасли огни очагов и овцы улеглись на траве, а туча сползла, как огромная улитка, с вершины Кагаваберда к шатрам, и роса пала на лепестки альпийской фиалки.

В этом небольшом рассказе — в том, как изображает писатель археолога и фиалку, художника-копиниста и женщину, угадывается многозначительное, но не назойливое противопоставление. Здесь — своеобразный ключ к творчеству Бакунца, которому были одинаково чужды мертвенность миновавшего и однолинейный схематизм в изображении настоящего.

Тонкая проза Бакунца сама напоминает альпийскую фиалку, выросшую среди камней опаленной солнцем Армении Бакунц — тончайший лирик и психолог. В его новеллах предстает конкретное и реальное и вместе с тем поэтизируемое бытие родного народа — пахарей и гончаров, пастухов и сазовников с их миром чистосердечности и душевной простоты, с их первобытной нищетой и горькой долей.

Пересказать повеллу Бакунца очень трудно. Она не имеет конструктивно-занимательного сюжета. Ее очарование — в непосредственности воссоздаваемой жизни. Ее стройность и изящество — результат психологической достоверности, некоего скрытого в ней эмоционального ритма.

Вот рассказ «Белый конь». Крестьяне ведут своих лошадей в город, чтобы отдать их на войну «белому царю». Семен с отчаянием видит, что его Цолак, как назло, «в теле» и его ни за что не забракует. В городе он отводит коня к реке и шершавым камнем в кровь растирает ему спину. Но фельдшер только изругал Семена. А Цолака все равно «забрили». Вот и все.

Сюжетная аскетичность рассказов Бакунца — кажущаяся. Они отражают целый мир жизни армянского крестьянства. Здесь каждая деталь «озвучена», настроена на общую тональность произведений. И старуха Шармаг-биби, которая каждый вечер открывала скрипучую дверь и слушала колокольный звон, хотя в церковь не ходила и не знала молитв; и плач семьи, которая вышла провожать Цолака; и неторопливые, то горькие, то шуточные речи крестьян, едущих на своих конях в город, а потом возвращение их пешком в родное село с седлами и уздечками за плечами — все это создает не только конкретно-бытовой фон рассказа, но музыкально-психологический.

Богач Костанд-ага обманом сумел сохранить своего белого коня, подкупив комиссию, явно им подкупленную, какого-то старого одра. Гарцуя, он промчался мимо урюмых крестьян. Семена же гложет чувство вины перед семьей и перед старым другом-тружеником, которого он хотел спасти и не смог. «Напрасно я тебя изуродовал, Цолак... Теперь среди тысяч лошадей ты сиротливо ржешь... Узнать бы, высохла ли кровь на твоей ране».

Из этого сопоставления и возникает драматизм рассказа, раскрывающего тему социальной несправедливости. Рассказ как бы выходит за рамки незамысловатого сюжета, самостоятельно развиваясь далее в читательском воображении и раскрывая новые психологические возможности, лишь намеченные в повествовании.

Неизвестно, что более волнует в рассказе «Письмо русскому царю» — сама история жизни старика Арутюна, омраченная исчезновением сына (он был сослан в Сибирь

за неповиновение офицеру), или наивная надежда героя на царскую милость, разрушенная в конце концов зуботычиной пристава. Письмо, конечно, никуда не пошло, хотя и было написано мирзой Давидом «золотым пером» на гербовой бумаге и стоило старику молодого бычка. Урядники равнодушно сбросили деда с крыльца на глазах у крестьян из дальних и ближних сел, на глазах у маленького внука.

И уже не судьба исчезнувшего в ссылке солдата, а ощущение впервые, по-детски остро пережитой несправедливости, человеческого унижения становится психологической доминантой повествования.

Разрушение красоты и естественности, зыбкость правды и справедливости — лейтмотив рассказов Бакунца о прошлом армянского крестьянина. Писатель всюду, где это возможно, стремится показать теплоту, радость жизни и, однако, неизбежно приводит читателя к трагичному финалу.

Этот мотив пронизывает многие новеллы Бакунца: «Сабу», «Девушка Хонар», «Фазан». Писатель старается утвердить за своими любимыми героями право на счастье, создает тонкую поэтическую атмосферу, но эта лирическая «помощь» автора лишь усиливает щемящее чувство печали — так противоречит она реальности быта.

Мир провинциального купечества и чиновничества развенчивается в повести «Киорес» без всякой жалости, с иронией, близкой гоголевскому «Миргороду». Неторопливо разворачивает Бакунец свое ироническое повествование об обитателях Гориса. Шаг за шагом знакомит с его нравами и порядками: с рынком — центром городской жизни, на котором хозяйничали старые (ходившие в бухарских папахах) и новые (носившие лайковые перчатки) купцы; с многочисленными беями — чиновниками канцелярий, которые добивались до службы лишь к полудню, потому что одни из них, как, например, Нерсес-бей, слишком любили проводить время в мясных лавках, другие, как городской голова Матевос-бей, во фруктовых рядах.

Ирония Бакунца изнутри раскрывает все ничтожество и убожество обывательского мира, скрытые от посторонних глаз внешней благопристойностью и самодовольством.

Но в этом тихом и мирном городе была своя, древняя и глухая, вражда между победившим купеческим Горисом и старым

Киоресом, где испокон веков жили «династии» земледельцев, гончаров, красильщиков, кузнецов и пастухов.

Симпатии Бакунца на стороне Киореса и его обитателей, единственным сокровищем которых при всех превратностях жизни остается их чистый, первозданный язык. «Это была не речь, а тоска, печаль, гнев: так пела куропатка в Катринском ущелье и в темноте журчал родник Цурт».

Но новое наступает. Сын гончара из одноименного рассказа Бакунца уходит из Киореса, становится рабочим, сближается с революционерами и первым врывается в город с частями Красной Армии. Он погибает, сраженный пулей одного из богатых гимназистов — тех «еждов булок», с которыми он дрался когда-то еще в приходской школе.

Сын гончара завоевывает новый мир. И Бакунец рассказывает, как входит постепенно в этот мир темное и нищее зангезурское крестьянство. Здесь он вновь становится лириком, с доброй усмешкой наблюдая нелегкий процесс ломки отживших представлений.

Вот в глухую деревушку Мроц, где рядом стоят язычье капище, христианская церковь и изба-читальня, прибыла диковинная сельскохозяйственная машина. Никто не знал, что это такое. Спасая свой авторитет, председатель заявил, что машина будет доставлять письма. Когда приехал из города агроном, он не мог повернуть ручку триера: машина была забита крестьянскими посланиями.

Но есть у Бакунца и другие рассказы; в них вновь появляется нота лирической грусти, сосредоточенного раздумья.

Герой рассказа «Черный хлеб» — партийный работник Левон, заваленный с утра до ночи делами, как-то неожиданно задумывается над тем простым обстоятельством, что на месте, где когда-то были абрикосовые сады и где они с любимой девушкой бродили ночи напролет, теперь растут громады каменных домов. Что же тут плохого? Но здесь и возникает лирическая дилемма: «Надо ли, чтобы будущие обитатели этих высоких каменных домов знали, что здесь когда-то была... улица абрикосовых деревьев...»

Герой Бакунца всю ночь бродил по старым и уже незнакомым местам, не находя ответа. И вдруг из тумана показалась длинная упряжка буйволов, с трудом та-

щивших старый локомотив. Это был «черный хлеб», как сказал один из комсомольцев, а полросту металлолом. Левон помог комсомольцам вытащить повозку из грязи и неожиданно понял то, что так долго не мог понять: «черный хлеб» — это и есть абрикосовые деревья нового. К этому немного наивному выводу приходит герой рассказа, остановив тем самым свое «лирическое отступление».

Но Бакунец не тот художник, который дает однозначные ответы на сложные вопросы человеческого бытия. Образ абрикосовых деревьев, не мучающий более героя — энтузиаста тридцатых годов, оставляет, однако, беспокойный след в сознании читателя; современный читатель, построивший десятки Магниток и согни новых городов, ищет гармонии более всеобъемлющей, чем ранее.

Бакунец также искал этой гармонии, но это отнюдь не означало, что он не понимал необходимости и не чувствовал поэзии в «черном хлебе».

Напротив, в его прозу вновь входит («Сумерки провинции») былая ирония, знакомая нам по описанию старого Гориса. На этот раз развенчиваются потуги обывательского мира выступить против нового с позиций ревнителей национальных традиций. «Пусть во всем мире царит железо, но здесь должны быть только глина, камень, дерево...» — так считает герой-мещанин. И когда по центральной Астафьевской улице как символ нового проходит первый трамвай, обыватель, смертельно оскорбленный, уходит в «никуда».

Бакунец тонко разграничивает естественную патриархальность армянского крестьянина-труженика, который всегда стремился к лучшей доле и обрел ее при новом строе, и козность мещанина, обратившегося к прошлому как к буколической идиллии, когда новая жизнь лишила его опоры в настоящем.

К. Зелинский, не совсем точно, на наш взгляд, ориентирует читателя в послесловии, полагая, что ключ к внутренним противоречиям самого Бакунца содержится в том, что он «не захотел осудить своего одинокого нелюдима, которого тяготил грохот железа», предоставив ему право «уйти в никуда».

Бакунцу было, конечно, дорого очарование безыскусственной простоты быта армянских пахарей и гончаров, с ним он «про-

о латах Бояна, надетых на посконную рубаху, о его любви с Мариной... Но характер создан не новый. Очень уж традиционен образ голодного и озорного, вдохновенного и обездоленного певца-гуляки, бунтаря, погибающего среди сытых и малодушных, хочется сказать — мещан. У Цветаевой, например, этот образ возникает с трагической силой на протяжении всего творчества. Виктор Соснора мог быть самостоятельнее.

Смутное впечатление оставляет бунтовщицкая песня Бояна, его смерть на плахе. Вроде бы это и интересно, и смело, и формально говоря — нельзя ничего возразить... Но не знаю, хорошо ли это — подтягивать Бояна аж к Разину и Пугачеву. Хотелось видеть на сей раз все-таки Бояна, а не Разина. Боян же пел князей, тех, которые в его время были вождями народа в борьбе с врагом, были устроителями Руси. «Боянь же, братие, не Ю соколов на стадо лебедѣй пушаше, нъ своя вѣщиа прѣсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху». Вовсе отрешиться от этого образа, родного с детских лет, для меня невозможно.

Неравноценны стихи на мотивы «Слова о полку Игореве». В двух стихотворениях о лобеге князя пристальное взглядывание в подробности происходящего помогает и нам все увидеть как бы вплотную. Найден ритм — тревожный, прерывистый, внешне — в рифмованных и размерных стихах — словно бы и не похожий на «Слово», но близкий ему внутренне. Однако в стихотворении «Гусли Бояна» остался только набор уподоблений, а огненный пафос зачина исчез. В переложении плача Ярославны нет самого главного: протяжности и причитающих интонаций плача. Избранный Соснорой четырехстопный хорей и не способен их воссоздать. Отступления от «Слова» здесь досадны, цель их неясна. Последние строчки — о Святославовых онучах и Кобыковых сапогах и особенно жеманная концовка («Не хочу покрытым тичой, а хочу живым, глазастым») — раздражают замысловатостью, надуманностью. Можно ли сравнить это с бесконечно прекрасными в своей простоте словами:

Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ,
а быхъ не слала къ нему слезъ на море
рано...

Почему-то в стихах на эту тему у искусника В. Сосноры не достало мастерства, и

он не передает несравненную огласовку «Плача», его изумительные звуковые повороты, например, длинных, подобающих причитанию гласных:

...на свою нетрудную крилцю
на моя лады вои...
...чему, господине, мое веселие
по ковылию развѣя?

Или страшных, словно спекшихся от зноя шипящих:

...чему, господине, простре горячую свою
лучю...

Не вполне удачные стихи Сосноры разобраны здесь подробно, а лучшие перечислены скопом. Может возникнуть впечатление, что книжка «не ахти», во всяком случае в глазах рецензента. Между тем Соснора бесспорно даровит, и если в циклах на мотивы «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве» есть неубедительные повороты мысли, недоборы и переборы, то почти нет стихов вовсе слабых и непримечательных. Самая мысль — в живых образах, в современных красках и ракурсах показать, «откуда есть пошла Русская земля», — заслуживает самой живой признательности. Радует, что молодой поэт взялся воссоздать прекраснейшие страницы русской истории и поэзии.

Николай Асеев писал, предвывая стихи сборника, что его второй раздел «самый важный... для понимания своеобразия дарования В. Сосноры». Стихи поэта на современные темы, к сожалению, менее значительны. Есть сильные, интересные вещи — «Эпизоды», «Березы», наблюдения поэтические и точные — «Студенческий каток»... Цикл «Май» верно назван: стихи в нем напевы весенним, мужественным, жизне-радостным голосом. Зерна еще не вполне развернутых тем — поэзии рабочего труда, единения с природой — дадут, вероятно, всходы. Но в целом первый раздел — преддверие, а не этап.

Асеев пишет, что интонации Сосноры привлекают «непохожестью их на ранее читанное и слышанное». Это правильно больше в отношении второго раздела. «Май» полон отголосками прочитанного.

Вот Соснора:

Земля дышала глубоко:
вдох —
май!
И выдох -- май!

Неслась облава облаков
на доли и дома.

А вот Пастернак:

И без того душило грудь,
И песнь небес: «Твоя, твоя!»
И без того лилась в жару,
В вагон, на саквояж.

Это Соснора:

Трамвай прошел, и шум замолк.
Что делать?
Ждать?
Уйти ли?
Уйти, взломав дверной замок,
разбив о печь будильник.

А «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» можно и не цитировать.

«Прощанье», «Идем на гору!» — Асеев.

Разве мы
в своей судьбе студеной
не прошли тревожные азы?

Подставляй под капельки ладони.
Быть грозе,
но нет пока
грозы.

Борис Корнилов?..

Ну что ж! У поэта хорошие учителя, а сборник — только первый. У него уже есть победы. Хочется верить, что в будущем их будет еще больше.

В. ПОРТНОВ.

Баку.

★

ДВЕ ПОВЕСТИ

В л а д и м и р Ф е д о р о в. Ч и с т ы й К о л о д е з ь. Повести. «Роман-газета», № 19 (271), 1962.

Год с небольшим назад поэт Владимир Федоров напечатал свое первое прозаическое произведение — повесть «Сумка, полная сердец». Вскоре появилась и другая его повесть — «Марс над Козачьим Бором». Критика встретила дебют молодого прозаика (но опытного поэта, автора двенадцати стихотворных сборников) с полным одобрением, особенно настаивая при этом на поэтичности, свежести прозы Федорова. «Роман-газета» выпустила обе повести под общим заголовком «Чистый Колодезь» полумиллионным тиражом, а совсем недавно они были выдвинуты на соискание Ленинской премии.

Перед нами действительно, как это обыкновенно говорится, «проза поэта». Федоров пишет вольно, свободно, его повести чем-то похожи на лирические поэмы с прямыми авторскими обращениями к читателю, с внешне раскованной композицией, позволяющей мгновенно переходить от одного предмета описания к другому, избегать обстоятельных психологических мотивировок и не заботиться о дотошной точности деталей. Что это один из возможных путей для прозы, показывает пример лучших произведений А. Довженко или Ю. Яновского.

И стиль повестей Федорова явно подсказан его стихотворным опытом. Вот как

начинается «повесть в воевалах» «Сумка, полная сердец»:

«Село наше непростое. Другого такого нет на всем свете. На одном конце его называют Чистый Колодезь, а на другом — Чиста Криница. На одном растут ветлы, а на другом — вербы. На одном мои односельчане поют «Ревела буря», а на другом — «Реве та стогне». А впрочем, иногда те поют «Реве та стогне», а эти — «Ревела буря».

А вот хаты и там и тут белые-белые. Весной мне кажется, что расторопные хозяйки, стараясь одна перед другой, не только побелили свои хаты, но и вишневые сады и даже бугры вокруг села. А меду и травы для щеток у нас хватит на всю Россию и на всю Украину. Белогорщина!.. Когда в России поет петух, на Украине слышно».

Написано мягко, с доброй улыбкой. Хотя, конечно, прозаик, приверженный к строго реалистической прозе, написал бы все иначе.

Есть в повести и другие счастливые находки, удачные описания.

Но встречается и такое:

«Всю жизнь Прохор и Анюта не расставались. Ни голод, ни холод не остудили их любви. Так бы до конца дней своих про шумели они над нашей белогорской степью

двумя неразлучными белокорыми березами. Но безжалостный топор войны подсек застонавший ствол, и рухнул он наземь в сырую ночь, оставив подругу, одиноко бьющуюся на ветру».

Едва ли это удачно.

Лирическая проза — на редкость тонкое дело. Тут нужна особая чуткость, повышенное чувство меры. Даже мастерам лирико-романтической прозы не всегда удавалось уберечься от крайностей своей манеры, порой даже от безвкусицы.

Автору предисловия к повестям Михаилу Алексею представляются поэтичными их названия, «поэзией», — утверждает он, — пронизана каждая строка этих первых прозаических книг Владимира Федорова».

Но присмотримся хотя бы к названию — «Сумка, полная сердец». На первый взгляд оно может и впрямь показаться неожиданным. Однако, чтобы почувствовать его иносказательность, нужно прежде всего отвлечься от вполне натуральных ассоциаций, нужно сделать над собою усилие, чтобы тут же не вообразить кошелку, в каких хозяйки носят с базара мясные субпродукты. Тут же, впрочем, выясняется, что для Вл. Федорова сумка, полная сердец, — самая обыкновенная сумка почтальонши тетки Арины, в которой лежат «не бумажные разноцветные конверты, а сердца людские». Образ и вычурный и банальный.

Это частности, мелочь, но она характерна.

Известно, что вычурность — это не больше чем судорожная попытка банальности прикинуться оригинальной, причем за это притворство она еще запрашивает с читателя втридорога.

Возможно, какому-нибудь читателю покажутся поэтичными такие выражения, как «всколыхнуть сердце», «зазнобить сердце» или «холодок спящего сердца Маринки льдистыми иголками колот Лешкино сердце». Или: «Нет у вас этого самого огонечка, что из сердца в сердце перепрыгивает». Или: «Громче всех лесных птиц пели на той заре два молодых сердца». Возможно. Все бывает. Только будет ли это свидетельство о бесспорности вкуса?

Литературщина лукава. Обольщенный иллюзией «красивости», писатель может впасть в сочинительство, ничего общего не имеющее с реальностью.

Представьте себе такой эпизод: переполненный людьми эшелон. Немцы гонят его на запад. В порыве отчаянья парнишка

Степан решает взломать доски в полу теплушки и на полном ходу «упасть на шпалы», чтобы избежать — пусть ценой жизни — рабства. Такие случаи были во время войны, и можно представить всю их драматичность. Драматичность описываемой Федоровым картины усугубляет то, что Степан решает прыгать не один, а вместе с Оксаной, девушкой, которую он любит. Они прыгают на полном ходу. Нетрудно представить, что пережил каждый из них в этот, может быть, самый роковой момент своей жизни. Нетрудно понять и почувствовать суровую трагичность этих минут смертельного риска и освобождения. Впрочем, многое можно представить. Кроме, пожалуй, такой сцены:

«Они скатываются с насыпи. Ползут к вострепенувшимся после дождя старым березам, к зарослям папоротника, который прикрывает их обоих своими диковинными листьями. А вокруг заливаются соловьи. От запаха мокрой земли, от неожиданной (!) волюшки, от шелканья этих неистовых птах долго ли одуреть в семнадцать лет? Оксана прижимается щекой к груди Степана.

— Скаженный!.. Девчата испугались, а я подумала: хай ше буде — абы разом...

Она первый раз целует Степана в разбитые, опухшие губы и, закрыв глаза, поет полупшепотом:

Чому я не сокіл,
Чому не літаю?»

И дальше следует такая картина. Степан расстается с Оксаной «у безвестной лесной деревушки». Сдерживая слезы, Оксана сорвала «большой темно-синий колокольчик и заглянула в его приоткрытую чашечку.

— Степаночку, смотри! — ахнула девушка. — Помнишь, в ту ночь был дождь... Везде сухо, а в дзвонике... На, выпей из чашечки!

Степан шершавыми губами глотнул (!) несколько дождевых капель из щедрого венчика и осторожно протянул цветок Оксане:

— И ты выпей. Я оставил...

Благодарная Оксанка вытерла слезы и прильнула к плечу Степана» и т. д.

После этого уже несколько не удивишься, когда другие влюбленные — Сергей и Катюша, — совсем как в карамзинские времена, переписываются друг с другом, оставляя в дупле старой ветлы «тайнственные строгие записки» вроде такой: «Жду вечером у об-

рыва. Опоздаешь — уйду!» Правда, есть тут и некоторая разница: герои сентиментальных сочинений обычно ждали ответ в тот же день. Сергей же идет к заветной ветле, долгие месяцы спустя возвратившись из армии. Вот это уже действительно постоянство!

Персонажи, так сказать, «не лирические» выглядят куда реальнее. Пусть их характеры однолинейны, как, например, у собственностицы Авдотьи, пекущейся только о своем приусадебном участке, или у бандита Корча, или у положительного героя — учителя истории Виктора Андреевича, собирающего материалы для «Истории села Чистый Колодезь», и не совсем положительного учителя литературы Виктора Елистратовича, мечтающего засесть в мансарде за свою первую научную работу «Синтаксис Достоевского». Пусть эти характеры разработаны неглубоко, все же мы видим в них признаки жизни. В обрисовке их больше внимания к реальной действительности. Именно эти персонажи порой оживляют авторскую интонацию.

Вот новелла «Каменное сердце» — о тетке Арише, разносящей письма по селу. Не каменное сердце у этой рано постаревшей женщины, но столько нелепых бед навалилось на нее, что замкнулась она, «терпеливая, невезучая, насмешливая тетка Арина, в плечо которой не первый год врезается ремень от тяжелой сумки человеческих обид и радостей». Тепло пишет Федоров о своей «ровеснице» и тут же язвительно набрасывает портреты ее непутевых мужей, портреты, которым нельзя отказать в характерности. Живые фигуры, детали, наблюдения есть и в других новеллах.

К сожалению, всего этого мы уже почти не встретим во второй повести Федорова «Марс над Козачьим Бором».

Действие повести начинается далеким предвоенным утром на лесной поляне под «марсианским деревом». Так один из героев студент Геннадий назвал уродливое дерево с причудливо извивающимися сучьями, которые «хотели схватить само солнце», хотя, судя по описанию, само солнце почему-то было к этому дереву «щедрее, чем к другим». Но символ так или иначе утвержден, и мы понимаем, что неспроста. Космическо-марсианская тема действительно будет потом тянуться по всей повести и чаще всего появляться в самых неподходящих местах.

Раненый Геннадий попадает в плен. В сарай, куда его заперли, пробирается девчонка Надюшка, приносит ему воды. Не обращая внимания на реальные обстоятельства, автор заставляет своего героя пересказывать «Аэлиту» Алексея Толстого. «Потрясенная Надюшка молчала: такого она в школе не проходила. Вот он в окошке, мерцающий Марс, то голубоватый, то красноватый. Ей почудились неведомый черный космос, тоскующий зов Аэлиты, рвущийся сквозь немислимые дали...» Реальный, земной Геннадий в такой ситуации, наверное, прежде всего позаботился бы о том, чтобы девочка скорее ушла от опасности, выбралась из сарая. Но тогда бы не было такой сцены: в сарай врываются немцы и, увидев девочку, спрашивают, как ее зовут, а она отвечает: «Аэлита!» Это куда красивее...

«Марсианское дерево» — дерево недоброе, на нем есть «ветка жадности, ветка властолюбия, ветка зависти, трусости...» И кроме того, все это зло персонифицировано в образе Прова Кузьмича Ястребова. Поначалу о нем ничего особенно плохого не говорится. Он председатель колхоза и по всем статьям неплохой. Вот только прижимист и подозрительно оборотист — хочет добыть незаконным путем лес на колхозную стройку, а когда это не получается в родных местах, посылает на север машину с луком в обмен на лес. «Такую ферму отгрохаем — весь район ахнет!»

И этот Пров Кузьмич оказывается злодеем, каких свет не видывал: перед самой войной он соблазняет жену своего брата Семена, а как только гитлеровцы оккупировали тамошные места, сразу же переходит к ним на службу. При этом не просто служит, а участвует в карательных набегах эсэсовцев, сам убивает.

Мы привыкли к неожиданным и необъяснимым поворотам судеб у Федорова и уже почти не удивляемся, что через некоторое время тот же Пров Кузьмич Ястребов в тех же самых местах становится партизаном — и не простым, а командиром маленького отряда. Потом этот отрядик вливается в большой отряд, и Пров Кузьмич снова на коне: он начальствует в хозяйстве отряда, а после оккупации снова становится председателем колхоза. Понадобится много времени, произойдет много необычайных событий, прежде чем Ястребов будет разоблачен и разоблачение это

будет подано по всем правилам «искусства». «Ястребов, остервенев, метнулся к двери и задохнулся: из багрово-дымных окон, из дверей на него смотрели пугающе неподвижные, молчаливые лица. Что за чертовщина! Вот сухошавое, желтое лицо Игната Потапыча.... Нет-нет, это Игнатка в белой рубашонке... И куда не повернись, глаза Корнеевых — огромные, строгие... И вдруг оттуда, из багрово-дымной мглы, — такой знакомый, такой чужой, тоскливый голос Поли:

— Об-ма-н-у-у-л!..»

Пересказать «Марс над Козачьим Бором» трудно: так много в этой повести самых невероятных событий. Автор не затрудняет себя самыми необходимыми мотивировками и объяснениями и строит сюжет с легкостью необыкновенной; было бы поэффектней!

Могло, конечно, случиться так, что, отступая со своей частью, Семен Ястребов попал в родные места и даже в тот самый Козачий Бор, где когда-то он сидел под «марсианским деревом» вместе с Геннадием. Но он оказывается в лесу вместе с Геннадием, которого призывали какникак в другом месте. И преследует их — двоих! — целый отряд под командованием майора фон Лоренца, сына немецкого помещика, бежавшего после революции из здешних мест. Сколько чудесных совпадений сразу! Автору и этого мало. Отряд Лоренца захватывает тяжело раненного Геннадия в плен, и Лоренц великодушно шалит нашего героя («О, майн гот! Настоящий Стенька Разин») и помещает его в тот самый сарай, где он повествует Надюшке об Аэлите. Потом Геннадий уже совершенно неизвестно как исчезает из плена и является перед нами в конце повести в образе «подполковника с заиндевевшими висками».

Семена же гитлеровцы тоже берут в плен, ведут в яр на расстрел. Мы ничего не знаем о нем, пока он не появляется вдруг тоже в конце повести, но в ином обличье: «в кофейном пиджаке, застегнутом на одну пуговицу, в зеленых узких брюках. Из-под полей сетчатой капроновой шляпы торпоршили уши. В руке темный фибровый чемоданчик с углами из желтой кожи».

Герои, как по заказу, даже едут в одном поезде. В одном купе. Лежат на соседних полках. И не сразу узнают друг друга.

В повести «Сумка, полная сердец» Владимир Федоров вывел некоего литератора Александра Вознесенского, который пишет «не для всех». Намек весьма прозрачный. «Он не ширпотреб, — восхищается жена недалекого учителя литературы. — Тонкий стиль». Из этого высказывания можно догадаться, что Владимир Федоров непримирим к эстетству литераторов, пишущих «не для всех». Но, право, трудно ответить на вопрос, какое отношение к реальной жизни имеет повесть «Марс над Козачьим Бором». Если хотите, это тоже эстетство, сочинительство, не желающее связывать себя какими-либо обязательствами перед правдой жизни.

Итак, две повести. В первой — «Сумка, полная сердец» — писателю порой удается нарисовать живых людей. Есть в ней и взволнованность, поэтичность. Есть и безвкусица. В «Марсе над Козачьим Бором» эта безвкусица вполне определяет и стиль и сюжет повести. Истории, описанные в ней, не имеют и видимости правдоподобия, даже при всех возможных скидках на условность романтической повести.

А. КОНДРАТОВИЧ.



КНИГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРОЙ

Сергей Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. «Советский писатель». М. 1962. 764 стр.

Давайте пройдем по Москве конца двадцатых годов. На стенах плакаты: Сергей Третьяков прочтет лекцию «Советский писатель и социалистическое строительство»; яркая реклама, и под ней — стихотворные подписи Маяковского и Третьякова, театральная афиша — пьеса С. Треть-

якова «Рычи, Китай!», комсомольцы поют «Клянемся, будем первыми в строю, в бою, в труде» — эту песню написал Сергей Третьяков, идет кинофильм Третьякова «Соль Сванетии»...

Энергично, основательно и весело входил Сергей Третьяков в нашу жизнь. Но спро-

сите людей, которым сейчас тридцать, многие ли из них знают его имя. Его жизнь оборвалась четверть века назад, вместе с нею покинули на время читателя его книги.

Сейчас, когда встают из праха и забвения имена вырванных из жизни людей, нужно вспомнить имя и дела Сергея Третьякова.

И хотя непосредственным поводом для этих заметок служит выход в свет книги избранных произведений Третьякова, нам хотелось бы рассказать не только об этой книге, но хотя бы немного и о ее авторе.

Сергей Третьяков был очень любопытным и ищущим человеком. За свой короткий век он успел исколесить Германию, Данию и Австрию, Китай и Монголию. Побывал во многих местах родной страны, часто «открытая» края, куда до него еще не добиралась литература.

Он был увлекающимся человеком, влюбленным в то, о чем писал. Читаешь очерк об аэросанном пробеге и, сам увлеченный, думаешь: аэросани — вот любимая тема Третьякова. Но открываешь другой очерк — и видишь, как он весь с головой ушел в проблему восстановления железнодорожного транспорта.

Он был очень добросовестным человеком. Говорили, что Третьяков — один из самых прилежных писателей в Советском Союзе. В каждой его книге — фундаментальное знание предмета. Рядом с яркими образами, наблюдениями — точные подсчеты, статистические выкладки.

Он был удивительно общителен. Известная в свое время датская актриса Лулу Циглер писала: «Характерно для Третьякова, что его всегда встретишь, когда приезжаешь в Москву рано или поздно, независимо от того, кто ты: актер, писатель, земледелец, или ученый, или каменщик».

Творческий путь Сергея Третьякова был назван кем-то непривычным, но верным словом: многодорожье. Он был поэтом, драматургом и переводчиком, журналистом и фотореспондентом, киносценаристом и первым радиокомментатором с Красной площади. И за что бы он ни брался, все у него выходило талантливо, оригинально.

Однако из всех жанров Третьяков отдавал предпочтение очерку. Увлекаясь, он считал его чуть ли не ведущим жанром в художественной литературе. Из этого увлечения Третьякова и его товарищей родилось вызвавшее много споров течение «литература факта». Между тем в своей творческой

практике Третьяков был далек от идолопоклонничества по отношению к факту. Его страстное стремление изменить жизнь нарушало статичный принцип «фактографии».

Очерк с его подвижностью, гибкостью, оперативностью был под стать времени. К тому же он печатался в газете, имел многомиллионную читательскую аудиторию. «Советский очерк, — говорил Третьяков, — вырос на скрещении художественной литературы и газеты: от литературы у очерка — арсенал изобразительных средств, от газеты — конкретность темы, своевременность, оперативность».

И действительно, очерк за годы пятилеток достиг небывалого расцвета. Выросло целое поколение писателей, журналистов, великолепно владевших этим литературным жанром. На страницах одной только «Комсомольской правды» поднялась и пошла в наступление молодая рать: Борис Галин, Чаган, Юрий Жуков, Мих. Розенфельд, Киш. Это они воспели Магнитку и Кузбасс, Днепрогэс и «Уралмаш». Тем временем в «Правде», «Известиях» действовали Мих. Кольцов, А. Зорич, Зинаида Рихтер, Борис Агапов, М. Шагинян... И в этой «ударной бригаде» роль Сергея Третьякова, мастера советского очерка, была огромна.

В 1932 году вышла книга очерков «Страна А-Е». Третьяков внимательно приглядывается к полной богатств и загадок земле, что раскинулась между Ангарой и Енисеем. Книга возникала из разговоров с геологами и рыболовами, из долгих часов, проведенных в публичной библиотеке, из жарких споров с госплановцами, из раздумий у таежного костра.

Автор показывает, какой это золотой край — Сибирь, как нужны здесь умелые, хозяйские руки. Надо организовать массовый поиск полезных ископаемых, надо с толком использовать тонны ценнейших опилок, надо разношерстных, набранных с бору по сосенке старателей превратить в кадровых рабочих. Надо, надо, надо... Писатель — требовательный, рачительный хозяин. Он «въедается» в проблему, ищет и предлагает решение.

Третьяков первым из советских писателей заговорил об Ангарстрое, предсказав ему грандиозное будущее. В ту пору Ангарстрой еще был в наметках, мечтах, планах, и сегодня, когда мощные турбины Братской ГЭС зажигают мириады огней по всей Си-

бири, справедливо вспомнить об авторе «Страны А-Е».

Колоссальный труд — писательский и общественный — вложил Третьяков и в колхозное дело.

В годы коллективизации Третьяков едет на Ставропольщину, в молодую коммуну. «Самое скверное, — говорит Третьяков, — это наблюдать в качестве туриста или почетного гостя: или увидишь по-обывательски, или ничего не увидишь... Писатель должен вступать с действительностью в деловые отношения...»

В коммуне «Коммунистический маяк» Третьяков выпускает газету, собирает семечной фонд, убеждает единоличников вступать в колхоз, мирит ссорящихся, помогает заочникам готовиться к экзаменам... Он общается с действительностью без посредников. Отсюда его способность увидеть самое главное, самое сокровенное — процесс изменения людей.

В 1930 году вышла книга Третьякова «Вызов» о первых шагах коммуны. Годом позже появилась вторая его книга о том же коллективе — «Месяц в деревне», и в 1934 году третья — «Тысяча и один трудодень». Каждая из этих книг — как бы ментальный снимок; сложенные вместе, эти «снимки» составляют общую «панораму» колхоза в его динамике, перспективе...

Третьяков умеет не только выбрать тему, досконально ее изучить, но только умеет ставить и решать острейшие проблемы времени, он умеет писать так, что его трудно читать спокойно. У него свой, неповторимый стиль — ударный, агитирующий. Он рождался на площади, где главное — убедить, он рождался на газетной полосе, в эфире.

Особое место в литературной биографии Сергея Третьякова занимает Китай. Китай — большой кусок его жизни. Писатель ездит по стране с корреспондентским билетом, читает лекции по русской литературе в Пекинском университете, тщательно изучает культуру и историю Китая, его искусство. Он хочет понять дух страны, разглядеть ее путь в будущее.

В 1927 году появилась книга очерков «Чжунго». Каждая глава раскрывала какую-то одну сторону жизни: как в Китае учат детей, развлекаются, воюют, какой там театр, литература. Но в «Чжунго» — это заметно — автору тесно, его наблюдения, его знания не вмещаются в рамки обычного

очерка. Третьяков ищет ту форму, которая поможет увидеть сердцевину страны.

Биолог, изучая строение живой ткани, делает тонкий срез. Увеличенный линзами микроскопа, этот срез раскроет тайны всего организма. То, что делает Третьяков в книге «Дэн Ши-хуа», впервые увидевшей свет в 1930 году и открывающей сейчас сборник избранных произведений писателя, напоминает методику работы с микроскопом. Дэн Ши-хуа — герой книги — студент русской секции Пекинского университета. Третьяков берет у него интервью, правда не совсем обычное: «Расскажите о вашей жизни. Нет, нет, не торопитесь. Нужны детали, подробности. С каких лет вы себя помните?»

Часами будущий герой книги рассказывал Третьякову день за днем свою жизнь. И в ней отразилась жизнь всего китайского народа первых десятилетий двадцатого века.

Спокойно и неторопливо разворачиваются события в начале книги. Мальчик одевается, умывается, разговаривает с матерью... Неторопливость даже какая-то нарочитая. Читатель должен овладеть представлениями, без которых нельзя понять Китай.

Свинцовыми гириями висит на человеке громоздкий и несуразный быт. Бамбуковой палкой по согнутой спине сыплется: почитай, почитай, почитай! Почитай императора, богов, учителей, чиновников. Сгибайся ниже, ниже...

Автор не навязывает своего мнения, но совершенно ясно — этот нищий, угнетенный Китай накануне решающих перемен.

К этой мысли приходит и сам Дэн Ши-хуа. Он почувствовал себя ответственным за судьбу страны. Он в круговороте студенческого движения. Он среди тех, кто через двадцать лет круто изменит путь своей родины.

И еще одно произведение рождено из китайских впечатлений писателя. Если человеку старшего поколения назвать имя Третьякова, он непременно скажет: «А, «Рычи, Китай!»

Если этот человек москвич, он, наверное, добавит: «в театре Мейерхольда». Потому что именно на сцене этого театра начинала свою жизнь пьеса, с этим театром делила она заслуженную славу. «Рычи, Китай!» — это юность нашей страны, это страстная мечта советского человека о свободе и счастье для тружеников всей земли.

Незадолго до гибели Третьякова вышла его книга «Люди одного костра», также

вошедшая сейчас в сборник избранных произведений. Книга эта — результат поездок писателя по странам Западной Европы.

Предвоенная, тревожная Европа... Рабочие пикеты перед закрытыми воротами фабрики... За пивной стойкой фашисты устно линчуют евреев... На улицах много собак. «Собака — замена ребенка в экономически ущемленной семье»... И на этом фоне Третьяков создает литературные портреты антифашистов Запада — художников, писателей, музыкантов. Жизнь Пискатора, Хартфильда, Брехта, Нексе пронизана светом той жаркой схватки, которую ведут честные люди с фашистами, перенося ее с митингов и демонстраций на страницы книг, нотные листы, театральные подмостки. «Фашистский костер,— писал Третьяков,— на который свалены были произведения этих людей, создал особо напряженное чувство кровного братства. Мне думается, нет большего почета сейчас, чем чувствовать себя в числе людей одного костра». Отсюда название книги — «Люди одного костра».

Выбор людей строго определен личным знакомством с ними Третьякова. «Я,— писал он,— характеризовал основное каждого человека — его биографию, в которую все им написанное, нарисованное, сработанное входит лишь как частность, как выражение его характера, как его манера биться за свои принципы, как общественное оправдание его личного существования».

Эпизод биографии, короткий диалог, деталь внешности, отрывок из произведения, каждый портрет, сделанный Третьяковым,— это всего лишь несколько фактов из жизни человека. Но выбраны они умело и точно. Один резкий штрих — и перед вами Брехт, который «кажется нотой, выдутой из очень узкого кларнета». Пискатор, который «стоит на земле крепко, как гвоздь, вогнанный в доску. И рост его средний, в полгвоздя».

Третьяков рассказывает о том, что фашисты выпустили фотоальбом главных своих врагов. Под фотографией художника Пискатора подпись: «Еще не повешен»...

И приходит на ум анкета, которую rozdal Конвент, чтобы проверить граждан. Там был такой вопрос: «Что ты сделал,

чтобы быть повешенным в случае победы контрреволюции?»

Сергей Третьяков показал, что людям, о которых он пишет, было что ответить на этот вопрос. Было что ответить и самому С. Третьякову.

И еще одна книга вошла в сборник избранных произведений Третьякова. Это «Страна-перекресток». Написанная в 1935 году, она и сейчас многое может рассказать о Чехословакии, о ее людях, искусстве, нравах и обычаях. Насколько всесторонне охватывает Третьяков жизнь страны, можно судить хотя бы по лаконичным подзаголовкам: «Язык», «Металл и огонь», «Земля», «Архитектура», «Стекло», «Народ-умелец» и т. д.

Трудно перечислить все области нашей культуры, в которые сделал существенный вклад Сергей Третьяков.

Сергей Третьяков, например, проложил дорогу советскому радиорепортажу. В наши дни фантастического расцвета радио и телевидения фигура «устного журналиста», которому микрофон заменил авторучку, стала довольно распространенной. Третьяков первый доказал, что устная журналистика таит в себе удивительные возможности. Его выступления перед микрофоном с Красной площади в октябрьские и первомайские праздники остаются непревзойденными образцами живой речи.

Сергей Третьяков много сделал. Но еще больше сделать не успел. Он собирался вместе с Сергеем Эйзенштейном снять фильм о Китае, написать книгу о китайце-партизане, продолжить серьезное изучение Сибири, особенно Ангарстроя... Десятки, сотни замыслов, планов, проектов. И все это оборвалось.

Сергей Третьяков снова становится в строй. С нами его опыт, его пример, его жизнь, с нами недавно вышедшая его книга.

Сергей Третьяков ненавидел фашизм, дрался с ним страстно и умело. Он с нами в той борьбе, которую ведут люди за жизнь чистую, умную, справедливую.

П. КРАСНОВ,

В. ШЕВЕЛЕВ.

«ПЕРОМ БЫСТРЫМ И ПЛАМЕННЫМ...»

Надежда Дурова. Записки кавалерист-девицы. «Советская Россия». М. 1962. 240 стр.

Обыкновеннейшее русское имя — Надежда — в сочетании с обыкновеннейшей русской фамилией — Дурова — становится именем блистательно-легендарным. Произнесите: Надежда Дурова — и в памяти встанут портреты молодых офицеров 12-го года с георгиевскими крестами и тяжелыми золотыми эполетами, старинные гравюры с круглыми облачками дыма, вылетающими из маленьких пушек, с кирасирами на вздыбленных белых конях...

Для старых московских театралов Надеждой Дуровой была прелестная молодая Добржанская или Бабанова в гусарском мундире, бесстрашно стоявшая под пулями и пронзительно визжавшая при виде мышонка. «Давным-давно» — героическая комедия, а вернее, водевиль Александра Гладкова — завоевал зрителей театральных. А сегодня его переименовали в «Гусарскую балладу», и кинозал восхищенно ахает, когда кавалерист-девица лихо скачет на коне, отстреливаясь от неприятеля, и что ни выстрел, то француз кувырчется через голову своей лошади. Водевилью, который пережил наисерьезнейшие пьесы-ровесницы, это не противопоказано.

А полвека тому назад подросткам, мечтающим о подвигах, преподносилась совсем другая Надежда Дурова. Одно из первых мест в списках верноподданнейших и благонадежнейших книг, рекомендуемых гимназистам начальством, занимала повесть Лидии Чарской «Смелая жизнь». Чарская не скрывала свою героиню под псевдонимом, потому что претендовала на создание реальной ее биографии. Умиленно описывала Чарская, как обрезала Надежда свои роскошные косы и надела на гусарские ножки тяжелые сапоги, как эффектно кидалась она в гущу боя, и колола пикой, и рубила саблей направо и налево, какими божевественно-кроткими глазами смотрел на героиню обожаемый император... И на рисунках — жеманных рисунках Самокиш-Судковской, так подходивших к Чарской, — гимназисты видели картинные атаки, красавцев офицеров и самого красивого из них — Надежду Дурову с неправдоподобно огромными глазами и неправдоподобно маленьким ротом.

Но в конце этого душеспасительного чтения были приложены подлинные портреты кавалерист-девицы. С портретов этих смотре-

ла неулыбчиво-строгая девочка, которую не смог сделать красивой даже сарапульский художник, явно старавшийся польстить дочке городничего, молодой офицер с георгиевским крестом, морщинистая, по-мужски остриженная старуха с тем же строгим, вопрошающим взглядом. Опровергая книжку Чарской, эти портреты возбуждали желание узнать подлинную жизнь, воскресить настоящий облик Дуровой. Облик этот мог открыться в немногом: в исторических очерках, в упоминаниях Белинского и Пушкина, а главное — в тех самых «Записках кавалерист-девицы», выйти в свет которым помог Пушкин и которые до последнего времени — до двух советских переизданий — достать было почти невозможно.

«Записки» имели огромный успех. О них писал Белинский: «Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо». Это была первая книга Дуровой. Она сделалась профессиональной писательницей, и писательницей плодовитой: большие романы, повести — из времен Ивана Грозного и Отечественной войны, «таинственные», переполненные ужасами рассказы, трогательная повесть «Серный ключ» — о любви черемиски Зеилы и пастуха Дукмора, и многое другое.

В этих повестях и рассказах Дурова не выходит за рамки сентиментализма. Конечно, она гуманистка и просветительница, доказывающая, что и татарский крестьянин, и черемисская красавица Зеила чувствовать и любить умеют. Дурова всегда увлекательно строит сюжет, отлично владеет всем арсеналом литературно-изобразительных средств своего времени. Но здесь она лишь использует приемы, уже выработанные и проверенные, но не открывает новых тем и новых возможностей воплощения жизни; этими повестями она достойно входит в литературу, но не умножает, не обогащает ее.

Открытием сделалась лишь первая ее книга — простое, живое, словно бы небрежное, а на деле точно построенное произведение, очень «пушкинское» и по восприятию жизни, и по ритму ее изображения. Она прослеживает свою «пламенную» страсть, свое жизненное призвание от детских лет до сражения под Фридландом, до Бородины, до встречи с Кутузовым. Рассказ ее лаконичен лаконизмом будущей русской

литературы. Видение жизни здесь не заимствовано у Карамзина или Жуковского: это свое видение, свое перо — «быстрое, живописное и пламенное», как назвал его Пушкин.

«Романтизм». неотделимый от облика Дуровой, — не восторженный, помпезный романтизм. Ее романтизм одушевлен и определен постоянным, огромным, но очень немногословным, как бы застенчивым в своем выражении патриотизмом. Романтизм этот не уходит от реальности, но определяется и согревается ею.

Какая там «гусарская баллада» (кстати, Дурова служила больше в уланских полках), какой пламень пунша и застольные песни! Вольноопределяющийся, рядовой Александров сполна хлебнул солдатского жителя. Холод, грязь, тяжесть амуниции — всех этих киверов и палашей; радость, когда удастся выспаться или накопать мороженой картошки. В рассказе ее оживают и «вечные» приметы войны — ползущие раненые, «зажаренные» пожаром люди — то, что видели и греки под стенами Трои, и наемники Тридцатилетней войны, и солдаты мировых войн, — и неповторимое единодушное русского патриотизма в войне 12-го — одной из справедливейших в истории человечества.

Записки Надежды Дуровой — это записки не летописца и не полководца, но рядового участника сражения. А рядовой всегда видит небольшое пространство, его окружающее, и взгляд его одновременно сужен и обострен предельно; подробности, детали он запоминает «крупным планом». Тем же крупным планом встают они и в записках

Дуровой, которая видит войну «из глубины» ее. Не случайно ее рассказ заставляет вспомнить и поле Ватерлоо в «Пармском монастыре», и что-то из воинской жизни братьев Росговых.

К себе, к своим невзгодам и даже подвигам Дурова часто относится с юмором, и юмор этот освещает еще одну грань ее характера и усиливает подлинность рассказа. Тем же юмором, подчас горьким, пронизана ее повесть «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» — рассказ о мытарствах начинающей писательницы, о радостном (встречах с Пушкиным) и о «страшном» (посещении столичных салонов, где первый раз дивуются на женщину-воина, а при третьем посещении принимают ее с гримасой, потому что слишком уж несовместимы Дурова и светский салон).

Умерла Дурова через полвека после своей отставки, в 1866 году. Умерла если не в нищете, то в бедности. Тихий прикамский городок Елабуга гордился Дуровой как своей достопримечательностью. Хоронили ее с воинскими почестями, золотом выбили на памятнике описание подвигов. Имя ее вошло в историю России и в историю русской литературы. Именно в историю — книги ее с уважением упоминались, но почти не читались. И перечитывать ее первую и главную книгу сегодня радостно и неожиданно. Оказывается, забытые «Записки» встают в ряд лучших русских книг о войне и людях на войне. Свежо и сегодня звучит старая книга, раскрывающая правду войны и правду удивительного человеческого облика «кавалерист-девицы».

Е. ПОЛЯКОВА.

★

Политика и наука

ЛЮДИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЭПОХИ

Этапы большого пути. Воспоминания о гражданской войне.
Редактор-составитель В. Д. Поликарпов. Воениздат. М. 1962. 528 стр.

Перелистывая страницы этой книги, снова переживаешь один из наиболее ярких этапов большого пути нашей родины — гражданскую войну. Много написано о ее грозных днях, о ее светлой романтике, массовом героизме. Но история гражданской войны — это не только повесть о битвах. История эта помогает увидеть, как в огне гражданской войны был расчищен для

всего нашего народа указанный Лениным путь к коммунистическому обществу.

Вот почему каждая новая книга об этом начальном этапе нашего большого пути встречается не просто с интересом, а с волнением.

Перед нами сборник, который содержит воспоминания двадцати видных военных деятелей: С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, А. С. Бубнова,

М. С. Кедрова, В. К. Блюхера и других. Они рассказывают о своей боевой деятельности в годы гражданской войны.

Книга открывается очерком С. С. Каменева, где на конкретных фактах показана исключительная роль В. И. Ленина в руководстве гражданской войной. Владимир Ильич, пишет С. С. Каменев, повседневно и непосредственно руководил Красной Армией. Организация борьбы шла под повседневным контролем Владимира Ильича. Это свидетельство человека, который был в те годы Главкомом Красной Армии, решительно опровергает самовосхваления Сталина, утверждавшего, будто бы В. И. Ленин не занимался военными вопросами и перепоручил, мол, ему руководство в этой области.

С. С. Каменев пишет: «Руководство Владимира Ильича гражданской войной, повторяю, является законченной наукой о войне всей страной». В устах военного специалиста это звучит особенно многозначительно. С. С. Каменев действительно прошел в гражданской войне новую школу военного дела. И не только он. Военные действия в ту пору настолько тесно переплетались с социально-экономическими явлениями и политическими событиями, что вопрос о единстве военно-политического руководства войной стал решающим фактором успеха. И оно было искусно осуществлено Центральным Комитетом партии под руководством Ленина. Только благодаря этому единству военно-политического руководства со стороны ЦК мы смогли одержать великую победу в тяжелых условиях гражданской войны.

О содержательных встречах с Владимиром Ильичем рассказывается также в воспоминаниях бывшего Главкома И. И. Вацетиса, видных партийных и военных работников М. С. Кедрова и В. П. Затонского.

Помещенные в сборнике воспоминания не дают, конечно, полной картины строительства вооруженных сил и их боевых действий в гражданской войне. Но и то, что в них есть, представляет большой интерес, в особенности освещение событий первых лет гражданской войны — наиболее сложных и, к сожалению, наименее изученных.

В очерке «Первая армия в 1918 году» М. Н. Тухачевский вспоминает, что, когда в июне 1918 года он вступил в командование

Первой армией, ее штаб состоял всего из пяти человек, никакого аппарата управления еще не существовало, боевой состав армии никому не был известен, части жили в эшелонах и вели так называемую «эшелонную войну». Но уже в сентябре войска этой армии бьют регулярные, хорошо вооруженные части интервентов и белогвардейцев. 12 сентября они занимают Симбирск, затем Сызрань, а 7 октября части Красной Армии вступают в Самару. Это были не случайные победы, а результат большой работы партии по организации Красной Армии и руководства войсками. «Работа коммунистов, брошенных в части,— пишет М. Н. Тухачевский,— дала колоссальные результаты».

Эти победы Восточного фронта сыграли решающую роль для всего дальнейшего хода гражданской войны. Еще ранее, первого августа, Ильич в письме работникам Восточного фронта писал: «Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: быстрая победа над чехо-словаками на фронте Казань—Урал—Самара». Ленинский приказ был успешно выполнен. Впоследствии же, во времена культа Сталина, значение этих побед было снижено, зато преувеличена роль Царицынского фронта ради того, чтобы показать Сталина как «спасителя» революции.

С огромным интересом читаются также воспоминания талантливого самородка, прославленного героя и виднейшего военного деятеля И. Э. Якира, который, как он пишет, никогда не был военным человеком и свою военную «карьеру» начал с того, что организовал два-три десятка храбрецов, которые преследовали врага. Так начали свою боевую деятельность и многие другие, впоследствии выдающиеся военачальники Красной Армии. Все великие революции рождали и выдвигали своих полководцев, а тем более Великая Октябрьская социалистическая революция, всколыхнувшая и призвавшая к активной политической жизни широчайшие народные массы.

Тяжело было тогда командовать, признает И. Э. Якир. Да, мало было сил, не хватало оружия, боеприпасов, драться приходилось в огненном кольце фронтов. На бойца выдавалось порой четверть фунта черствого хлеба в день, соль и сахар ценились на вес золота, сыпняк и другие бо-

лезни косили людей, и их не успевали хоронить.

С. А. Меженников, командовавший в 1919 году 12-й армией, пишет в своих воспоминаниях, что войска при постоях в деревнях, несмотря на осенний холод, хаты не занимали, ибо в каждой из них лежали сыпнотифозные.

Но был еще один лютый враг, который сильно осложнял ход и развитие боевых действий на фронтах гражданской войны,— это бандитизм. Он часто маскировался под разными флагами, но всегда объединял деклассированные и уголовные элементы, дезертиров и кулаков, а порой вовлекал в свои ряды и политически неустойчивых людей из других слоев населения. Интервенты и белогвардейцы широко использовали бандитизм в своих целях. Немало вреда он принес стране, ибо бил «изнутри», срывал и дезорганизовывал тыл. Особо сложной в этом отношении была обстановка на Украине. Небезынтересная деталь: в Тараше власть до 15 июля 1919 года сменялась двадцать семь раз.

О событиях на Украине рассказывается в воспоминаниях видного партийного и военного работника В. П. Затонского, старого большевика и организатора Червоного казачества на Украине В. М. Примакова. Об этом пишет и Якир в своих воспоминаниях о выходе из окружения Южной группы войск 12-й армии. Эти очерки, как и воспоминания А. С. Бубнова о партизанском движении на Украине, тем более ценны, что до сих пор еще нет, к сожалению, развернутого научного описания боевых действий на Украине в 1918—1919 годах. Четырехтомные «Записки о гражданской войне» В. А. Антонова-Овсеенко, одного из виднейших военных деятелей на Украине в те годы, дают для этого большой материал, но не охватывают всесторонне сложную обстановку того времени.

В воспоминаниях даются яркие зарисовки героических дел красноармейцев, командиров и политработников. «Одним из моих ближайших помощников в ту пору,— рассказывает В. М. Примаков,— был тов. А. В. Багинский — киевский большевик, рабочий-печатник, сыну которого гайдамаки выжгли глаза. Багинский был ранен восемнадцать раз за три года гражданской войны». Комсомолец Данила Самусь был в 1918 году при гетмане арестован и подвергнут расстрелу, он был пронзен один-

надцать пулями, но остался жив. Ночью ему удалось незаметно уползти и скрыться. Когда его раны зажили, он пошел в армию, стал затем начальником штаба бригады Червоного казачества...

«Победа храбрых» — так озаглавил свои воспоминания о борьбе с Врангелем на Южном фронте Василий Константинович Блюхер. Пять человек осталось от роты Иванова, пишет Блюхер, но они продолжали отбивать контратаку врага. Под Натальино красноармейцы, не имея ножиц, ухитрились, ползая по самой земле под огнем артиллерийской завесы, просачиваться под проволочные заграждения.

В воспоминаниях даны также зарисовки жизни и быта армии того времени. Они передают суровость повседневной боевой жизни, рассказывают о товарищеских отношениях людей и об их страстной устремленности к светлому завтра. Вот несколько примеров.

«Комиссар дивизии лежал на полу, на бурке, брошенной поверх охапки соломы. Рядом на бурках и шинелях лежало несколько человек политотдела дивизии. Все они спали после трудной ночи. Большой стол был придвинут к стене; на столе были брошены военные карты, стояла пишущая машинка, и молодой парень возле стола, дежурный политработник, расписывал какие-то плакаты черными и красными чернилами, макая в них свернутую бумажную палочку».

На польском фронте в дивизии Червоного казачества была организована школа «ликбеза». Аудитория была усатой, бородастой.

«Знаете...— сказал старый учитель Семеныч,— всякие у меня ученики были, таких не бывало. С оружием, при винтовках, а тишина такая, что слышать муху, и коли уж который из них кашляет, так все на него цыкают, чтоб не мешал».

На Северном фронте, рассказывает Н. Н. Кузьмин, готовилось наступление против англо-американских интервентов: «Члены Реввоенсовета тов. Уборевич и тов. Землячка (которая руководила там партийной организацией) объехали все части и, не устраивая собраний, а обходя по избам, в беседах с небольшими группами разъяснили общую обстановку, указали на задачу, которая стоит перед частями, расположенными на Северной Двине, и подготавливали, таким образом, наступление».

Помещенные в сборнике воспоминания охватывают самые разнообразные стороны боевой жизни Красной Армии. Они не обходят и недостатки того периода. Под Перекопом, пишет А. И. Корк, командовавший тогда 6-й армией, мы одержали огромную победу над противником, но результаты этой победы были не совсем полными. Врангелю удалось увести значительную часть своих войск за границу. Если бы, правильно отмечает А. И. Корк, 1-я и 2-я Конные армии своевременно после прорыва фронта противника прошли вперед через расположение пехоты, то мы бы не только заняли Крым, но и уничтожили бы противника.

Мы не исчерпали содержания этой богатой материалом книги. Читатель и историк

найдут в ней для себя много нового и полезного.

Я знал многих из тех, чьи воспоминания помещены в сборнике, а с М. Н. Тухачевским, А. С. Бубновым, Р. П. Эйдеманом и А. И. Корком работал: на Западном фронте, в Главном политуправлении Красной Армии, в Военной академии имени М. В. Фрунзе. И мне особо дорого, что сейчас восстановлено доброе имя этих людей, по достоинству оценены их величайшие заслуги перед нашим народом.

Воспоминания славных советских полководцев и выдающихся деятелей читаются с огромным интересом. Перелистываешь последнюю страницу этой книги — и с еще большей глубиной ощущаешь величие наших побед в те суровые годы.

А. КАДИШЕВ.



ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ

И. К. Гамбург, П. Е. Хорошилов, Г. А. Санович, М. Э. Струве, Г. А. Брагилевский, М. В. Фрунзе. Жизнь и деятельность. Под общей редакцией Ф. Н. Петрова. Госполитиздат. М. 1962. 350 стр.

«Огдаю всего себя революции». Эти слова написал в начале 1905 года в письме матери студент Михаил Фрунзе. Он прожил после этого лишь двадцать лет. И каждый день, каждый час его насыщенной и яркой жизни были посвящены революционной борьбе.

Славный представитель ленинской когорты большевиков, М. В. Фрунзе достойно запечатлен в памяти народной. Его именем названы города и улицы, учебные заведения и корабли. О жизни Фрунзе сложены песни, написаны романы и пьесы. Ему по праву посвящена большая литература, в которой нашли отражение важнейшие этапы жизненного пути. И тем не менее полной его научной биографии до сих пор не существовало. Теперь такая книга выпущена. Написали ее люди, которые были друзьями Фрунзе по революционной борьбе, служили под его началом, участвовали вместе с ним в гражданской войне. Шаг за шагом раскрывают авторы рецензируемой книги замечательную жизнь этого человека, который, говоря его словами, стремился «глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом

современного общества — с рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать все...»

Ливны, Москва, Иваново-Вознесенск — таковы районы деятельности Михаила Фрунзе, профессионального революционера-большевика. Последнему городу суждено было занять в жизни М. В. Фрунзе особое место. Авторы книги подробно описывают события знаменательных дней ивановской стачки в мае — июне 1905 года, показывают, как вырос М. В. Фрунзе, обогатился опытом. А в декабре того памятного года М. В. Фрунзе во главе боевой дружины иваново-вознесенских, шуйских, кохомских и других рабочих Владимирской губернии сражался на баррикадах Красной Пресни в Москве.

Через несколько месяцев овеванный пороховым дымом молодой большевик встретился с В. И. Лениным на IV съезде партии. На всю жизнь запомнил он проникновенную беседу с Ильичем. После этой встречи Фрунзе с утроенной энергией взялся за революционное дело.

Нелегкой была борьба. Дважды Фрунзе приговаривали к смертной казни. Дважды сидел он в камере смертников, ждал вызова и... изучал английский язык. «Как ты, Арсе-

ний, можешь изучать иностранный язык? Ведь, может быть, тебя завтра повесят?» — спрашивали Михаила Васильевича товарищи. «Так это завтра, — отвечал он, — а сегодня я жив. А если жив, то должен заниматься». Авторы книги показывают мужественного, неггибаемого большевика, который не только не падал духом в трагические дни жизни, но и успокаивал, подбадривал своих товарищей. Ничто не сломило его воли — ни каторжные работы, ни начавшийся туберкулез, ни оторванность от революционной борьбы.

Подробно, со многими интересными деталями рассказано в книге о сибирской ссылке Фрунзе. Продолжая и тут революционную работу, Михаил Васильевич вместе с тем усиленно занимается самообразованием. Особенно интересовался он военным делом. Товарищи немало дивились его точным прогнозам событий первой мировой войны. Образовалось нечто вроде кружка, в котором ссыльные изучали военные знания. Это и была «военная академия» будущего победителя Колчака и Врангеля.

Весной 1916 года Фрунзе бежал из ссылки. В апреле его видели в Москве, а через несколько дней — в Петрограде, где он встретился с руководящими партийными работниками. Было решено, что Михаил Васильевич отправится на Западный фронт для подпольной революционной работы в действующей армии. Эта работа вскоре стала давать свои плоды: участились антивоенные выступления солдат. После Февральской революции М. В. Фрунзе был избран начальником народной милиции Минска.

За короткое время пребывания в Белоруссии в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции М. В. Фрунзе «развернул свои недюжинные способности как руководитель народных масс и политический деятель большого масштаба. Он стал признанным руководителем и вожаком рабочих, крестьянских и солдатских масс, завоевал их доверие и любовь. Его имя было овеяно ореолом мужества и неггибаемой воли».

В книге воссоздается картина многогранной деятельности М. В. Фрунзе в Иваново-Вознесенске после революции. Тут и образование совнархоза, и создание Политехнического института, и выдвижение новых людей. Сложное хозяйство губернии требовало в тех труднейших условиях огромного на-

ряжения сил. М. В. Фрунзе показан не только как политический организатор, но и как хозяйственный руководитель, о чем раньше писали мало.

Авторы подчеркивают колоссальное влияние, которое оказал М. В. Фрунзе на Д. А. Фурманова. Можно смело сказать, что своим политическим рождением Д. А. Фурманов всецело обязан Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Не скрывая ошибок Фрунзе, авторы объясняют их причину. Так, рассказывая о заключении Брестского мира, они говорят о том, что Михаил Васильевич воздержался на IV Чрезвычайном съезде Советов от голосования при утверждении договора. Позднее он осознал ошибочность своей позиции, убедился в глубокой правоте ленинской точки зрения.

Летом 1918 года пригодились военные знания М. В. Фрунзе: он участвует в подавлении мятежей в Москве и в Ярославле. А вскоре после этого назначается военным комиссаром Ярославского военного округа. Это был его первый официальный военный пост. В самом начале января 1919 года М. В. Фрунзе становится во главе отряда иваново-вознесенских рабочих, отправляющихся на Восточный фронт. Через месяц он — командарм-4.

В главе «От командарма до командующего фронтом» рассматривается, как от сражения к сражению росло и крепло полководческое искусство М. В. Фрунзе.

Раньше историки обращали мало внимания на туркестанский период жизни и деятельности М. В. Фрунзе. Но за последнее десятилетие усилиями среднеазиатских и московских ученых это ненормальное положение было исправлено. Появились серьезные работы об этом. К сожалению, авторы рецензируемой книги оказались в данном случае не на высоте: в своем повествовании они опираются далеко не на все основные источники.

Прочитав главу «В борьбе за Советский Туркестан», читатель получит в основном верное представление о туркестанском периоде жизни и деятельности М. В. Фрунзе. Но два серьезных возражения авторам напрашиваются сами собой. Первое касается их трактовки внутрипартийной борьбы в Туркестане к моменту приезда Турккомиссии. Ошибки у партийных и советских работников Туркестана до приезда Турккомиссии, несомненно, были, но характеризо-

вать их столь категорически, как это делалось в документах того времени, ныне нет ни целесообразности, ни необходимости. Явно недооценили авторы значения бухарской народной революции. Они отвели ей неполных четыре страницы, не показав как следует ни героизма красноармейцев, командиров и политработников, штурмовавших крепость Старая Бухара (таких, как Василий Богданов, Хусайн Мавлютов, В. Г. Клементьев и другие), ни влияния бухарской революции на Восток, ни многого другого, к чему М. В. Фрунзе имел прямое отношение как организатор и руководитель ликвидации бухарского эмирата.

Боевые операции Южного фронта, разгром Врангеля. Военная и государственная деятельность М. В. Фрунзе на Украине. Миссия в Турцию в 1922 году. Осуществление военной реформы. Боевым, страстным, подлинно партийным языком написаны эти страницы, рисующие замечательный образ Михаила Васильевича Фрунзе — полковца-большевика, государственного деятеля.

Упомянув о выступлении М. В. Фрунзе на заседании литературной комиссии при ЦК партии 3 марта 1925 года, авторы, к сожалению, не рассказали, что Михаил Ва-

сильевич был одним из активных участников этой комиссии и провел немалую работу по подготовке известного постановления ЦК о литературе, что он содействовал сплочению всех писательских сил вокруг Коммунистической партии. Это, несомненно, представляет большой интерес.

Авторы внимательно изучили и донесли до читателя неоценимое богатство наследия М. В. Фрунзе, который придавал большое значение высказываниям В. И. Ленина по военным вопросам, их основополагающей роли для разработки советской военной теории. «Михаил Васильевич,— подчеркивают они,— отмечал исключительно глубокое проникновение Ленина в самое существо тех вопросов, которые имели отношение к военному делу и Красной Армии».

Безжалостная смерть поразила М. В. Фрунзе в расцвете сил. Ему было всего сорок лет. «Личная история Фрунзе, нашего дорогого боевого товарища...— говорилось в обращении ЦК РКП(б) в связи со смертью Фрунзе,— есть отражение истории нашей партии, мужественной, беззаветно храброй, до конца преданной пролетариату...»

Ю. ШАРАПОВ.



ПУТЬ К ЧУДЕСАМ ТЕХНИКИ

А. А. Зворыкин, Н. И. Осьмова, В. И. Чернышев, С. В. Шухардин.
История техники. Соцэргиз. М. 1962. 772 стр.

Человек заставил служить себе моря и реки, изменил лицо планеты, завоевал воздушный океан; он создал механических помощников, послушных его воле; научился передавать звуки и изображения на тысячи километров; все увереннее овладевает гигантской энергией атома; все глубже вторгается в самые сокровенные тайны материи.

Каким же путем шел он от орудий каменного века до чудес современной техники? Как создавались и совершенствовались орудия труда, приемы обработки материалов? Как человек из раба природы превратился в ее властелина? На эти вопросы дает ответ история техники. Издавна она привлекала внимание людей нашей страны. Еще в 1720 году была опубликована первая на русском языке книга по истории науки и техники. То было известное в Европе сочинение Полидора Виргилия Урбинского

«Осьмь книг о изобретателех вешей». С большим интересом отнеслись к этой книге в России. Ее переиздал выдающийся русский просветитель Н. И. Новиков. Книгу читал и имел в своей личной библиотеке А. М. Горький.

Историей техники интересуются не только ученые, специалисты, преподаватели, студенты, но и широчайшие круги любителей чтения всех возрастов и профессий. В какой мере наша историко-техническая литература удовлетворяет их интерес? За последнее время вышло в свет много хороших книг и статей. Однако не было обобщающего труда, который бы охватывал историю всех основных отраслей техники и освещал бы ее развитие с древнейших времен до наших дней. И вот наконец такой труд появился.

Развитие средств труда раскрывается в книге на фоне важнейших событий в исто-

рии человечества, в тесной связи с социально-экономическими и политическими условиями, влияющими на состояние техники. «Техника не развивается вне способа производства,— пишут авторы во вступлении.— Поэтому нельзя понять развитие техники, абстрагируясь от законов, определяющих развитие данного способа производства, отвлекаясь от производственных отношений конкретной общественно-экономической формации. Только экономические законы данного общественного строя, определяемые способом производства, дают ответы на вопросы об истоках и темпах развития техники, о направлении ее развития».

Всем своим содержанием «История техники» отвечает этому принципу, иллюстрирует его богатыми фактическими материалами, относящимися к различным историческим периодам.

Не менее важна и другая особенность книги. Известно, что многие зарубежные труды по истории техники, написанные с националистических позиций, искажают или замалчивают общезвестные факты. Так, в «Истории железа» Л. Бека проводится идея господства «немецкого духа» в технике, подчеркивается, что крупнейшие открытия в области металлургии принадлежат почти исключительно немцам. Беку вторит Д. Оливер, автор новейшей «Истории американской технологии» (1956), утверждающий, что лишь американцы призваны к мировому господству в области науки и техники, ибо они одарены умением, изобретательностью.

Советская «История техники» противостоит подобным трудам. Авторы подчеркивают интернациональный характер техники, ее развития. Они показывают, что техническое творчество не привилегия какой-либо одной нации. В то же время они справедливо указывают, что нельзя рассматривать технику и ее историю вне национальных границ. Интернационалистический подход к истории техники неизбежно включает показ вклада, который вносит в развитие мировой науки и техники каждый народ.

Такая широта в освещении развития техники как результата совокупной производственной деятельности всех народов позволила авторам показать интернациональный характер крупнейших изобретений. Так, например, рассказывая о создании паровой машины, они отмечают роль в этом и рус-

ского механика И. Ползунова, и французов Папена и Пикара, и англичан Сэвери, Ньюкома, Уатта. Тем самым иллюстрируется известное положение Энгельса: «Паровая машина была первым действительно интернациональным изобретением». Таким же образом освещается и роль ученых и техников различных стран в изобретении суппорта (А. Нартов и Г. Модсли), радио (Г. Герц, Н. Тесла, А. Попов, Г. Маркони), авиации (А. Можайский, О. Лилиенталь, братья Райт) и т. д.

Из интернационалистического подхода к истории техники неизбежно вытекает объективность ее изложения. В этом еще одно важное достоинство книги.

Особый интерес представляет глава, где говорится о социальных последствиях развития техники при капитализме и социализме, о создании материально-технической базы коммунизма.

Но не все в равной мере удалось авторам. В нашу задачу не входит детальный критический анализ книги — это дело специальных научных и технических журналов. Остановимся лишь на некоторых недостатках, носящих общий характер.

Прежде всего о соотношении отдельных частей книги. Авторы уделили особое внимание развитию науки и техники в период после Великой Октябрьской социалистической революции, показу тех исключительных возможностей для развития науки и техники, которые предоставляются обществом, свободным от эксплуатации человека человеком. В книге подробно рассмотрены выдающиеся достижения советской науки и техники, олицетворяющие собой глубочайшую научно-техническую революцию, которую переживает сейчас наша страна. В целом раздел, посвященный истории техники после 1917 года, составляет большую половину книги. И это тем более закономерно, что до сих пор у нас не было сводной работы по истории советской техники. С другой стороны, некоторые из предшествующих разделов получились чрезвычайно сжатыми. Это в особенности относится к третьей части, посвященной развитию техники в период монополистического капитализма.

Хорошо, что авторы стремятся органически связывать материал по истории техники со сведениями по истории естественных наук. В ряде случаев выделены специальные главы или разделы о развитии важнейших

отраслей естествознания. Но материал этот скуден, особенно в первых частях книги. Подобная скудость может привести к неверному изображению действительности.

Какое, скажем, впечатление остается у читателя о состоянии естествознания в Западной Европе в период зарождения и зрелости феодализма? Да никакого. Вернее, впечатление безнадежно непроглядной тьмы. Именно таким, хотя бы этого или не хотят авторы, выглядит в их изложении европейское средневековье. Уделив ему два абзаца, авторы не упомянули даже имени крупнейшего ученого Рэжера Бэкона — пропагандиста экспериментальной науки, человека, предсказавшего изобретение летательных аппаратов, оптических приборов, самодвижущихся судов и повозок. Значительно обеднил материал о развитии науки в средние века, авторы тем самым затруднили понимание бурного роста науки в последующее время. Расцвет науки и культуры в эпоху Возрождения выглядит в книге неожиданным, не имеющим корней в предыдущем периоде.

Принятая авторами периодизация в основном не вызывает возражений. Но трудно понять, почему в части четвертой (с 1917 года до наших дней) не выделен раздел, начинающийся со второй мировой войны и второго этапа общего кризиса капитализма.

Но дело не только в общей периодизации. Речь идет о новом этапе в развитии мировой техники, — этапе, связанном с открытием способов использования энергии атома, развитием радиоэлектроники и кибернетических устройств, синтетической химии, переходом к автоматизации производства и другими явлениями, которые подготовили наступающую научно-техническую революцию. Разве этого недостаточно для специального раздела? Отсутствие его тем более удивительно, что сами авторы отмечают важнейшие качественные сдвиги в развитии техники, происшедшие за последнее время. «Время перехода к автоматическим системам машин, — пишут они, — наступило по существу только сейчас. Раньше не было ни технических, ни научных предпосылок для широкого внедрения автоматики. И только за последние годы, в связи с дальнейшим развитием механических, гидравлических, электрических систем, а особенно в результате появления новых электронных приборов, были созданы предпосылки для перехода от отдельных автоматов и авто-

матических систем к автоматизации как универсальной системе производства».

Думается, что в книге следовало отчетливее и полнее показать роль В. И. Ленина, Коммунистической партии в развитии советской техники, внести сведения о важнейших постановлениях партии и правительства по вопросам техники, подчеркнуть, что одним из важнейших преимуществ развития техники при социализме является проведение единой, общегосударственной технической политики, которая невозможна в капиталистических странах. Как известно, важность проведения единой технической политики подчеркнута в решениях ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС. В этой главе следовало бы также дать понятие об основных направлениях технического прогресса. В частности, хотелось бы найти в книге больше материала об автоматизации. Разумеется, нельзя говорить об автоматизации вне конкретных отраслей производства. С другой стороны, автоматизация — понятие, которое можно как бы вынести за скобку: показать этот процесс как важнейшее направление технического прогресса. Авторы пытаются это делать, но в совершенно недостаточной степени. Думается, что в данном случае они забыли о том массовом читателе, который нуждается в развернутой характеристике процесса автоматизации в целом.

В теоретическом введении хотелось бы найти определение места истории техники в системе наук. Вопрос этот остается спорным. Одни ученые считают историю техники технической наукой, другие — общественной (последней точки зрения придерживается один из авторов рецензируемой книги — С. В. Шухардин в своей недавно вышедшей монографии «Основы истории техники»). Третьи видят в истории техники науку промежуточную, стоящую между техническими и общественными науками. Читатель вправе был ожидать от авторов такого обобщающего труда, как «История техники», авторитетного решения этого вопроса. А между тем он даже не поставлен, авторы сочли за благо уйти от него. К сожалению, это не единственный случай. Мы, например, не найдем в книге определения кибернетики. За последнее время, достаточно, впрочем, продолжительное, чтобы его могли учесть авторы книги, в советской печати ведется большой разговор о возможностях кибернетических машин, о

философской стороне кибернетики. Напрасно мы стали бы искать отражения этой чрезвычайно интересной дискуссии в книге. Авторы говорят о кибернетике вскользь, посвятив ей несколько абзацев, набранных петитом; вероятно, предполагается, что этот материал второстепенный, необязательный для чтения. Это явная ошибка: авторы не учли огромного интереса к кибернетике и ее проблемам со стороны широчайших кругов населения, не имеющих специальной подготовки. А ведь на таких читателей и рассчитана книга.

Однако не отмеченные нами недостатки, а богатейший материал, широкие обобщения определяют лицо рецензируемой книги.

Полезное дело сделали Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР и Соцэргиз, подготовив и выпустив в свет «Историю техники». Хочется присоединиться к академику И. И. Артоболевскому, который в своем предисловии отмечает, что выход в свет «Истории техники» — это примечательное явление в современной мировой историко-технической литературе, и заявляет, что «эта книга будет содействовать изучению прошлого и настоящего, с тем чтобы еще более глубоко понимать их великое значение и перспективы будущего».

А. ЧЕРНЯК.

★

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Академик Л. С. Берг. История русских географических открытий.
Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 296 стр.

Один раз в жизни видел я этого невысокого старика с серебристой бородкой и шапкой седых волос, с мягким и внимательным взглядом чистых и ясных глаз. Его портрет в новом издании «Истории русских географических открытий» очень похож. Академик, президент Географического общества СССР, он был прекрасным пропагандистом своей науки. Рассказывали, что, безнадежно больной, лежа в постели, с которой ему уже не суждено было подняться, он еще читал корректуру своей последней работы «Великие русские путешественники».

«История русских географических открытий» — одна из написанных Л. С. Бергом общедоступных книг, на которых лежит отпечаток авторской индивидуальности. Это популяризация «из первых рук». В ней думы о славном прошлом русской географической науки неотделимы от современности, они помогают лучше различать пути, которыми сегодняшняя наука ведет разведку будущего.

Особенно ценны в этом отношении разделы книги о русских географических открытиях XVIII—XX веков и о географических исследованиях в Академии наук. Между вошедшими сюда очерками как будто нет непосредственной связи — это эскизы из истории науки, чаще всего связанные с личностью того или другого исследователя. Но в целом они дают очень убедительную и

отличающуюся оригинальностью подхода к фактам историю развития русской географической мысли, ее движения на пути к широким обобщениям и познанию общей картины мира.

В то же время каждый очерк отличается конкретностью. Автор обладает редким умением двумя-тремя деталями осветить самые существенные черты того исторического дела, которое совершили на своем веку, полном испытаний, русские люди — ученые и первооткрыватели.

М. В. Ломоносов не принимал непосредственного участия в разведке Северного морского прохода, но его мысль вела исследователей по пути, намеченному Петром I, а за два века до него — Дмитрием Герасимовым, выдающимся русским дипломатом.

Двадцатого сентября 1763 года Ломоносов подал записку «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Благодаря этой записке и непреклонной воле, с какой добивался ученый решения поставленной в ней задачи, была снаряжена экспедиция В. Я. Чичагова для прохода Северным океаном в Камчатку. Экспедиция окончилась неудачей, да и трудно было рассчитывать на успех при тогдашнем уровне техники и географических знаний. «Все полярные экспедиции... — писал более ста лет спустя С. О. Макаров, — в смысле достижения це-

ли были неудачны, но если мы что-нибудь знаем о Ледовитом океане, то благодаря этим неудачным экспедициям».

Кропоткин, Воейков, Макаров, Менделеев — таковы имена выдающихся людей русской науки, принявших от Ломоносова эстафету и передавших ее современникам походов «Сибирякова», «Седова», а в наши дни — атомного ледокола «Ленн». Далеко смотрел Ломоносов, и это по его следу шел Д. И. Менделеев, писавший в 1901 году: «Победа над... льдами составляет один из экономических вопросов будущности северо-востока Европейской России и почти всей Сибири...»

От Ломоносова с его идеей Северного прохода, опередившей свой век, книга переносит нас к делам менее величественным, но еще более отдаленным. Статья «Первые русские в Англии» знакомит с историей посольства Ивана IV ко двору королевы Елизаветы, направленного в ответ на посещение России англичанином Чанслером. Любопытный парадокс: англичане пытались впоследствии изобразить «открытие России» Чанслером как нечто подобное открытию Индии или Америки. На самом же деле Россию тогда уже знали в Европе. Зато для русских опасное, стоившее многих жизней плавание к английским берегам действительно было путешествием в неизвестную землю.

Русские люди сравнительно рано узнали об открытии испанцами Америки. Около 1530 года Максим Грек писал об этом в одном из своих сочинений.

Для историка русских географических открытий опыт народа, за поразительно короткий срок прошедшего огромный путь от Урала до Тихого океана по неведомой Сибири, всегда останется предметом интереса и тщательного исследования. В книге Л. С. Берга особенно пристальное внимание сосредоточено на крайнем сибирском Севере, в ней обобщены труды Миллера, Бартольда, Барсова, Шахматова, подтверждающие древность связей русских с народами, населявшими земли по ту сторону Урала.

Можно полагать, что русские уже в конце XI века ходили за Северный Урал, а около 1365 года появились в низовьях Оби. На западноевропейских картах наименование «Сибирь» впервые появляется в 1375 году.

В очерке, посвященном открытиям Семена Дежнева и Федота Попова, ярко и аргументированно излагаются события, пол-

ностью подтверждающие подвиг русских землепроходцев. Автор сопоставляет свидетельства современников и обильно цитирует замечательные «отписки» Дежнева, который, как видно, не так заботился о славе открывателя, как о точности и полноте сообщаемых им сведений.

С любовью и тщательностью описано также путешествие С. П. Крашенинникова по Камчатке. Памятуя, что знаменитую книгу Крашенинникова знал и изучал Пушкин, Л. С. Берг сообщает любопытные факты из истории публикации «Описания Земли Камчатки», отмечает, что работа эта «написана прекрасным русским языком и читается с неослабевающим интересом». Очерк, построенный целиком на материалах этой книги, — пример того, как следует использовать первоисточники в популярном рассказе для широкого читателя. Автор рисует облик путешественника, показывает широту его естественно-научных и этнографических интересов, его гуманные, дружеские чувства к коренным жителям далекого и дикого края.

Те же черты отмечает Л. С. Берг в деятельности первых русских кругосветных мореплавателей И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Эти выдающиеся исследователи были широко образованными, гуманными людьми. Успеху их смелого предприятия немало способствовала атмосфера взаимного доверия между начальниками и подчиненными, которая господствовала на кораблях экспедиции.

Исследованиям в Антарктике Л. С. Берг, большой знаток вопроса, посвящает в этой книге краткий, но богатый содержанием очерк. Ученый прежде всего отвергает распространное мнение о том, что уже у Аристотеля и Птолемея встречается упоминание о суше, находящейся в области Южного полюса. На самом деле у древних писателей таких предположений нет.

Л. С. Берг подчеркивает противоречивость высказываний Джемса Кука, который, отрицая существование южного материка, в то же время заявлял: «...Я убежден, что такая земля там есть, и возможно, что мы видели часть ее». Полвека прошло, пока эта загадка таинственного материка была разгадана русскими людьми.

Отлично организованным предприятием было плавание Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1819—1821). Беллинсгаузен был участником кругосветного пла-

вания Крузенштерна, в котором, кроме него, участвовали такие люди, как будущий исследователь Бразилии И. И. Лангсдорф и мореплаватель О. Коцебу. В состав русской экспедиции в Антарктику, кроме Беллинсгаузена и Лазарева, чьи заслуги в географии Л. С. Берг приравнивает к заслугам С. О. Макарова, вошли астроном и натуралист И. М. Симонов, собравший интересные коллекции, а также художник П. Михайлов — первый живописец, запечатлевший на своих рисунках виды Антарктики и ее животный мир.

«Плавание «Востока» и «Мирного», — отмечает автор, — принадлежит к числу замечательнейших в истории географических открытий. Суда эти обошли вокруг всего антарктического материка, открыли и положили на карту новые острова и земли. Плавая в невероятно трудных полярных условиях, между ледяными горами, руководители, благодаря выдающемуся знанию морского дела, провели свои суда невредимыми среди всех опасностей, не теряли из вида друг друга и при этом не имели никаких заболеваний среди экипажа».

Если первая половина работы Л. С. Берга содержит историю наиболее выдающихся путешествий русских в разных частях света, то вторая отражает наряду с этим и новый этап развития отечественной географической мысли. Глава «Русские географические открытия (XVIII—XX вв.)» представляет не только краткие очерки путешествий А. И. Бутакова, Н. Н. Миклухо-Маклая, А. И. Воейкова, Н. М. Пржевальского и других исследователей. Таких людей, как В. В. Докучаев, В. И. Вернадский, Д. Н. Анучин, не назовешь путешественниками. Но они были подлинными открывателями новых путей в географической науке, и потому им отведено заслуженное место в этой главе, пожалуй, центральной в книге.

Здесь каждый очерк — законченная научно-историческая миниатюра. Иногда в центре ее не ученый и не путешественник, а книга («Всероссийский атлас Ивана Кирилова»), или природная закономерность («П. А. Словцов и закон Бэра»), или догадка археолога, проливающая свет на историю легендарной Атлантиды («Атлантида и Эгвида»).

Очерк, посвященный А. И. Бутакову — русскому адмиралу и исследователю Аральского моря, — превосходный литературный

портрет этого талантливом морехода и ученого, человека доброго сердца, скрасившего своей дружбой тяжкие годы, проведенные поэтом Шевченко в оренбургской ссылке. «Он был мне друг, товарищ и командир», — писал в 1849 году Т. Г. Шевченко, участвовавший в аральской экспедиции Бутакова в должности художника.

А. И. Бутаков оставил описание Аральского моря и учредил на нем плавание. На основе произведенных им съемок была составлена морская карта Арала.

Редкостный дар, свойственный Л. С. Бергу, — сжато и образно рассказать о главном в деятельности ученого или путешественника. Перед нами проходят запоминающиеся эпизоды из жизни Н. Н. Миклухо-Маклая, исследователя Новой Гвинее, этнографа и антрополога, друга папуасов. В очерке об А. И. Воейкове и его путешествиях по Японии и Америке, как и в других, вошедших в этот раздел книги, главным становится уже не первооткрытие неведомого, а углубленное познание природы и законов ее развития. Л. С. Берг в особенности оттеняет ту сторону путешествий Воейкова, которая помогла этому выдающемуся географу и климатологу сделать выводы, важные для науки и сельского хозяйства. Именно Воейков выдвинул идею использования вод бассейна Арала для искусственного орошения. Ему же принадлежит мысль о возможности разведения чая в Западном Закавказье.

Очерк о П. П. Семенове-Тян-Шанском — одна из самых ярких страниц книги, живой рассказ об ученом и путешественнике, который одновременно был и выдающимся организатором. Он был душой Географического общества, которое при нем приобрело всемирную славу экспедициями Пржевальского, Роборовского, Потанина и многих других исследователей.

Лично знавший Семенова, Л. С. Берг связывает с ним и выяснение вопроса о природе и методе географии как науки, изучающей закономерные группировки предметов и явлений в пространстве. Разделение земной поверхности на естественные области или районирование и есть, утверждает Л. С. Берг, «сама география».

Краткая характеристика Н. М. Пржевальского как путешественника интересна не столько научным содержанием, сколько раскрытием морального облика Великого Охотника, его разносторонней одаренности, в том числе и литературной.

В «Истории русских географических открытий» Л. С. Берг сумел сделать то, что до него мало кому удавалось: соединить портретные характеристики очень различных ученых, показав при этом, как своими, очень несхожими путями они приближались к широкому пониманию географии как науки, перспективной отрасли знания. Таков, в частности, портрет В. В. Докучаева. Великий русский почвовед разработал идею о «географичности почвы», он показал, что почва — этот источник плодородия — глубочайшим образом связана с климатом, рельефом, растительностью, геологической историей страны. По почвам можно судить о зонах природы. Почвенные зоны, таким образом, — это зоны географические. Как подчеркивает Л. С. Берг, именно Докучаев указал на важность зонального районирования России и высказал мысль, что опытные сельскохозяйственные станции должны быть зональные.

Другую важную сторону современных представлений о задачах географических исследований Л. С. Берг раскрывает на примере трудов В. И. Вернадского, показавшего роль живых организмов «во всем бытии земной коры». А на примере Д. Н. Анучина рисуется совсем особенный, очень нацио-

нальный, русский тип ученого-универсала, который владел необыкновенно многогранными знаниями в зоологии, антропологии, археологии, этнографии, физической географии. Замечательно, что Анучин был и прогрессивным публицистом, постоянно сотрудничал в периодической печати. Но именно география была его подлинным призванием. «Анучин — это был целый географический факультет», — вспоминает Л. С. Берг, ученик Анучина по Московскому университету.

Книгу заключает очерк о географических исследованиях в Академии наук, доведенный автором почти до нашего времени.

Есть одна драгоценная черта, свойственная этой книге, редкой по объему вложенных в нее знаний и собственного опыта. Почти в каждом очерке мы чувствуем присутствие автора — не только историка и географа, но и натуралиста широкого профиля.

Глубокие мысли, собранные в «Истории русских географических открытий», — итог большой жизни, отданной Л. С. Бергом географической науке и продолжающейся сегодня в трудах его многочисленных учеников — советских географов.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

★

ОБРАЗ ВЕЛИКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

А. Манфред. Марат. «Молодая гвардия». М. 1962. 352 стр.

Старшее поколение коммунистов, идейно сформировавшихся в суровое время борьбы с самодержавием или даже в первые годы советской власти, хорошо помнит, как громко звучало тогда, каким большим политическим и моральным авторитетом обладало имя великого французского революционера Жан-Поля Марата.

В царское время имя Марата брали как партийную кличку некоторые большевики — например, В. Л. Шанцер. После победы Великой Октябрьской социалистической революции Николаевскую улицу в Петрограде переименовали в улицу Марата. Имя «друга народа» было присвоено одному из боевых кораблей молодой Советской республики — кто не помнит линкора «Марат»? Многие коммунисты и комсомольцы называли своих сыновей именем бесстрашного французского революционера.

Известно, как высоко ценил Марата Вла-

димир Ильич Ленин. В 1921 году в беседе с молодым тогда французским коммунистом Полем Вайян-Кутюрье, прибывшим на Третий конгресс Коминтерна, Ленин дал совет французским коммунистам: «Хорошенько изучайте Жан-Поля Марата».

В первые годы Советской республики о Марате писали выдающиеся публицисты нашей партии И. И. Скворцов-Степанов, Феликс Кон и другие. К сожалению, позже имя замечательного якобинского вождя вспоминалось все реже, да и работ о нем в нашей печати почти не появлялось.

Ныне в серии «Жизнь замечательных людей», издаваемой «Молодой гвардией», вышла книга профессора А. З. Манфреда «Марат». Это биография великого революционера восемнадцатого века. Она написана со всей необходимой научной строгостью; автор строит свое изложение, опираясь на произведения и свидетельства

самого Марата и другие столь же достоверные источники. В то же время — как и должно быть — биография этого необыкновенного человека написана ярко и увлекательно.

Автор прослеживает жизненный путь «друга народа» в тесной связи с эпохой, с важнейшими историческими событиями того бурного времени. Талантливый самоучка без средств, без связей, Марат упорным трудом создает себе независимое и почетное положение крупного ученого — доктора медицины, физика и естествоиспытателя, чьи труды получают признание в научном мире Европы. Но в «век Просвещения», в эпоху острых идеологических сражений, предвосхищавших классовые битвы приближавшейся революции, Марат не мог и не хотел замыкаться в узкие рамки естественных наук. С молодых лет он увлекается самой важной из наук — «наукой политики» и пишет общественно-политические трактаты «Цели рабства», «План уголовного законодательства» и другие, выдвинувшие его в число наиболее революционных мыслителей демократического крыла.

Уже до революции Марат был большим человеком. Но свои замечательные качества мудрого революционного вождя, защитника угнетенных и обездоленных, бесстрашного борца против сил реакции и их тайных пособников Марат раскрыл лишь в годы Великой французской буржуазной революции. Лишь тогда он распрямился во весь свой громадный рост.

В книге профессора Манфреда очень убедительно показано, как Марат, вступивший в революцию почти неизвестным широким массам литератором, за короткий срок стал одним из самых славных и популярных революционных вождей. У Марата было только одно оружие — его перо. Со страниц своей газеты «Друг народа» он обращался к своим соотечественникам-патриотам. Он призывал их к смелости, к решительности в осуществлении задач стоявших перед революцией, он указывал им, что надо в каждый данный момент делать, чтобы обеспечить победу, он изобличал измену крупной буржуазии и ее вождей, повернувших против революции, он

внушал народу веру в свои силы, звал его на подвиги. Марат показал себя замечательным мастером революционной тактики. В борьбе против Неккера, против Лафайета, против жирондистов он защищал интересы народа. Исторический опыт показал, что в крупных политических спорах того времени линия, отстаиваемая Маратом, более всего отвечала интересам народа, интересам революции. И революционные массы Франции признали Марата истинным «другом народа». Он был избран в Конвент и стал одним из самых авторитетных вождей якобинской партии.

В книге хорошо показано, почему именно Марат стал жертвой контрреволюционного террора. «Друг народа» был беззаветно предан делу революции, он был неустрашим; его нельзя было ни подкупить, ни запугать. Враги революции подослали к нему убийцу.

Замечательный образ великого революционера еще лучше оттеняется в книге благодаря тому, что автор рисует его на широком фоне бурных событий революционного времени, создает ряд портретов противников Марата — Мирабо, Лафайета, Бриссо и других. Жаль только, что заключительные главы книги, посвященные последнему году жизни Марата и его гибели, написаны слишком сжато; об этом надо было рассказать поподробнее.

Давняя традиция нашей партии — воспитание молодого поколения в духе уважения к своим близким и дальним предшественникам, могущим служить примером самоотверженной и мужественной борьбы. Героические образы революционных деятелей прошлого, отдавших все свои силы и жизнь благородной борьбе за интересы народа, имеют, несомненно, большое воспитательное значение для нашей молодежи, строящей под руководством партии коммунистическое общество.

Книга А. З. Манфреда, талантливо и любовно воссоздающая образ великого революционера, имеет не только познавательную ценность, но и большое идейно-воспитательное значение.

*Герой Социалистического Труда,
профессор Ф. ПЕТРОВ.*



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. М. КУЛЕШОВ, Б. В. БУРКОВСКИЙ. Крейсер «Аврора». Лениздат. 1962. 93 стр. Цена 10 к.

Эта небольшая книжка-путеводитель воскрешает в памяти историю легендарного корабля революции, пришвартованного на месте вечной стоянки у Петроградской набережной в Ленинграде.

Чтобы воссоздать и уточнить некоторые страницы истории крейсера, авторам не раз приходилось выезжать к месту жительства бывших моряков-авроровцев. Накопленный материал позволил построить повествование так, что, рассказывая историю «Авроры», они в то же время рассказывают о людях, чьи биографии всерьез начались, когда они впервые поднялись на борт крейсера.

Моряки «Авроры» всегда были в первых рядах революционных матросов. В дореволюционные годы на корабле работала подпольная большевистская организация. В исторические дни 1917 года на «Авроре», раньше чем на каком-либо другом корабле, было поднято знамя революции. Именно через радиостанцию крейсера радист Ф. Алонцев передал в эфир воззвание «К гражданам России!», написанное Лениным. Это было днем 25 октября (7 ноября) 1917 года, а в 21 час 45 минут по команде комиссара крейсера А. Бельшева комендор Е. Огнев выстрелил из носовой шестидюймовки, дав сигнал к штурму Зимнего дворца.

На всех фронтах гражданской войны сражались авроровцы. Когда отгремели последние залпы, настало время учебы. 23 февраля 1923 года крейсер «Аврора» вступил в состав отряда учебных кораблей Балтийского флота и принял на борт первую группу курсантов. Немало будущих офицеров прошло практику на корабле революции.

В годы Великой Отечественной войны крейсер сражался с врагом. Снятые с корабля орудия главного калибра громили фашистов под Ленинградом, в районе Дудергофского озера. Зенитная артиллерия корабля отбивала воздушные атаки на город. Моряки крейсера сражались в отрядах морской пехоты...

Все, кто приезжает в Ленинград, стремятся попасть на «Аврору», осмотреть музей корабля. Нередко посетителей сопровождает капитан второго ранга Борис Васильевич Бурковский — один из авторов

этой книги и начальник созданного на крейсере филиала Центрального Военно-Морского музея.

«Крейсер «Аврора». Краткий этот путеводитель будет с интересом прочитан и теми, кто побывал на нем, и теми, кому еще не довелось ступить на палубу легендарного корабля.

А. Макаров.

★

ЭЛИЗАБЕТ ГЕРЛИ ФЛИНН. Своими глазами. Жизнь бунтарки. Перевод с английского. Госполитиздат. М. 1962. 382 стр. Цена 71 к.

В этой автобиографической повести Элизабет Герли Флинн развертывает яркую картину героической борьбы американского рабочего класса с конца прошлого века по 1927 год. Мы знакомимся с деятельностью профсоюзной организации Индустриальных рабочих мира (ИРМ), перед нами встают живые образы ее лидеров — Хейвуда, Девеса, Рутенберга, Фостера...

Элизабет Флинн рассказывает о своей большой жизни, о полувековой борьбе за интересы рабочего класса Америки, за мир, свободу и демократию. Ей не исполнилось еще и шестнадцати лет, когда она произнесла свою первую публичную речь перед рабочими. А последнюю известную нам речь нынешний председатель Коммунистической партии США семидесятилетия Элизабет Герли Флинн произнесла на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза.

«Мы знаем, — говорила она, — что нас, американских коммунистов, ожидают суровые времена. Против нас направлены репрессивные законы, ложь, клевета, насилие крайне правых фашистских организаций. Но мы не отступим ни на шаг в борьбе за демократические права нашего народа».

У нас в памяти недавний позорный процесс над Коммунистической партией Америки за отказ подчиниться требованию закона Маккарэна, за отказ признать партию «агентом иностранной державы». Судебная расправа угрожает таким видным деятелям компартии, как Гэс Холл, Бенджамин Дэвис и другие.

Особое внимание советского читателя привлекут страницы, которые рассказывают об огромном влиянии революционного движения в России на американских трудящих-

ся. Велико оно было уже в 1905 году и поистине огромно после великого Октября. Для самой Элизабет Герли Флинн первая в мире страна социализма — вдохновляющий пример в ее тяжелой и благородной борьбе.

Перегруженная огромной партийной работой, Элизабет Герли Флинн пока еще не смогла закончить вторую часть своей книги, которую обещает читателям. В письме к одному из своих советских друзей она пишет: «Чтобы закончить книгу, мне нужно хотя бы ненадолго выехать из Нью-Йорка, где меня все время отрывают... Меня лишили возможности приехать к вам, но я уверена, что это не будет продолжаться вечно. Мы преодолеем все трудности, и я еще сумею вновь встретиться со своими друзьями».

Советские люди будут рады вновь приветствовать на своей земле замечательного борца за свободу и счастье трудового народа Америки — Элизабет Герли Флинн.

Л. Серебрянник.

★

А. КЛАДТ, В. КОНДРАТЬЕВ. Быль о «золотом эшелоне». Госполитиздат. М. 1962. 112 стр. Цена 13 к.

Захват белогвардейцами золотого запаса Республики в августе 1918 года, этапы продвижения «золотого эшелона» от Казани на восток вплоть до Иркутска, где окончились дни «правительства» Колчака, эпизоды героической борьбы частей Красной Армии, сибирских партизан и рабочих-железнодорожников, отбивших у врага и обеспечивших доставку народного золота обратно в Казань в мае 1920 года. — все это яркие, полные драматизма и особо выразительной символичности страницы истории гражданской войны против контрреволюции и империалистов-интервентов.

Читатель будет благодарен авторам этой небольшой книжки, собравшим много новых архивных материалов, документов, изустных свидетельств, относящихся к фактам, событиям и годам, связанным с этой своеобразной, захватывающей эпопеей революционных лет. Невольно думается, что весь этот материал еще ждет своего романиста, который в достойной художественной форме выявит его на огромном историческом фоне народной борьбы за новую судьбу родины.

Но и в форме простого хронологического изложения рассказ о «золотом эшелоне» уже сейчас мог бы приобрести хрестоматийную ценность в лучшем смысле этого слова.

И очень жаль, что авторы книжки прибегают местами к приемам той дешевой и фальшивой «беллетристики», которая как раз может послужить только снижению значимости простого, дельного, насыщенного достоверными историческими фактами изложения. Нельзя наряду с цитированием документов, телеграмм, указанием точных дат, действительных имен и т. п. вдруг «оживлять» рассказ таким, напри-

мер, ничем и чикем не засвидетельствованными «подробностями»: «Когда же кончится эта собачья жизнь? — думал про себя солдат Алексей Семенов, застывший на посту у головного вагона»...

Эти наивные «беллетристические» увлечения авторов приводят их даже к такому неловкому домыслу, как высказывание, приписанное некоему собеседнику «одного русского красноармейца»: «Золото, оно только буржуев с ума сводит... Если бы не заморский капитал, мы б из этого золота нужники для народа наделали, ей-богу... Помяни мое слово...»

И более того: авторы заставляют начальника «золотого эшелона» А. А. Косухина при встрече с Лениным «рассказать о думах красноармейцев про золото», а Владимира Ильича восхизнаться этими выдуманная «думами»:

«— Так вы говорите, боец так прямо и выразился: золотые общественные места, мол, после победы построим? Ну, каков... А?»

И Ленин заразительно рассмеялся.

— А ведь мудро, по-народному мудро сказано и по существу правильно...»

Так авторы книжки в своем неоправданном стремлении «художественно домысливать» исторические факты «упреждают» этой фальшивой «народной подсказкой» слова Ленина в его общеизвестной статье «О значении золота...»:

«Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым «справедливым» и наглядно-назидательным употреблением золота...»

В издательской аннотации к «Быль о «золотом эшелоне» сказано, что авторы книги — историки. Казалось бы, что историки менее всего должны поддаваться соблазнам расщепления исторических фактов дешевой «художественностью», заметной даже в искусственном названии «Быль о...».

А. Т.

★

С. Н. АСТАХОВ. Лечебное действие слова. Медгиз. Л. 1962. 96 стр. Цена 16 к.

Выдающийся советский невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев говорил, что если после краткой беседы врача с больным последнему не становится легче в его страданиях, то это означает, что его пользует плохой врач. Это высказывание невольно вспоминаешь, когда знакомишься с книгой С. Н. Астахова «Лечебное действие слова».

Автор показывает большую значимость слова как мощного лечебного фактора. При этом он ссылается на исследования И. П. Павлова, который подчеркивал, что слово взаимообусловлено со всеми внешними и внутренними раздражителями, приходящими в большие полушария.

Перед читателем проходит галерея разнообразных больных с различными страданиями, и всем им помогает «лечебное» слово,

или, выражаясь научным языком, «психотерапия». Больному разъясняют характер заболевания, убеждают его в способности преодолеть свой недуг, чем погашают очаги болезненных переживаний. Этому служат систематические беседы врача, психотерапия внушением, проводимая в бодрственном состоянии больного, косвенное внушение и внушение в гипнотическом сне. Лечение словом помогает даже при органических заболеваниях нервной системы и многообразных страданиях внутренних органов.

Особого внимания заслуживает раздел о «психотерапии» знахарей. Он особенно поучителен для тех, кто верит в чудодейственную силу разных знахарей и обращается к ним за помощью. В живой и доходчивой форме автор раскрывает все убожество «лечебного искусства» этих шарлатанов медицины.

Книга С. Н. Астахова предназначена для широкого читателя. Она написана хорошим, доходчивым языком. Однако вводные разделы — теоретические — несколько сложны, их следовало бы изложить популярней. Но это не умаляет пропагандистской значимости издания. Нам кажется, что каждому, кто прочтет эту книгу, должно надолго запомниться заключительные ее строки: «Берегите же, обдумывайте свои слова и учите тому же детей. Помните, что слово — самый мощный раздражитель, который может принести не только пользу, но и непоправимый вред человеку!»

Л. Сухаревский.

★

ДЖЕЙМС КАЛВЕРТ. Подо льдом к полюсу. Сокращенный перевод с английского. Воениздат. М. 1962. 208 стр. Цена 68 к.

Имя автора этой книги — офицера американского военно-морского флота — стало известно в 1958 году. Тогда под его командованием атомная подводная лодка «Скейт» следом за лодкой «Наутилус» побывала на Северном полюсе в подводном положении. В марте следующего года она, пробив тонкий лед разводя, всплыла в той заветной точке земного шара, где любое направление есть направление на юг.

Зарубежные журналы и газеты, описывая эти походы, публикуя относящиеся к ним снимки и карты, выпячивали «исследовательский» характер высокоширотных плаваний американских атомных подводных военных кораблей. Д. Калверт тоже много и увлекательно рассказывает о наблюдениях над природой Арктики и новых данных о характере дна и ледяного покрова Северного Ледовитого океана, полученных во время походов «Скейта». Однако он не скрывает и истинных задач, которые ставили перед ним и его экипажем чиновники из военно-морского отдела Пентагона. Изучение Арктики как важнейшего театра военных действий в агрессивной войне, замышляемой империалистами, проверка возможности подледного плавания атомных лодок в высоких широтах и всплытия их в заданных точках

для ведения стрельбы ракетами — вот что прежде всего интересовало инициаторов и участников походов «Наутилуса» и «Скейта».

Автор книги «Подо льдом к полюсу» стремится убедить американского читателя, что атомные подводные лодки стоили затраченных на них денег налогоплательщиков. Как бы вскользь в ходе рассказа о перипетиях сложных и опасных рейсов он популярно и со знанием дела описывает устройство атомной лодки, ее сложное оборудование, условия работы экипажа.

Ничто не вырастает на пустом месте. По каким бы малоисследованным районам ни шла «Скейт» и какие бы новые научные данные ни получал ее экипаж — все это в той или иной степени было подготовлено самоотверженным трудом сотен исследователей Арктики. Не раз вспоминает он и о советских полярниках, плодами трудов которых, несомненно, пользовались американские подводники. Любопытно отметить, что один из самых ходовых терминов у американских моряков, совершающих подледные плавания, — «полюнья» — заимствован из русского языка.

Калверт отгораживается от вывода, который сам собою напрашивается из его книги: как хорошо было бы, если бы воплотилась в жизнь выдвигаемая Советской страной идея разоружения и не на потребу стратегам Пентагона бороздили бы подо льдом океан атомные подводные лодки. Как много дала бы такая техника человечеству, его прогрессу, насколько быстрее покорила бы наука ледяное безмолвие огромных просторств нашей планеты!

В. Жуков,
инженер-майор.

★

ЮРИЙ КУРАНОВ. Белки на дороге. Рассказы и лирические миниатюры. «Молодая гвардия». М. 1962. 192 стр. Цена 27 к.

Первые рассказы Юрия Куранова появились в печати два-три года назад и сразу были замечены читателем: их лаконизм, образность, какая-то особая, лирическая напевность и, главное, мир этих рассказов — мир родины, родной природы, земли, земли, так сказать, в первоначальном ее значении — с травой, цветами, босым следом человеческой ступни на влажной лесной тропе, — все это запомнилось, оставило ощущение свежести. Юрий Куранов идет по пути, проложенному замечательным русским мастером прозы М. Пришвиным: молодого писателя отличает то же точное видение, казалось бы, очень обычных, простых вещей. Он умеет с любовью и пристальным вниманием смотреть на облака, кусты, травы, птиц и рассказывать об этом точно, интересно и поэтично.

Теперь, когда рассказы, сказки и лирические миниатюры Куранова собраны в одну книгу, еще яснее понимаешь цель писателя, его желание говорить о вечной красоте природы и человека, его стремление к поэтиче-

ской расшифровке обыденного. «Парусиновые полдни», «Золотая синь», «Березовые напевы», «Невидимые облака», «Певучее молчание» — вот несколько наугад выбранных названий его рассказов; одни эти названия уже до какой-то степени способны передать поэзию книги.

Герои Куранова как бы растворены в мягкой, ласковой, певучей интонации автора. Куранов представляет их нам главным образом в спокойно красивые моменты их жизни; некоторая отрешенность автора от нервного, стремительного ритма времени, некоторая умиленность рассказчика кое-где подменяет истинно поэтическое. Если, допустим, в рассказе, который называется «Под солнечным инеем», есть некий Кондрат, то этот Кондрат, идущий с топором по заснеженному лесу, мало занимает автора — его внимание больше сосредоточено на березах, «морозно одетых синим светящимся туманом...». Порою Куранову недостает глубины, кое-где он повторяет себя, и если уж мы упомянули Пришвина, то хотелось бы, чтобы молодой автор больше учился у него не только видеть, но и думать, рассуждать. Впрочем, не стоит в столь краткой заметке предъявлять претензии автору, так как прежде всего хотелось сказать о достоинствах этой небольшой книги и от всей души порекомендовать ее читателю как книжку, полную поэзии и доброты.

М. Рошин.

★

ЛЕВ МОЧАЛОВ. Все еще в апреле. Стихи. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 160 стр. Цена 22 к.

Вот картина только что миновавшей грозы:

Солнце! —
на листьях зеленых,
точно покрытых лаком.
Природа —
это ребенок,
забывший, о чем он плакал.

Синего неба прогалина —
чище не выстирать!
Только
зачем-то повалена
почерневая изгородь.

В природе никто не несет ответственность за сожженную молнией изгородь. Там «зачем-то» означает «низачем». Но поэт не судит природу по законам человеческой жизни. Он лишь хочет, чтобы жизнь людей не походила бессмысленностью своих жертв на природу, чтобы человеческая жизнь была человеческой.

Сюжет поэмы «Памяти Нины» как будто очень прост. Произошел несчастный случай. Утонул человек, не имеющий перед обществом особых заслуг и не совершивший никакого подвига. Но ведь при этом погиб целый мир, богатство и неповторимость которого мы, увы, со всей полнотой осознаем

часто лишь перед лицом смерти. И не только картины воспоминаний, но и порывы горя говорят в поэме о неповторимой ценности человеческой личности.

Сборник стихов Л. Мочалова не ограничивается только трагической темой. Он многообразен как по своей идейно-философской проблематике, так и по эмоциональной тональности. Но основной его мотив — это мотив надежды. Надежды на счастье для всех и для каждого. «Все еще в апреле!»

Л. Мочалов — поэт глубоко лирической интонации. Он умеет передать черты целостного поэтического мироощущения, очень чуткого, чисто по-детски непосредственного восприятия мира — и все это часто через самый ритмический рисунок стиха, через как будто бы незначительные детали и впечатления. Простое, обыденное в таких случаях обретает большой человеческий смысл.

Многие стихи Л. Мочалова населены каждому из нас знакомыми, но удивительными существами. Они маршируют «в детско-садовском строю», «поглядывают в небо, пошмыгивают носом», кричат на прощанье: «До свиданья, мама! Рыбок покорми моих!», спрашивают: «Где кончается небо?» Они пока играют, рисуют, шалят, спят. Но не просто спят, а летят «сквозь грозы и вьюги в недоступные мне края...».

Первый сборник Л. Мочалова «Глядя в глаза» вышел в 1957 году. В книге «Все еще в апреле» больше раздумий, глубже и сложнее стали мысли и переживания. Там же, где мысль выражается не через переживание, возникают неудачи. Так, мне кажется, не вытекающая из образа «мораль» портит стихотворение «В московских соборах». Но лучшие стихи Л. Мочалова полны подлинной глубиной, обнаруживаемой в точно переданном душевном состоянии.

Л. Столович.

г. Тарту.

★

Д. ХАРМС. Игра. «Детский мир». М. 1962. 28 стр. Цена 30 к.

Проходят десятилетия — и мы отрываем в литературе то, что было погребено временем. В детской литературе было незаслуженно забыто имя Даниила Хармса. Поэтические симпатии Хармса — Маршак и Чуковский, и связь эта очевидна не только потому, что излюбленный прием Хармса раньше известен по «Черепашке» Чуковского, а Маршак вместе с Хармсом написал «Веселых чижей»...

Хармс верит в живость и гибкость детского ума, понимает, как интересна для него словесная игра, чувствует повторяемый, но лишенный всякой монотонности ритм детской речи. Это основа его стихов.

Хармс озорной. Хармс эксцентричный. Хармс, брызжащийся энергией и весельем. Как ребенок.

Несчастливая кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики нужно купить!..

Фантазия Хармса причудлива. Вам никогда не предсказать поворот ее. Но это, однако же, фантазия очень детская: смешная и нереальная.

А вы знаете, что ПОД?
А вы знаете, что МО?
А вы знаете, что РЕМ?
Что под морем-океаном
Часовой стоит с ружьем?

Такое придумывают дети.

Одиннадцать стихотворений. В каждом Хармс как будто все тот же. И вместе с тем в каждом — другой.

В последнее время особенно в ходу сомнительный, на мой взгляд, комплимент, который спешат сделать автору детской книжки: что она, мол, будет не менее интересна и взрослому читателю. Нередко это так и бывает. Но ведь есть отличные поэты, успех которых у ребенка и у взрослого несоизмерим (Чуковский, например). Не вернее ли поэтому другой признак: необманное — по-своему для взрослого и для ребенка — чувство, что автор насколько не подделывался под маленького читателя, а писал как бы в свое удовольствие — так, что ему самому это было интересно и весело. Такое необманное чувство, когда читаешь Хармса.

Мы радуемся Хармсу. Еще больше ему будут радоваться дети.

Вл. Глоцер.

★

Н. ЛУНАЧАРСКАЯ-РОЗЕНЕЛЬ. Память сердца. Воспоминания. «Искусство». М. 1962. 482 стр. Цена 1 р. 30 к.

Помимо права на мемуары, которое есть у любого человека, у автора этих воспоминаний была святая обязанность рассказать о первом наркоме советской культуры, просветителе и воспитателе в самом точном смысле этого слова.

Конечно, весь Луначарский — политический борец, организатор, публицист, дипломат не мог отразиться в книге, меньше всего претендующей на титул «монографического исследования». Это всего лишь беглая, с нечаянными пропусками, а иногда и умолчаниями и все же самая достоверная летопись мыслей и чувств Луначарского, которой поделилась с широкой публикой Луначарская-Розенель.

Актриса Малого театра, не раз сопровождавшая мужа за границу, где его восторженно встречали передовые мыслители и художники Европы, Наталия Розенель ото-

брала из моря воспоминаний то, что было ей дорожно и ближе и что сохранила «память сердца».

Так появились групповые портреты «Луначарский и Маяковский», «Луначарский и Брюсов», «...и Южин», «...и Брехт», «...и Моисси». Так появились главы «Остужев», «Марджэнов», «Андреева», «Архипов», «Борисов» и стоящая особняком, посвященная киноискусству тех лет заключительная — «Великий немой»; главы, в которых Луначарский, не играя первой роли, однако, присутствует и четко виден в своем отношении к основному и «второстепенным» персонажам (в их числе оказываются Горький, Литвинов, Макс Рейнгардт, знаменитости зарубежного экрана, советской сцены).

Книга открывается очерком «Луначарский-читатель», прежде опубликованном на страницах «Нового мира». Уже в этом очерке с радостью «узнаешь» Луначарского в новых деталях и эпизодах, придающих особую рельефность тому, что, казалось бы, хорошо известно. «Узнаешь» его импровизационно-ораторский талант, его неутолимую жажду знаний, его энциклопедичность, его умение радоваться каждому дарованию, каждой искре подлинного искусства, его артистичность — счастливое сочетание того лучшего, что было в старом русском интеллигенте и в характере испытанного революционера-подпольщика.

Хорошо, что Н. Розенель, вспоминая о любимом человеке, не создает «культу» Луначарского и не заслоняет им других замечательных талантов, в ту пору казавшихся вполне будничными. В этой демократической черте повествования, сегодня особенно привлекательной, несомненно, столь же «вичовен» герой книги, сколь ее автор.

Разрешим себе лишь одну цитату. Ровно тридцать лет тому назад Луначарский был в Берлине. Зимой 1933 года равнявшиеся к власти нацисты физически расправлялись с противниками. Прогрессивной интеллигенции работать стало безмерно трудно и опасно.

Один из гостей Бертольта Брехта, присутствовавший при его встрече с Луначарским, сказал: «Маньяк-ефрейтор был бы бессилен, если бы его не поддерживали Крупп, И.-Г. Фарбениндуэстри и прочие. Что можем мы, интеллигенты?» — «Бороться, — ответил Луначарский, — бороться до последнего издыхания, бороться на своем посту, каждый своим оружием...»

В этом суть Луначарского, его кредо, его завешание и его урок, который надо помнить и памятью сердца, и памятью разума.

М. Кораллов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том IV. Май 1959 года — февраль 1961 года. 480 стр. Цена 60 к.

Н. С. Хрущев. Выступление на VI съезде Социалистической единой партии Германии 16 января 1963 года. 48 стр. Цена 6 к.

А. Абраменков, В. Толстов. Бюро первичной парторганизации. 64 стр. Цена 6 к.

С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский. Праздники православной церкви. 256 стр. Цена 45 к.

XVIII Национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто, 19—21 января 1962 года. 152 стр. Цена 16 к.

С. И. Гончарук. Материя и формы ее существования. 48 стр. Цена 5 к.

Долорес Ибаррури. Единственный путь. Перевод с испанского. 464 стр. Цена 83 к.

Дружба великая, вечная. 256 стр. Цена 52 к.

Л. Ф. Ильичев. Искусство принадлежит народу. 64 стр. Цена 6 к.

Коммунистическая партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества. 1937 г.—июнь 1941 г. Документы и материалы. 404 стр. Цена 70 к.

Красное знамя над Кремлем. Сборник воспоминаний участников революционных боев в Москве в октябре 1917 г. 96 стр. Цена 8 к.

О некоторых вопросах новой программы КПСС. Сборник статей. 216 стр. Цена 24 к.

Н. Саушкин. О культуре личности и авторитете. 48 стр. Цена 6 к.

Ф. Т. Фомин. Записки старого чекиста. Литературная запись Вл. Дитца. 208 стр. Цена 20 к.

Ю. П. Шарапов. Вихри враждебные (Страницы истории Советской Родины). 80 стр. Цена 7 к.

СОЦЭКГИЗ

Д. М. Гвишиани. Социология бизнеса. Критический очерк американской теории менеджмента. 195 стр. Цена 39 к.

Герхард Денглер. Тенета Вонна. Перевод с немецкого. 349 стр. Цена 82 к.

Коллектив авторов. Экономические проблемы «общего рынка». 511 стр. Цена 1 р. 42 к.

В. С. Немчинов. Экономико-математические методы и модели. 410 стр. Цена 1 р. 33 к.

А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. 684 стр. Цена 2 р. 40 к.

С. Уткин. Очерки по марксистско-ленинской этике. 422 стр. Цена 60 к.

Экономика капиталистических стран в 1961 году (Экономически развитые страны). 448 стр. Цена 76 к.

Экономика стран социалистического лагеря в цифрах. 1961 год. Краткий статистический сборник. 240 стр. Цена 23 к.

Экономическая история капиталистических стран. Курс лекций. 635 стр. Цена 1 р. 12 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адалис. Города. Стихи. 140 стр. Цена 17 к.

Ч. Айтматов. Верблюжий глаз. Повести и рассказы. Перевод с киргизского. 312 стр. Цена 55 к.

П. Антокольский. Высокое напряжение. Стихотворения. 1960—1961. 104 стр. Цена 13 к.

Э. Асадов. Лирические страницы. 96 стр. Цена 13 к.

И. Борисов. Добрый час. Стихи и поэмы. Перевод с еврейского. 152 стр. Цена 16 к.

К. Ваншенкин. Окна. Лирика. 120 стр. Цена 14 к.

П. Вершигора. Дом родной. Роман. 500 стр. Цена 85 к.

А. Гатов. Апрель, счастливый месяц. Стихотворения. 128 стр. Цена 19 к.

Е. Дорош. Четыре времени года. Повесть. 196 стр. Цена 22 к.

С. Злобин. Пропавшие без вести. Роман в 4 частях. Части 1 и 2. 824 стр. Цена 1 р. 39 к. Части 3 и 4. 512 стр. Цена 90 к.

В. Иванисенко. Поэзия, жизнь, человек. О лирике. Перевод с украинского. 228 стр. Цена 56 к.

И. Игин, М. Светлов. Музей друзей. Эпиграммы. Шаржи. 64 стр. Цена 40 к.

М. Лисянский. Здравствуй! Стихотворения. 160 стр. Цена 19 к.

С. Михалков. Моя профессия. Статьи, выступления, заметки. 108 стр. Цена 15 к.

Навстречу будущему. Сборник статей молодых критиков. 360 стр. Цена 82 к.

Д. Нагишкин. Созвездие Стрельца. Роман. 540 стр. Цена 1 р. 16 к.

Г. Ошерович. Мой добрый клен. Стихи и поэмы. Перевод с еврейского. 108 стр. Цена 13 к.

С. Поликарпов. Проталина. Стихи. 104 стр. Цена 12 к.

П. Проскурин. Корни обнажаются в бурю. Роман. 284 стр. Цена 52 к.

Рассказы 1961 года. Сборник. 500 стр. Цена 95 к.

И. Ринк. Вторая разведка. Стихи и поэмы. 80 стр. Цена 12 к.

В. Росляков. Один из нас. Повесть. 144 стр. Цена 16 к.

М. Рыльский. Радуга над миром. Стихи. 1959—1962 гг. Перевод с украинского. 136 стр. Цена 17 к.

П. Сажин. Сирень Роман. 272 стр. Цена 40 к.

П. Семенин. Близость неба. Стихи и поэмы. 132 стр. Цена 27 к.

Современная литература за рубежом. Сборник литературно-критических статей. 524 стр. Цена 1 р. 15 к.

Л. Темин. Да и нет. Стихи. 104 стр. Цена 12 к.

Г. Троепольский. Чернозем. Роман. 468 стр. Цена 78 к.

ГОСПОЛИТЗДАТ

Ольга Берггольц. Стихи. 223 стр. Цена 40 к.

В. Билль-Белоцерковский. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. 275 стр. Цена 55 к. Том 2. 383 стр. Цена 68 к.

Волшебные повести. Перевод с японского. 335 стр. Цена 46 к.

Ярослав Галан. С крестом или с ножом. Памфлеты. Перевод с украинского. 118 стр. Цена 36 к.

А. И. Герцен. О литературе. 647 стр. Цена 1 р. 16 к.

Юсуф Идрис. Грех. Повесть. Перевод с арабского. 152 стр. Цена 30 к.

Аттила Йожеф. Стихи. Перевод с венгерского. 406 стр. Цена 64 к.

Литература и современность. Сборник третий. Статьи о литературе 1961 — 1962 годов. 528 стр. Цена 1 р. 25 к.

Поэзия Финляндии. Переводы с финского и шведского. 559 стр. Цена 70 к.

Саамские сказки. Перевод с саамского. 303 стр. Цена 46 к.

Салли Салминен. Катрина. Роман. Перевод с шведского. 371 стр. Цена 98 к.

Мигель де Унамуно. Назидательные новеллы. Перевод с испанского. 363 стр. Цена 76 к.

Уго Фосколо. Последние письма Якопо Ортиса. Роман. Перевод с итальянского. 183 стр. Цена 40 к.

А. Эрнандес-Ката. Жемчужина. Рассказы. Перевод с испанского. 167 стр. Цена 18 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Атлас землетрясений в СССР. Результаты наблюдений сети сейсмических станций СССР. 1911—1957 гг. 337 стр. Цена 5 р. 90 к.

Т. В. Балашова, О. В. Егорова, А. Н. Николюкин. Советская литература за рубежом. 1917—1960 гг. 226 стр. Цена 69 к.

Биологические аспекты кибернетики. Сборник работ. 238 стр. Цена 1 р. 24 к.

Германское рабочее движение в новейшее время. Сборник статей и материалов. 315 стр. Цена 1 р. 47 к.

Е. М. Евнина. Современный французский роман 1940—1960 гг. 519 стр. Цена 1 р. 43 к.

П. Ф. Минаев. Влияние ионизирующих излучений на центральную нервную систему. 132 стр. Цена 60 к.

Ю. П. Михаленко. Философия Д. Юма — теоретическая основа английского позитивизма XX века. 152 стр. Цена 47 к.

Народы Средней Азии и Казахстана. Том 1. 768 стр. Цена 4 р. 83 к.

От социализма к коммунизму. 750 стр. Цена 2 р.

Реализм и его соотношения с другими творческими методами. 367 стр. Цена 1 р. 63 к.

П. В. Симонов. Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций. 139 стр. Цена 63 к.

Советский ежегодник международного права, 1961 г. 531 стр. Цена 3 р. 20 к.

Современная зарубежная драма. 384 стр. Цена 2 р.

Н. Н. Стоскова. Первые металлургические заводы России. 106 стр. Цена 47 к.

Численность и расселение народов мира. 484 стр. Цена 3 р. 8 к.

И. С. Шкловский. Вселенная, жизнь, разум. 239 стр. Цена 51 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Л. Абрамов. На ратных дорогах. 240 стр. Цена 53 к.

В. А. Анфилов. Начало Великой Отечественной войны (22 июня — середина июля 1941 года). Военно-исторический очерк. 224 стр. Цена 74 к.

И. И. Виноградов. Земля — небо — земля. Повести и рассказы. 216 стр. Цена 43 к.

Е. З. Воробьев. Капля крови. Повесть. 328 стр. Цена 44 к.

В. М. Гаврилин. Солдаты острова свободы. 136 стр. Цена 32 к.

Т. К. Журавлев. Слово о солдате. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 78 к.

Рангел Игнатов. Долг. Роман. Перевод с болгарского. 260 стр. Цена 78 к.

Крылатое племя. Воспоминания о летчиках трех поколений. 152 стр. Цена 31 к.

Р. Я. Малиновский. Вдительно стоять на страже мира. 72 стр. Цена 6 к.

Г. С. Новогрудский, А. М. Дунаевский. По следам Пау. История одного литературного поиска. 248 стр. Цена 52 к.

Первое знакомство. Сборник рассказов. 400 стр. Цена 70 к.

Ракеты и противоракетная оборона. Сборник переводных статей. 228 стр. Цена 67 к.

Теодор Роско. Эскадренные миноносцы. США во второй мировой войне. Перевод с английского. 544 стр. Цена 1 р. 49 к.

Н. Сидоров. Россия, земля моя. Стихи. 72 стр. Цена 20 к.

З. А. Соронин. Друзья-однополчане. Очерки. 120 стр. Цена 32 к.

П. И. Трифоновков. Об основных законах хода и исхода современной войны. 120 стр. Цена 28 к.

С. А. Тюшкевич. Необходимость и случайность в войне. 136 стр. Цена 33 к.

З. А. Хирен. Репортаж с четырех войн. 208 стр. Цена 27 к.

М. Г. Шмелев. Фронтная юность. Записки бывшего комсорга полка. 192 стр. Цена 40 к.

Ирвин Шоу. Молодые львы. Роман. Перевод с английского. 624 стр. Цена 2 р. 35 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),

Б. Г. Закс (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович**
(зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин,**
К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 3/1-63 г.

Объем 18 п. л.

Подписано к печати 4/II 1963 г.

Формат бумаги 70×108^{1/2} мм.

9 бум. л. — 24,66 печ. л.

А 01923

Зак. 20.

Тираж 110 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

Индекс
70636